

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

Книга шестая

(II - 2006)

Verlag "Partner"

2006



Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*
Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*
Ольга Бешенковская
Борис Вайнблат
Сергей Викман

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
www.zapiski.de

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ШЕСТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Лариса Миллер. <i>Лето. Стихи</i>	2
Нина Горланова. <i>Рассказы:</i>	11
Небо заходит в грудь	
Золотой ключик	
Зоопарк в виолончели	
Детеныш Ксюха	
В прекрасном количестве	
Алишер Киямов. <i>Останемся под сводом лоз!.. Стихи</i>	29
Борис Хазанов. <i>Ночная музыка. Триптих. Рассказы:</i>	36
Другой	
Прочее — одежда	
Коллекция	
Владимир Порудоминский. <i>Два рассказа:</i>	54
Ритмика	
Комдив	
Алина Талыбова. <i>Три стихотворения</i>	66
Инна Лесовая. <i>Счастливый день в Италии. Повесть</i>	69
Генрих Шмеркин. <i>Два рассказа:</i>	119
От зари до зоро	
Чапай и кони	
Кирилл Ковальджи. <i>Пять стихотворений</i>	133
Елена Ободовская. <i>Миниатюры</i>	136
Михаил Аранов. <i>Скучная история из прошлой жизни. Рассказ</i>	143

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Кирилл Померанцев. <i>Сквозь смерть. Георгий Адамович</i>	151
--	-----

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА В ЗЕРКАЛЕ КЛАССИКИ РУССКОЙ

Nikolaus Lenau. <i>Blick in der Strom</i>	158
Николаус Ленау. <i>Успокоение</i>	

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Илья Мильштейн. <i>Дитя XX съезда</i>	160
Самуил Лурье. <i>Два эссе:</i>	165
Голубое сукно	
История куста	
Александр Мильштейн. <i>Бойцовский клуб</i>	179
Евгений Кочанов. <i>Вращая разноцветный глобус</i>	184

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Всеволод Мальцев. <i>Московский Титаник</i>	195
Коротко об авторах	198

ЛЕТО

Всё только сны и миражи.
Кружи, мой маленький, кружи
По белу свету
И этим светом дорожи.
Другого нету.
А если есть, то что с того
И что мы знаем про него?
Нам этот снится.
То в поле лютики его,
То в небе птица.

Июнь 05

Сирень в саду моём цветёт.
Метель июньская метёт.
Летят по ветру лепестки...
Разжала боль свои тиски,
И я упала на траву,
Беззвучно выдохнув: «Живу».

Июнь 05

Пух роняют тополя.
Что ни миг — белей земля,
Дольше день, светлее ночи,
Выше небо, жизнь короче.

Июнь 05

Шёл дождик с высоты небесной
Такой живительный и пресный,
Кропя и листья и траву,
И незабудки, что во рву
Ещё цвели, и нас, идущих
Среди лугов, таких цветущих,
Кропя и луг, и нас с тобой,
И ров небесно-голубой.

Июнь 05

Ни мыслишки в голове,
Думать так не хочется.
Я лежу в густой траве,
А она щекочется.
Я гляжу на облака,
А они не движутся.
Разжимается рука
И роняет книжицу.
Не пойму, чего хочу.
Тихо за околицей.
Я лежу себе, молчу,
А кузнечик молится.
Мне с земли подняться лень,
А земля вращается.
За поля уходит день
И не возвращается.

Июнь 05

Не умираем никогда.
Несутся мимо электрички,
Шуршит трава, щебечут птички,
Поют электропровода.

Шумят эдемские сады,
Струится облачное млеко.
Июньский день. Начало века.
На тропах влажные следы.

Июнь 05

Леночке Колат

Рисунки тушью и углём...
О чём так горестно поём?
О чём поёт штришок мгновенный —
Итог любви самозабвенной?

О том лишь только и поёт,
Что жизнь — стремительный полёт
Из тьмы на свет, во тьму из света
И вечна только песня эта.

Июнь 05

День этот долгий живи и не комкай.
Чёрная бабочка с белой каёмкой
Села на скромный цветок полевой.
Очень непросто остаться живой:

Шапкой накроют, наступят случайно.
Чёрная бабочка. Хрупкая тайна.
Чёрная бабочка так хороша,
Что от восторга заняла душа.
Июнь 05

А под окошком у меня
Белел жасмин средь бела дня,
Висело облако над ним,
А я жила лишь днём одним.
Одним, но длинным, как река,
В которой тонут облака.
Июль 05

Тропинка долгая тиха.
Кругом орешник и ольха,
Ольха, орешник, ниже мхи.
Среди орешника, ольхи
Брожу часами. Подо мной
В дрожащих бликах шар земной.
День долог. Свет без берегов.
И не слышать моих шагов.
Июль 05

Всё исчезнет, лишь тронь.
Всё как будто бы снится.
Слышу, как на ладонь
Мне упала ресница,
Как зажёгся восток,
Пух слетел тополиный,
Слышу, как лепесток
Опадает с жасмина,
Как склонилась трава
На поляне безбрежной,
Как ложатся слова
На листок белоснежный.
Июль 05

Поля в вечерней позолоте.
День кончится на тихой ноте,
Единственной из тех семи,
Что всем известны. Не томи,
Звучи, и пусть в последнем звуке
Живёт предчувствие разлуки,
Любовь, сходящая на нет,
И близость ночи, и рассвет.
Июль 05

Когда нас музыка покинет,
И день, что полон звуков, минет,
И день придёт глухонемой
Что станем делать, милый мой?
Откуда станем черпать звуки?
На свете нет такой науки,
На свете нет таких чудес.
Живи, бемоль, бекар, диез.

Июль 05

Куст сирени под ливнем намок...
Наша жизнь лишь туманный намёк,
А на что — не пойму, не отвечу.
Ливня летнего шумные речи
Не помогут загадку решить,
И ничто нас не в силах лишить
Слов туманных, намёка, загадки.
А мгновенья летят без оглядки.
Вот и день этот долгий погас,
Покидая растерянных нас.

Июль 05

Всё на самом-то деле одно:
Синий верх и зелёное дно,
Куст земной и небесная птичка.
Между ними идёт переключка.
Я на донышке самом живу,
Приминая земную траву,
Ожидая откуда-то свыше
Вещих слов, что дыхания тише.

Июль 05

Июль. И дни всё золотее.
Какая дивная затея
Жить на полуденном свету.
Создатель, обо мне радея,
Мне дарит влажный куст в цвету,
Мне дарит этот сад шумящий,
Летучей жизни звук щемящий
И грома дальнего раскат,
И небосвод, всегда манящий,
Мне дарит всё, чем сам богат.

Июль 05

Необоримый свет дневной...
Мгновенье, чаемое мной,
Не улетучилось покуда.
Живу, и нет иного чуда
На всей поверхности земной.
Живу и солнечную нить
Я продолжаю длить и длить.
Она тонка и ненадёжна,
Но я живу, и значит можно
Речной и хвойный воздух пить.

Июль 05

С берёзы семена летели...
А я жила без всякой цели,
Как эта тихая трава.
Шёл самый первый день недели,
Слегка кружилась голова
От быстрых бабочек, снующих
В нагретых солнцем райских кущах,
От зыбких бликов на реке,
От трав и листьев, нежно льнущих
К моим коленям и руке.
Играл с теньями лёгкий ветер,
И длился день, и был он светел,
И не кончался дивный сказ,
И я, забыв про всё на свете,
Жила лишь солнечным «сейчас».

Август 05

А завершится всё слезами.
Глядят лучистыми глазами
На нас большие небеса.
Живём и знать не знаем сами,
Где будем через полчаса.

Где будем мы, что с нами будет,
Какие ветры лоб остудят
И что в бараний рог согнёт,
И что уйти с земли принудит —
Какой невыносимый гнёт.

Живём, покуда не стрясётся
Всё худшее. И кто спасётся?
Кого Всевышний пощадит?
Душа в болящем теле бьётся
И ветер в проводах гудит.

Август 05

Живу у Господа в горсти,
Где бремя лет легко нести.
Земли почти что не касаясь,
Живу, того лишь опасаясь,
Что ночью иль средь бела дня
Всевышний выронит меня.
Август 05

На небе белые овечки.
Начни с нуля, танцуй от печки.
Ты не видал таких небес.
А скоро запылают свечи
Осенние, и вспыхнет лес.

Столений испарилась гряда,
И ты пришёл невесть откуда
Озёрную увидеть гладь,
Не ведая, как это чудо,
Как диво это называть.
Август 05

Да не знать нам ни тягот, ни муки.
Чьи-то лёгкие, лёгкие руки
Приподнимут нас и понесут
Над землёй, как хрустальный сосуд.
Над отвесными скалами, мимо
Чёрной бездны. Да будем хранимы
И лелеемы, и спасены,
В даль пресветлую унесены.
Август 05

А день, ничем не омрачённый,
Обласканный и золочённый —
Он жив и светится пока.
Дорога, облако, река.

И все в нём могут разместиться:
Здесь мы с тобой, а выше птица,
А ниже множество теней —
Та покороче, та длинней.
Август 05

Жизнь не сдержала обещанья.
Что ни мгновение — прощанье

На дни, на годы, на века,
И от слезы влажна щека.
Разлука, проводы, потери,
Захлопнулись тугие двери,
Свечу задуло сквозняком,
И всхлип, и вздох, и в горле ком.

Август 05

Явление первое. Явление
Того, что требует продленья,
Томит, терзает, теребит.
От нетерпения знобит
Тебя, меня. Ну дальше, дальше,
Он что несёт в себе — тишайший
Неповторимый этот миг?
Озёрный переменчив лик.
Он переменчив — лик озёрный.
Дрожит под ветром лист узорный.
О чём лепечет он, о чём
Под первым утренним лучом?
Дня небывалого начало.
Ещё меня не укачало.
Ещё дышу, надеюсь, жду,
Росу сбивая на ходу.

Август 05

Господь почил от дел своих.
Мир безмятежен был и тих,
Большие бабочки летали.
А впрочем, это всё детали.
Здесь важно, что была тиха
Вселенная, и ни штриха
Пастозного, ни грубых вмятин
И никаких кровавых пятен.

Август 05

И всё, что **за** день жизнь накопит,
Она в ночи глубокой топит,
В ночи глубокой, как в пруду.
И что же завтра я найду?
Я день найду лучистый, новый,
Просторный, ко всему готовый.

Август 05

О драгоценная морока,
Дней ненаглядных канитель.

Заросший сад ласкает око
Двенадцать сказочных недель.

Волшебны птичье оперенье
И крылья бабочки вон той,
И что ни утро — озаренье
И сад, от солнца золотой.

Август 05

Живу, ни во что не вникая.
Меня за собой увлекая
Летят августовские дни.
Оно умиранью сродни —
Во тьму уходящее лето.
Всё смолкло, и песенка спета.
Во мне и вовне тишина.
Да будет целебна она.

Август 05

Свод небесный покрыт облаками...
Мы уходим с пустыми руками.
Как пришли, так уйдём налегке,
Только воздух сжимая в руке.
Только воздух прозрачный, осенний.
На исходе последних мгновений
Расставаясь и слёзы лия,
Скажем: «Господи, воля Твоя».

Август 05

Надо мной звезда блистала.
Господи, я так устала
Жить под крошечной звездой,
Что с озёрною водой
В игры тихие играет.
Чей-то голос замирает.
Остаюсь совсем одна
У воды, где нету дна.

Август 05

А всё, что **на** душу легло,
Меня спасло и помогло
Так долго жить на белом свете,
Где год за годом Божьи дети
Живут, печальны, веселы,
И вечер горсткою золы

На горизонте тлеет, тлеет,
Покуда ночь не одолеет.
Август 05

Лист желтел и золотился.
Ночь прошла, и день родился
Новый, чистый, как роса
Или птичьи голоса.
Как младенца мне приветить?
День рождения как отметить?
Он подарки дарит мне —
Куст рябиновый в огне,
Гроздья красные рябины,
Те, что мною так любимы.
Август 05

Клевер лесной, василёк луговой —
В эти детали ушла с головой.
Спорыш, кислица, яснотка, полынь
И надо всем этим горняя синь.
Как ты зовёшься, былинка моя?
Книгу листаю про эти края.
Дайте немного ещё поживу,
Всех вас по имени я назову.
Август 05

С любовью к зябким вечерам,
К роскошным яблочным пирам,
К смолистым запахам древесным,
К речным, озёрным водам пресным,
С любовью в сердце я живу
И не ступаю, а плыву
В осеннем воздухе прозрачном
В вечерний час в посёлке дачном.
Август 05

Что там, в дыму и печали?
— Прошрое, — мне отвечали, —
Там драгоценные тени,
Ангелы там пролетели.

Что же мне делать с теньями,
С теми далёкими днями,
Что отпылали, как в домне?
— Помни, — сказали мне, — помни.
Август 05

РАССКАЗЫ

НЕБО ЗАХОДИТ В ГРУДЬ

В соавторстве с Вячеславом Букуром

— Ракета летела-летела и села, — бормотал Горка, — ушла глубоко в планету. Спасатели начали откапывать. И там же была звездоокая Лианея, дочь Трех Солнц...

Рядом дышит инопланетянин, рогатый и на четырех ногах. И как наступит каменным копытом на ногу!

— Лыска! — завизжал Горка.

Корова в знак извинения прошлась языком по его щеке — теперь до вечера половина лица будет гореть. А тут отец заходит:

— Ты что, п...да рогатая, моего Георгия обижаешь? А мы все для тебя, надо тебе витамины — вот я купил тебе витамины, надо тебе ветеринара — и вот ему я мотор перебрал.

Все понятно: воскресная стопка имела место. Отец взял вилы, и комки навоза только полетели со свистом в окошко.

Прихрамывая, Горка вышел из сарая. Так, прикинул он, ракету я практически спас, от нападения инопланетного туземца я пострадал, пойду отлежусь в межзвездном модуле, почитаю, что там дальше с Гарри Поттером.

А Аполлон-то Засушенный еще ничего не сделал, только выбрел из дома, хрустит ногами по снегу к своему сараю. А вдруг он новость сообщит! От новости ведь себя не помнишь, так что приходится все силы бросать на то, чтобы сохранить на лице взрослое мужское выражение.

Увидев Горку, Аполлон Засушенный свернул к забору. Привет — привет.

— Идешь в шахту?

— Сейчас по-легкому разбросаю завалы угля и всех спасу (что значит: быстро выкидаю весь навоз).

У Аполлона Засушенного отец работал шахтером, и поэтому Павел беспрерывно играл в спасение из-под земли.

А Витька Попеляев представлял все время, что он разминировать поле, как его старший брат — сапер в Чечне. И надо очень осторожно выкидывать мины — куски навоза (больше всего взрывчатого вещества скопилось возле задних ног коровы).

А вот он и бежит, Витька, и кричит:

— Горка! Пашка! — Потом спохватился и сказал солидно: — Ребя, там интернатскую привезли, мертвую. Поканали, посмотрим!

— Я хромаю...

— Ну и что! Шофер-то поседел весь! Пошли!

Предчувствуемая жуть уже летала между ними и звала повзрослеть еще сильнее. Они побежали по припорошенной, с блестками, дороге. Как всегда, навстречу им попалась Изюмская, которая подчеркнуто рассеянно посмотрела на Горку и сказала:

— А я уже все видела, ничего интересного (между мертвой Поздеевой и живой мной кого надо выбирать, непонятно, что ли?) — Вдруг она клоунски повела глазами в сторону: — По химии не могу разобраться, завтра понедельник, и всегда химик по понедельникам меня спрашивает.

Горка на миг задумался, и его осенило:

— Потому что Сей Сеич по понедельникам с похмелья. У тебя фамилия Изюмская, а из изюма знаешь какая бражка получается.

— Да ты просто Каменская в штанах! Так я приду?

— Я не знаю... Наверно, сегодня никак.

Вот если бы тебя звали не Оля, а Лианея, дочь Трех Солнц, подумал Горка, вот тогда была бы встреча в параллельном мире!

Он догнал ребят. Они сначала обгоняли одинокие фигуры, потом эти шагающие фигуры кучковались по двойкам, по тройкам и в конце, перед домом Поздеевых, сбились в пестрый ковер лиц, ждущих подробностей. Розовел над ними пласт дыхательного пара.

Первым делом Горка сразу выделил лицо свирепой красоты, слегка постаревшее. Это был учитель химии, который думал: «Прекрасны жемчужные завитки пара и этот брейгелевский пронзительный снег. И никому про это не скажешь. Не поймут».

Тут Горка догадался, почему Сей Сеич не просыхает. Ведь он знает, что за глаза его зовут: «Химия — Залупа синяя».

Ладно, сейчас не до этого, надо прокручивать в голове слова собравшихся людей:

— Неужели сама выпала под колеса?

— Да приставал он к ней!

— Мирошникову пора прятаться, а то...

— А то что? У нас тут не Кавказ, не кровная месть. Наелись вы телевизора и ничего не понимаете.

— Кто не понимает — я не понимаю? Как вы можете так говорить, если я всю жизнь проработала главным бухгалтером!

Кто же не знает, что деревня — это беспрерывный мозговой штурм.

Приехал следователь, выдернутый из-за праздничного стола. Поэтому он говорил мрачно: «Щас всех опросим», и было видно, как внутри него чувство долга жестоко борется с алкоголем. Качнувшись, шепнул что-то участковому милиционеру, и тот стал обходить толпу — просил всех не расходиться. Тотчас все начали расходиться.

Нашли фургон, чтобы перевезти тело в фельдшерский пункт для вскрытия. Вынесли человеческую фигуру, завернутую в одеяло. Мать шла рядом и с жуткой разумностью спрашивала у тех, кто еще не разбежался:

— Она меня сейчас видит, нет?

Кто-то сказал, что видит, а кто-то проявил принципиальность, которую огласил Сей Сеич:

— Молекулы перестали двигаться, и драгоценное сознание распалось.

— Твоя принципиальность,
Как плохое вино,
Напоило нас
Горькой чернотой.

Горка привычно запоминал слова, которые мерцали в голове друг за другом.

Ветер снег уносит,
Не знаю куда.

Но осторожной кошкой
Вернулось желание жить.

Вечером Горка присоединился к разговору родителей, когда за ужином они скучно обсуждали горе Поздеевых:

— Мам, почему все шумят, что шофер приставал к ней? — Он выпрямился, мысленно поместил во рту трубку и стал говорить прекрасным квакающим голосом артиста Ливанова (Холмса): — Во-первых, Мирошников только и ходил из дому на работу и с работы домой.

— Запруду сделал у ручья, карпов туда запустил, — добавила мать Горки.

Сын посмотрел на нее с выражением, как иногда смотрел отец — мол, женщина, что такое? — и продолжал:

— Во-вторых — он же поседел от потрясения. А если бы он был гад... Гады не седеют. В-третьих же — все происходило в глухом лесу, и он мог бы ее закопать в снегу, и до лета бы тела никто не увидел. Это же элементарно!

Отец сказал:

— Ну, Горка, ты казак: туда побежал, здесь сшурупил.

— Просто адвокат какой-то! — добавила мать.

А лучше бы сказали: мол, сэр Джордж, вы блестяще проанализировали эту комбинацию.

В это время пришла соседка Маруся Семиколенных. Она попросила листочек алоэ:

— Еще и палец нарывает! И так вечером упаду перед иконами, реву-реву, кричу-кричу!

— Вся Васильевка знает: Маруся молится, — вставил отец с непроницаемым лицом.

— Ну, ничего: утром выпью водочки, запляшу, запою! Уныние ведь - смертный грех.

— И вся Васильевка слышит: Маруся борется с унынием.

— У нас алой засох, пока к дочке ездила. Мой бегемот пьяный не поливал...

— Ну, какой же он бегемот, если в декабре заработал пять тысяч.

Маруся от возмущения казнила алоэ, только сок брызнул:

— Заработал, да все в горло пошло. Когда прихожу на исповедь, так и говорю: отец Сергей, надо что-то со мной делать. Мой так пьет, терпение ведь кончается, так и хочется топором его тюкнуть. А батюшка мне: тише, тише.

— Нет, зачем же, — невозмутимо заметил отец. — Пусть вся Васильевка знает: наша Маруся кается.

Маруся слегка смолкла, показывая своим видом: вы думаете, я за алоем пришла? Понюхала табак, мелко потряслась, как трясогузка, взлетела с табуретки и сказала:

— Надо бежать. Сегодня к Поздеевым ходила, два часа как не бывало, а самогонки еще не нагнано к моему дню рождения. Да, хорошо, что у них еще дети есть.

Мать щедро отрезала Марусе еще пару целебных шипастых листьев алоэ (вместо прежних) и как бы невзначай обронила:

— А Горка сказал, что Мирошников не мог ничего такого над ней сотворить. Ведь гляди, какой у него сад! Какие арбузы в теплице!

— И кролики как из воздуха плодятся, — добавил отец и закурил.

— Все завидуют, ведь в чужих руках все толще, вот и говорят о нем что попало, — сказала Маруся.

Две струи дыма из отцовских ноздрей свивались и иллюстрировали перепутанность этого дела.

— А вы... возьмите поллитру и идите к Яковлевичу, там следователь остался ночевать. — Маруся подумала и добавила ради истины: — Хоть к рукам нашего участкового что-то прилипает, но он еще неплохой.

Горка тут сразу воткнулся в очередное размышление: как это — взятки берет, но вот прошлым летом обкуренная молодежь из района на «газели» сбила старика и помчалась дальше. Так Иван Яковлевич пустился за ними на старом уазике! Неизвестно, что там произошло в лесу, но участковый привез их обратно на «газели», всех семерых — связанных, избитых, а у одного было прострелено плечо.

У Ивана Яковлевича было еще много талантов, например, он хорошо пел. Как из него могуче изливалась «Многая лета» на юбилее Васильевки!

Пока родители отсутствовали, Горка боролся со страхом, бормотал: такой он сообразительный, этот Георгий, все его любят, Изюмская сказала: ты Каменская с яйцами... то есть не так сказала, но с таким смыслом.... И вдруг — раз, и в яму под деревянный крест?! Горка словно весь налился безнадежной жидкостью, но избавился от нее с помощью привычного хода мысли: наука что-нибудь придумает, молекулярное омоложение там.

У участкового было простое лицо лесника. Отец Горки помаячил перед этим лицом склянкой и сказал:

— Что ты тут думаешь? Давай зови следователя.

— Он спит.

— Да, слабые эти городские... Знаешь, если Мирошников хотел бы все скрыть, он бы ее в снегу закопал, звери кости растащат — и все.

— По делу говоришь, — одобрил участковый. — Да я и сам Мирошникова в обиду не дам. Он же наш, васильевский.

Склянка звенела о края стопок до тех пор, пока отец Горки не сказал, глядя на плакат с губернатором:

— Пора кончать, а то у двуглавого орла уже три головы появилось.

А Петр Мирошников в это время говорил жене:

— Не могу спать.

Уж дальше он не продолжал, что видит задавленную у комода. Но жена догадывалась: у него все время было разговаривающее лицо, то темнеет, то светлеет.

Вышел Петр в сад, однако и туда она успела: стоит возле занесенного снегом пруда в какой-то рубашке белой и нисколько не мерзнет. Тут Петр не выдержал, и прорвался у него разговор наружу:

— Конечно, я виноват, что не проверил дверку...

— Петя, — позвал сзади голос жены, — пойдем домой, не мерзни, здесь никого нет.

В самом деле, подумал Петр, зачем я буду за этой белой рубашкой по огородам бегать. Дома он сел и включил телевизор, и ему под ноги высыпались слова диктора:

— И только таким образом призрак стал понятнее и человечнее...

Жена — домашнее МЧС — выхватила у него пульт и погасила экран. Петр стал ее успокаивать: сейчас я засну, засну. Лег и вдруг на самом деле заснул.

В холодном белом свете кладбищенская ворона сидела на ветке и смотрела на всех. Пар поднимался из ее ноздрей двумя клубами. Лицо Сей Сеича и здесь выделялось из всех лиц свирепой красотой. Он взял Горку за локоть и изрек:

— Когда и я умру, найдите и поставьте мне Реквием Моцарта.

Аполлон Засушенный услужливо закивал:

— Да, да. А если не найдем, поставим Киркорова.

Горка занес в стайку на подстилку солому, и она засияла как солнце. Лыска тяжело задышала и просяще посмотрела на него, то есть в его лице — на всех людей. Горка вспомнил, как по телевизору антилопа на бегу родила, детеныш шлепнулся, и мать недоуменно стала оглядываться: что-то легко стало, кажется, надо уже о ком-то заботиться.

Горка вприпрыжку бежал домой и думал: домашние животные тяжело рожают, потому что зимой мало двигаются. Вот бы их прогуливать как-то по графику...

— Мама, мама, Лыска рожает!

Мама засияла слезами, улыбкой, боком глянула в сторону божницы, и они втроем из всех сил побежали в сарай. У отца было ведро с теплой водой, а Горка нес хлеб с солью. Радует тут, думал он, а чего радоваться? Вырастет бычок, зарежем его осенью и будем есть. Как сейчас доедаем его брата Мартика.

Но возбужденный шепот родителей и первое короткое мычание теленка, похожее на нежный рожок — все слиплось в какое-то нелепое, но сокрушительное доказательство жизни, и оно отменило Горкины печальные мысли.

Посреди леса лежало продолговатое небо с облаками. Жара жгла, как крапива. Горка помчался, на ходу раздеваясь, и залетел с размаху в голубую прохладу озера, дробя все вокруг себя в жидкие алмазы. И снова пошли, постукивая, звуки:

Небо словно заходит в грудь
И создает душу...

Устройство под названием стрекоза испугалось, стартовало с камыша и понеслось над живым зеркалом, переливаясь и треща.

Горка любил купаться без всего, первоначально, обнимаемый извивами умной влаги со всех сторон. Он нырял и выныривал с ожиданием, что миг — и он родится в какую-то новую, очень всем нужную жизнь.

А Сей Сеич тоже думал в моем возрасте, наверно, замирая в мечтах гладиаторским лицом, что вырвется... а кончил ежедневной спиртовой пропиткой.

Горка вышел на берег — из драгоценности воды, сияя, как жемчужина.

Вот бы сейчас меня увидела Лианея — дочь Трех Солнц, которая в последнее время все чаще представляется с лицом Изюмской.

Вдруг он заметил, что пиявка присосалась к левому колену. — Сейчас я избавлюсь от тебя, чудовище, достану свой бластер, — сказал Горка. И прицельно помочился.

Пиявка отпала — он не стал ее давить. Ползи к своей судьбе.

Липы цветут, у них сегодня большой прием пчел. Вот бы сейчас пчелой вжикнуть домой. После купания сил не осталось, ноги — ленивый студень без мышц. А до дому еще пилить пять километров!

И тут весь накопившийся зной раскололся в неожиданном звуке. Горка прыгнул в сторону. Дядя Коля снял руку с сигнала и захохотал:

— Садись, прокачу!

Но вместо радости, что час по жару превращается в десять минут езды с ветерком... забоялся Горка, если честно. Сейчас засну, выпадут, и под колесо! Поседевший дядя Коля, причитания матери... А ведь с этой осени буду учиться в интернате, надо ездить на попутках, пора привыкать.

— Что, сцышь? — пронизательно спросил дядя Коля. — Не надо, бесполезно. Я в твои годы от мачехи ушел, волков видел стаи! Садись.

Потом он закурил и приказал:

— Рассказывай что-нибудь, а то я за сутки тут к баранке прирос, как бы не заснуть.

— Дядь Коля, Мирошников вчера привез новую породу карпов, говорят — генная инженерия.

— Ну и правильно, это лучше, чем ночами гоняться за мертвой Поздеевой. Видел я в одном фильме: по ночам рыбы-мутанты выползали из воды, залезали на березу и пели — как соловьи.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

В воскресенье встретил Пилю, и он повел меня в одно место. Дошли мы до окраины городской и оказались в какой-то хреновине: темно, сыровато и грязь. Компания там только мужицкая, сразу видно: не притон никакой, что женщин там вообще не бывает. Понял сразу: сегодня не пито, хотя время к обеду. Сидят угрюмые, один — молодой — картошку чистит. Пиля мне шепнул, что это, мол, сын хозяина, Петька-склонник, в армии не дослужил, прыгнул с ума немного, но так ничего, смирный, картошку вот чистить любит.

— Так ты заявил? — спросил Петька у отца, который вернулся откуда-то озабоченный.

— Шум будет. Сам явится.

— Думаешь, явится гад?!

— Куда ему деться-то.

Я спросил:

— Что случилось?

— Да вон!

Смотрю: ребенок сидит в углу, играет бутылками. Года три-четыре. Иногда недоверчиво поглядывает на нас с Пилей — потому как новые.

— Сухаревского знаете, в пятом цехе раньше работал? — спросил хозяин.

— Он же бросил пить! Завязал давно, женился.

— Вчера шел мимо, на минутку заскочил — просто посидели, и перед закрытием уже нашли два рубля, вот его отправили добывать. Не вернулся, паразит! И про пацана забыл.

Пиля закричал:

— Что?! С нашими деньгами! Да убить его мало! Ешкин-плошкин... — закончил он невинным ругательством и покосился на мальчугана.

Ребенок захныкал. Решили кормить.

— Чем детей-то кормят, Саша? У тебя мать в садике ведь!

Я подумал.

— Ну... молочное все. Котлеты можно в столовой взять — свежие, если и не свиные.

— Почему это не свиные?

— Потому что печень у ребенка не то, что у тебя! Ты вон политуры банку можешь выпить и ни... и ничего!

— Ничего, — гордо повторил Пиля, считая копейки. Всего набралось чуть более двух рублей.

— Конфеты ему купи! «Золотой ключик» или что! — крикнул нам вдогонку Петька-склонник.

— На бутылку не хва...

— Молчи! Пацан есть пацан!

Пошли в столовую. Пиля спрашивает у раздатчицы про котлеты: можно ли детям. Та ему не верит, что у него кто-то может быть.

— А Сонька-то, сестра! — убедительно стал доказывать свое Пиля. — Она ведь замужем, и мужик непьющий попался, вот приехала в гости с сыном. Его оставила, а сама... а сама... в деревню укатила, к матери!

Раздатчица сказала, что котлеты хорошие, можно брать.

Когда мы вернулись, все было по-старому, только один мужик — Вася Бас (Бас — это фамилия такая) домывает пол. Мальчик сидел на коленях у Петьки и смотрел на его ловкую работу:

— Дядь-Петь! А картошке больно, когда ее чистят?

— Ишь ты: молодой да ранний! — и Петька обнял мальчика, стараясь не запачкать его красную рубашку.

— Конфеты-то купили?

— Нет... Вот что: накормите его и сдайте! — сказал я. — Он вот сейчас грязными руками за котлеты — заболит не дай бог еще!

— Нельзя! — отрезал хозяин. — Не поверят нам. Начнется знаешь что! Вы специально, мол, напоили, то да се. Нельзя!

— Ну, давайте, я отведу, скажу: на улице нашел. Ешкин-мошкин...

— Не-ет, придет же этот гад, должен прийти!

Я понял: есть тайная мысль с отца побольше содрать за все — мол, не пили, не ели, все на ребенка ушло.

— Слушайте, а если не он, если жена его придет да в волосы кому-нибудь вцепится!

Но жена не пришла. Пришел сам отец, пьяный, да еще принес много всего с собой, потому как вину чувствовал. Ребенок сразу повеселел. Сидели недолго. Мужики все корили Сухаревского: ладно вот, на порядочных оставил, конечно, не бросили, не заморили, а мало ли что бывает, вот говорят, на Блошихе тараканы ядовитые появились, одного ребенка искушали. Дуст, что ли, внутри у них, даже, мол, раздавишь, так не мокрые, а порошок высасывает. Одно слово — ядовитые. До смерти могут. А мы вот пол вымыли. Могли бы сдать бутылки, нет, не пошли на это — оставили на игрушки...

Сухаревский разжалобился, дал еще пятерку. Пиля пошел.

— И не пели на ночь-то вчера! Вон гитара висела и висит, не пели.

Сухаревский прослезился, всех расцеловал, но сидеть дальше не стал, ушел, не дождавшись Пиля.

Сразу же вослед понеслось:

— Отец называется, туда его растуда, подальше и за тридевять земель, и конец на холодец... Вот мы уж пьем, так хоть детей не заводим, потому что понимать нужно.

— Отец называется, откупился пятеркой, и все!..

— А заметили, как дети меня любят! — похвалялся Петька. — Он все «дядь-Петь» да «дядь-Петь»!

— Любят! — передразнил его Вася Бас. — Ты бы хоть раз в месяц пол тут мыл! А то я скреб-скреб, едва до досок не промыл!

Пиля вернулся и первым делом спросил:

— А где эта... красная рубашонка?

Оказалось: купил-таки «Золотой ключик».

— Племяннику унесешь, — сказал я.

— Кому-кому? — обиделся он.

— Ну, сестра-то Сонька у тебя ведь, не у меня.

— Нет у меня никакой сестры, откуда ей быть — я в общаге живу, сам знаешь, ешкин-разматрешкин! — он огляделся, сообразил, что ребятенка уже нет, и употребил выражение покруче.

Пустили эти конфеты на закуску. Так себе закуска из них, но все равно. Вообще, хорошо в тот раз посидели, а когда уже все было пусто, и Петька спал, а его отец и Вася Бас еще соображали, шаря по своим карманам и считая мелочь, Пиля пытался вернуть меня к обсуждению происшествия:

— А кто мне сказал: печень-то у ребенка слабая, не то, что у тебя — из цемента...

На другой день Петька всех убеждал, что ребенок так полюбил его, что с родным отцом не хотел уходить.

Об этом говорили каждый день, все прибавляя и прибавляя срок пребывания ребенка: он стал жить не день, а неделю, потом — две, наконец остановились на месяце. И все не пили, не ели, только кормили да водились...

Потом другие истории затмили эту, но до конца уничтожить так и не смогли:

— Помнишь, как гуляли в Караганде, в командировке, и Вася упал в костер?

— А помнишь, Сухарь оставил ребенка, и все ходили вагоны разгружать, потому что кормить нужно, а печень-то у детей...

ЗООПАРК В ВИОЛОНЧЕЛИ

(Дети, сами расставьте восклицательные знаки, там, где нужно)

Хирудо

Эх, когда я был маленьким, мечтал о котенке или щенке. Но у тети Любы была чесотка от животных. И я стал просить у родителей хотя бы пиявку. Тогда пиявки продавались в аптеке. В огромной банке они красиво извивались и ныряли. Каждая по двадцать копеек. И если у больного было большое давление, то они его могли отсосать.

— Мама, пиявки погоду предсказывают. Если свернется клубком, выползет из воды и присосется к стенке — к морозу. А если у тебя давление подскочит — она отсосет.

Мама дала мне двадцать копеек. Я побежал в аптеку и купил пиявку. Выбрал такую яркую, длинную. Мы называли ее Красавица. Она жила у нас на столе в трехлитровой банке. И предсказывала погоду, такая умница, ни разу не ошибалась. А как она развлекала нас своими превращениями! То сожмется, станет короткой и толстой. То разожмется в длинную, тонкую, извилистую, ну как девушка. Я кормил ее своей кровью. Потому что папину руку она брать не захотела. Кожа у него слишком толстая. А я помазал свои пальцы вареньем, и она присосалась. Мама была кормящей матерью, потому что родила очередную сестру для меня, а я был кормя... донором я был для пиявки...

Очень жалко, когда надо солью ее посыпать, чтобы отпала от пальца. Так она извивается, бедная. Ну, промываем сразу в воде нашу Красавицу, потом сажаем обратно в банку. Мы все в семье очень любили ее. Только наши гости любили не все. Некоторые кричали:

— Если вам жалко этой колбасы, так прямо и скажите, а не нужно разных намеков в виде поганных пиявок кровососных подставлять! Какие вы хитрые, специально купили, чтобы аппетит отбить у нас.

Папа им доказывал, что наша пиявка прекрасна, как все живое. А мы много раз рисовали нашу Красавицу, сколько про нее стихов сочинили. Весело было с нею. Но однажды мы уехали летом к бабушке. Я капнул варенье на марлечку, что банку закрывала. Думал: поест без нас. А она ела-ела марлю до тех пор, пока не прогрызла. И вылезла. Может быть, она соскучилась одна и пошла искать нас. Но обратно в воду залезть уже не смогла. Мы по приезде нашли как будто мертвую улитку вместо пиявки. Похоронили ее во дворе, цветы положили на могилку. «Прощай, хирудо!» — сказал папа. Хирудо — по-латыни пиявка.

Я хотел новую купить, да тут развал медицины усилился, и в аптеке перестали продавать пиявок. А я так надеялся, что мой палец, высосанный пиявкой, немного усохнет, и меня не будут посылать в музыкальную школу.

Новая жительница

И вот солнечным сентябрьским днем я возвращался из музыкалки очень печальным. Потому что получил двойку. Роза Михайловна сказала, что у меня получается не «Полет шмеля», а «Полет мамонта». Очень мне не хотелось идти домой. Я слышал, что в городе появилось много грабителей, и шел, размахивая дорогой виолончелью. Я думал, что ее захотят украсть, вырвать из рук. Вместо этого моя виолончель сбивала листья с кустов. Желтые. И вдруг упала гусеница. Огромная, красивая гусеница. Довольно-таки волосатая. Я обрадовался, взял ее с веточкой и побежал домой.

— Мама, можно у нас будет жить гусеница?

Мама в самом деле отвлеклась на новую жительницу и не спросила про мои оценки. Так я полюбил в этот миг милую гусеницу. Она была такая добродушная. Мы называли ее тоже Красавицей. Сестры устроили ей домик на подоконнике, из веточек. Но ночью она упала на пол, где лежал скрученный бабушкин половичок, и как-то закуклилась внутри. Однажды она выползла из половичка и стала пускать мыльные пузыри. Потом оказалось, что это выдуваются ее крылья. Очень разноцветные. Она их подсушила, взмахнула и полетела к свету, на стекло. Мы поймали ее осторожно в целлофановый мешок и выпустили в форточку нашу Красавицу.

Лети, милая бабочка. Ведь тебе так надоело ползать гусеницей и куклиться куколкой. Благодаря твоей красоте мама так никогда и не узнала, что у меня была двойка. А «Полет шмеля» у меня получается теперь на целую тройку. Потому что я вспоминаю твой полет.

Но я думаю, что самое лучшее для этой милой гусеницы было бы закуклиться в моей крепкой желтой виолончели. Тогда бы мы долго не трогали инструмент. А мама и папа, предки мои, отдохнули б от ежевечернего перепиливания.

Жаба

В начале октября наш класс поехал на экскурсию в лес. Там я нашел красивую жабу. Она сидела на тропинке и смотрела прямо на меня. Я взял ее домой. Мама обрадовалась: жабы очень любят тараканов. И мы отнесли ее на кухню. Я поливал ее, чтобы она оставалась такой же яркой и блестящей. Я был для нее дождь. Но сестры тоже хотели быть дождем для жабы, и мы установили дежурство. Я мог часами любоваться переливанием пятен у жабы: то коричневые на зеленом, то золотистые. Да мы все полюбили ее. Только гости охали:

— Мало вам пиявок, вы решили отведать нас мерзкой жабой, чтобы экономить свою колбасу. Ох, хитрые же вы люди...

Однажды папа спросил: кто сегодня дежурный по жабе? Я был дежурный по жабе, а что? Где она? Стали искать. Утром я полил ее, а сейчас нигде нет. Искали полдня, но так и не нашли. Вечером мама собралась стирать на машине, открыла крышку, а там жаба спит. Замерла. В зимнюю спячку улеглась.

— Мама, не буди ее — у нее будет стресс, — умолял я.

— А если я буду стирать руками, у меня еще больше стресс разыграется, — закричала мама, схватилась за сердце и замерла, как жаба.

Если бы жаба заснула на зиму в моей виолончели, я бы так не кричал, как мама.

— Выбирайте: или я, или жаба! — кричала она.

Мы выбрали маму и разбудили жабу. Она после этого опять исчезла. Искали мы всюду, даже в виолончель заглянули. Нет нигде. Она, может, была не жабой, а заколдованной принцессой. Превратилась в девушку и ночью ушла от нас. А если это не так, то где она, скажите?

Хватит

Я собирался в музыкалку. Поскольку была весна, я стал натягивать сапоги. И закричал.

— Что такое? — спросил папа.

— Меня в сапоге кто-то кусает.

— Этот ребенок! — закричала мама. — Он не хочет идти в музыкалку и будет издеваться надо мной. Кто может кусать его в сапоге?

Я покорно стал снова надевать сапог и снова закричал. Тогда я взял сапог в руки и посмотрел внутрь. Оттуда на меня тоже кто-то смотрел. Это было так интересно, я бы мог долго смотреть, но мама выхватила сапог и вытряхнула из него ондатру. Из-за разлива в Каме эти ондатры живут теперь в лужах города. Вчера сестры у мамы попросили разрешения взять одну. Но она запретила. Видно, они все же оставили ее потихоньку в квартире. Папа застонал:

— Боже мой, неужели эти дуры закроют мне глаза в последний раз? Скорей бы, скорей бы...

— Папа, не спеши умирать! — я решил защитить и сестер, и ондатру. — Она меня кусала не больно, только так, чтобы от нее отвязались. А посмотрите, какая она красавица.

— Красавица, — сказала мама, — похожа на драную кошку и крысу. Уж хоть бы что-то одно...

— У Любы чесотка. И вообще — хватит. Пора тебе — иди, бери виолончель. С Богом!

Милую ондатру выставили на улицу, чему она, кстати, очень обрадовалась. И весело побежала в лужу, скрылась под машиной, в этой луже стоящей. А я побрел с виолончелью. А самое интересное, что тетя Люба очень огорчилась, когда узнала, что выгнали ондатру. Она сказала: я бы ее зарезала, шапку б себе сделала из шкуры.

— А чесотка? — спросил я.

— Чесотка от живых, а от мертвых — польза.

Я сел делать уроки. С удовольствием. Моя виолончель пела: «Беги, милая ондатра, подальше, подальше...»

Вдруг

Вдруг тетя Люба вышла замуж и уехала. Сестры в тот же день принесли красивую белую крысу. Самца. Он был с розовыми драгоценными глазами. И в первую же ночь подгрыз мою милую виолончель. Я даже колбасой ее бок не успел помазать, честно. Он сам так решил — надо грызть. Мама говорит: хорошо, пора покупать «половинку», ребенок подрос, «четвертинка» уже все равно мала. Да и Роза Михайловна советовала купить «половинку». Еще крыс прогрыз новую мамину сумку, которую она оставила на полу. Потом — новые сапоги сестер. Мы стали все с пола убирать. Если вы хотите приучить детей к порядку, возьмите крысу. Это бесценное и простое средство. Мама была в восторге. Но однажды ночью она опустила руку с кровати и крыс цапнул ее до крови. Мама решилась и дала нам 45 рублей на клетку. Птичью клетку продавали в «Природе». Купили...

— Наверное, теперь не хватит денег на «половинку» виолончели? — спросил я.

Мама от волнения так трогательно выкатила глаза, что стала похожа на нашу милую жабу, которая исчезла.

— Ты плакал — просился в музыкалку, сам выбрал виолончель, а теперь хочешь бросить? А дальше что: жену полюбишь, а потом тоже захочешь бросить, да?

И мне купили новую виолончель — «половинку». Я ее положил возле батареи — говорят, в тепле дерево может рассохнуться. Но мама заметила это — положила ее на шкаф.

Тогда я собрал всю силу воли и в результате долго болел. Папа делал у шкафа отжимания, раскачал пол, и виолончель упала ему на голову. Расколосась. Точнее, треснула.

— Все твоя голова виновата! — кричала мама.

— Мэа кульпа, — по-латыни отвечал папа (значит — «моя вина»).

Так я бросил музыкальную школу. Но виолончель нам очень пригодилась. Мы катались на ней с горки. Где взяли такой хороший лак для лакировки виолончели? Он очень скользкий, и на виолончели нас уносит далеко — до самого Дворца культуры.

ДЕТЕНЫШ КСЮХА

— Откуда вообще все взялось? И кто раньше появился: люди или насекомые, а, папа?

Детеныш Ксюха — новенькая в группе. Ее папа так и сказал Софье Вячеславовне:

— Вот вам детеныш Ксюха.

Софья Вячеславовна не обрадовалась — у нее и так было 34 ребенка в группе. Слишком много! перевозбуждаются, шумят. Еще хорошо, что от «Маугли» засыпают. Текст сложный для пятилеток, поэтому приходится каждый раз его читать перед сном.

— Откуда оно взялось все? — то и дело спрашивала у всех детеныш Ксюха.

— Рыбы вышли на сушу, когда им стало воздуха не хватать, — на ходу объяснила Софья Вячеславовна.

Ксюха в свои пять лет в каждой Божьей луже на прогулке смотрела на свое отражение. Еще она переназвала многих детей в группе: Дашу — Дахой, Рому — Ромахой, а Наташу — Натахой.

С Натахой она подружилась. Бегут, кричат: мол, Вадик хочет целоваться!

Софья Вячеславовна посмотрела: Вадик играет экскаватором меланхолично так.

— Ну что вы, девочки, наговариваете на него! Он играет экскаватором.

Раздался рассудительный голос Вадика:

Я им сказал, что поиграю, а потом уже буду их догонять.

Н-да, подумала Софья Вячеславовна, для Вадика первым делом самолеты, ну а девочки, а девочки потом. А они уже трепещут все!

— Мой брат по телевизору смотрел голых женщин, а папа вошел — он их под мультики спрятал, — сказала Натаха.

Надо срочно сменить тему, подумала Софья Вячеславовна и спросила у Вадика:

— А ты вырастешь — кем будешь?

— Миллиардером.

Ничего себе — сменили тему! У Софьи Вячеславовны и так денежные проблемы: свекрови предстояла операция — ногу отнимут... Нужно платить ночной сиделке, а зарплата такая... такая... Хорошо, что пора на прогулку, и направление мыслей у Софьи Вячеславовны сменилось само собой.

Их детский сад был на самой окраине Перми — напротив через дорогу — уже лес. И вдруг на прогулке увидели они зайца — он вышел на опушку и замер.

— Это кто — маленький олень? — спросила детеныш Ксюха. — Все смотрите-смотрите: маленький олень!

Почему-то в этот миг Ксюха стала очень дорога Софье Вячеславовне.

Но однажды за Ксюхой никто не пришел. Софья Вячеславовна забрала двух своих сыновей в других группах, и все вместе они поплелись домой к Ксюхе, там было закрыто, но соседка согласилась взять девочку до прихода кого-нибудь.

На другой день в ответ на «доброе утро» детеныш Ксюха буркнула: «недоброе» и целый час потом сидела в туалете — на коленях — плакала и ничего не говорила. Лишь перед сном сказала Софье Вячеславовне:

— А в воскресенье я поеду к папе в гости!

Так стало понятно, что ее родители развелись.

— Вот и хорошо!

— А что хорошего! До воскресенья еще три дня.

— Ну, подумаешь — всего три дня!

— Софья Вячеславовна, ждать три дня — это очень других три дня!

На следующий день Софья Вячеславовна объясняла детям (по программе), что такое горение, какую роль играет тут кислород.

Она принесла две разных банки и две одинаковых свечи. Зажгла и закрыла банками. Ну, ясно, что в большой банке свеча горела дольше, потому что кислороду больше.

Повторила опыт, повторила словами. А теперь — проверка: все поняли, что такое кислород?

— Кислород — это лимон, — сказала Ксюха.

— Почему лимон?

— От лимона — кислый рот...

Все понятно: девочка не может никак сосредоточиться — думает о своем.

На следующей неделе детеныш Ксюха начала вообще бить детей, скоро стала так агрессивна, что ударила по голове Вику. А Вика росла без папы, мама у нее — пьющая, и Вика до сих пор знак «плюс» называла «скорая помощь». И хохлому от палеха отличить не может. Раньше требовали, чтоб дети перед школой отличали Брежнева от Ленина, а нынче — чтоб хохлому отличали от палеха. Но ладно уж — бог с ней, хохломой, дни недели Вика запомнить не может.

Софья Вячеславовна говорит, что на прогулку не пойдут, пока не скажут, какой сегодня день недели. Так Вика еще ни разу не назвала правильно... Но она не унывает, даже если что-то не поймет, то с улыбкой спрашивает:

— Софья Вячеславовна, мы идем гулять?

— Нет, Вика. Мы идем на гимнастику.

Стихи для утренника Вика тоже не в состоянии запомнить, но мама ее очень просила, и Софья Вячеславовна все же дала ей две строчки к 8 марта. «Лучше мамы моей никого не знаю, ведь она у меня самая родная». Вика с восторгом прочитала:

— Я мамы своей вообще не знаю,

Потому что она самая родная!

Но зато только окликнешь ее, Вика обернется-улыбнется: «Ась?» и летит — руки раскинет, через секунду — она уже в объятиях Софьи Вячеславовны. Так вот получается. Или полетит вдруг обниматься со всеми проверяющими! А проверки очень часто случаются!

Видимо, так ее мама обнимается со всеми своими гостями (водку принесли ведь они). И вот только тети-дяди входят в группу, Вика руки раскинула — уже летит к ним со своей свекольной улыбкой: зда-а-а-сте! И начинает обнимать их за ноги!

— Какие у вас дети гостеприимные, — говорят тут проверяющие, — нигде мы не встречали таких детей!

Мама Вики — тоже со свекольной улыбкой, но логопед дал задание вырезать слова с буквой «Л» из газет — не вырезали...

И вот эту Вику ударила детеныш Ксюха, а разве можно обижать такую! Софья Вячеславовна целый день спрашивала, почему она ударила Вику.

— У меня без папы все облупилось: сапоги облупились, ранец облупился и нос облупился, — ответила наконец детеныш Ксюха.

— Нос облупился от солнца — при папе он мог тоже облупиться.

— Нет, папа напоминал, чтоб я бейсболку надевала ...

Эти была первая жаркая неделя — на площадке пахло протухшей рыбой. Видимо, бомжи ели, зарыли остатки. Запах раздражал сильно, все воспитательницы на своих участках искали-обыскались, где зарыто — не нашли ничего.

И вдруг Вадик приносит Софье Вячеславовне ветку цветущего боярышника — сорвал у ворот — вот он — этот запах! Так пахнет боярышник! Почему-то рыбой. Просто нынче в первый раз много цветов — разросся по всей территории.

— А когда мы ездили в Питер, там на всех улицах города сильно-сильно пахло свежими огурцами, но оказалось — корюшкой! — сказала нянечка Лида, когда дети ей все рассказали в группе.

— Еще раз расскажите, — попросил Вадик.

— Надоел! — детеныш Ксюха с размаху ударила его ногой по яйцам.

— Ты с ума сошла, — зашипела на нее нянечка, — у него же детей может не быть.

Даха тут оч-чень заинтересовалась словами няни: мол, как это — интересно — у Вадика вообще могли быть дети, он ведь не женщина!

Это была среда, в четверг был день рождения Селестины, ее папа — коммерсант — всегда устраивает роскошный стол вечером — праздник для всей группы.

Мама с завязанными глазами должны были угадать своих детей. И вот Софья Вячеславовна заметила: дети, имеющие пап, долго пересаживались, шутя, подсовывая «слепой» маме одного ребенка много раз, а безотцовщина... о, они совсем иначе себя вели — рвались к мамам, быстрее хотели попасть в родные руки!

И после всего подходит к Софье Вячеславовне папа Вадика. У них фамилия Сверко. Он неизменно сверкал серьгой в ухе, серьгой в губе, а сегодня вдруг в белой рубашке с галстуком.

— Я на новой работе, там требуют, чтоб строго... Софья Вячеславовна, вы приедете в суд — сказать, что я всегда Вадика приводил и забирал?

— А что случилось?

— Жена от меня ушла к... (прозвучала фамилия известного миллионера) и хочет сына забрать.

— А может, с мамой Вадику будет лучше?

— Но я с ума сойду!

А в это время Софья Вячеславовна поссорилась с мужем, он несколько дней жил у своей матери, и ей как-то было не до суда — дел невпроворот. Да еще ее старший сын — четырехлетний — описался в группе, не спал... И она поняла, что он так переволновался из-за ссоры родителей. Всего-то три дня и длилась эта ссора, а уже сын описался! Нельзя ссориться.

А у детеныша Ксюхи вообще развелись мама и папа — это еще страшнее. Значит, надо как-то ей помочь успокоиться, но как — вот в чем вопрос...

В раздевалке, как всегда, сидели два ребенка-тормоза и беседовали:

— Я потеряла носок, — говорила Вика.

— А ты в шкафу смотрела? — спрашивал Вадик.

— Я и под шкафом смотрела.

Детеныш Ксюха подлетела к ним и начала их буквально встряхивать: мол, надоели вы — растяпы, из-за вас всегда на прогулку долго не выходим.

Софья Вячеславовна подошла к ней и в наэлектризованном воздухе громко сказала:

— Слушай, ты одна, что ли, тут несчастная такая?

— А?

— Ты не одна такая! Чего уж так нервничать — у всех ведь проблемы! У Кати папа ушел, у Вадика — наоборот — мама ушла от папы и забрала сына в другую семью вообще...

Дальше вдруг такое началось! Произошло то, чего не ожидала сама Софья Вячеславовна: дети на прогулке просто бросились рассказывать Ксюхе о своих проблемах.

— У нас папа маме зуб выбил позавчера! Они дрались-дрались, а потом зуб на полу я полчаса искала...

— А у меня папа маму ударил, и ее парализовало!

— Как это?

— А так: половину лица... парализовало.

— Парализовало?

— Да.

Дети все окружили детеныша Ксюху и сыпали, и сыпали все свои горести:

— Мама моя выгнала папу, нашла дядю Леву! Папа часто блюет, а дядя Лева редко блюет!

— А мой папа гадал в Новый год по книжке, ему выпало знаете что — «внимание противоположного пола». И я сказал: «Папа, противоположное полу — это потолок. Ты должен внимание ремонту потолка уделить!» А он меня схватил за уши! А что я такого сказал?

И только одна Оля Нежненечко имела план — как наладить в семье снова хорошую жизнь. Она хотела... нарисовать родителям свадьбу, чтоб не ссорились.

— Нежненечко ты моя! — обняла Олю Софья Вячеславовна.

Вдруг детеныш Ксюха сказала: она тоже нарисует родителям свадьбу!

С тех пор детеныш Ксюха опять повеселела, носилась по группе с Натахой, хорошо ела и отлично отвечала на занятиях. Когда нужно было называть признаки осени, а все тридцать четыре ребенка уже назвали, Ксюха нашлась: «батареи отопления включают»! И покраснела от похвалы.

Это называется «разделенность опыта». Софья Вячеславовна слышала, что есть на Западе целые уроки такие: о смерти, о страхе... все дети друг другу рассказывают.

На следующий день детеныш Ксюха принесла в группу горшочек:

— Это детеныш фиалки!

В ПРЕКРАСНОМ КОЛИЧЕСТВЕ

В соавторстве с Вячеславом Букуром

Саше через месяц будет четыре года. Раньше-то он мечтал, чтоб ему подарили самовар.

В детском саду самовар, как гость, живет в отдельной комнате. Еще там есть матрешки и лапти.

Саша любил смотреть на самоварное блестящее пузо, потом подходил в упор и начинал ощупывать свое лицо: я это или не я там отражаюсь такой мультяшный?

— А нянечка говорит, что раньше вместо самовара был какой-то ленин, и комната называлась ленинская.

— Самовар — это Ленин сегодня, — ответила мама.

Старший брат Леха раньше обещал:

— Я спецвыпуск газеты... я смогу, я успею к твоему дню рождения!

Он был в первом классе и немного важный: выпускал домашнюю газету. Тема первого номера: бессмертие. Тема второго: будущее. Ну а третий номер был про живой уголок.

Спецкор-папа — участвовал лишь в первом номере: «Бессмертие таракана: что делать?»

А в газете про живой уголок было много всего! Очень! Сначала заметка: «Понос черепахи позади». Начиналась так: «Пишет Алексей Чибисов. Вчера черепаха поела творожную запеканку, которую мама дала котенку»... Затем Леха переписал в газету объявление, которое сам же развесил по подъездам двух домов: «Потерялся зеленый волнистый попугайчик. Кто нашел, верните. Будет вознаграждение. Пожалуйста! Говорит: Кеша, птичка».

— Наверное, попугай почувствовал все заранее и смылся.

— Он подумал: хозяин проиграет зарплату второй раз, и тут такое начнется!

Братья шептались друг с другом — сверху вниз и снизу вверх, потому что лежали на двухэтажной кровати. Да, да! Отец уже второй раз оставлял в игровых автоматах все до копейки.

А младший брат Ваня за два бесконечных года жизни накопил уже много способов выживать. Он стал увесисто ходить по детской и рычать: «Папа мой! Мама моя!» И косил грозно взглядом: ну-ка, выходи, кто хочет разбить наш крепкий живой уголок, а в нем — папа, мама, Леха, Саша, я, рыбки, черепаха, кот, а попугай Кеша тю-тю через форточку.

Саша вдруг зарыдал, но объяснил брату: мол, просто собак жалко, которые на улице — на холоде остались и лают.

Тут Леха вскочил, подбежал к иконе Николая-угодника и чуть ли не требовательно спросил:

- Ну почему ты сделал, что у всех отцы деньги домой приносят, а у нас проиграл?

Саша добавил:

— У меня в группе Герман всех кусает, а у него папа вон какой хороший. А я не кусаюсь, а папа все больше проигрывает: сначала восемь тысяч, потом десять.

Тут мама стала надевать шубу. А за окном так темно! Поэтому Леха начал лихорадочно спрашивать у нее:

— Поможешь мне сочинить задачу? Сначала восемь, потом на два больше, и сколько вместе.

Мама выдала самоварным голосом:

— Черепаха сделала восемь куч под кроватью Вани, а под столом — на две кучи больше...

— Куда пошла? — спросил Саша.

— Искать вам нового папу.

Прошло время.

— Ну что, нашла?

— Нашла.

— А как его зовут?

— Коля.

— А где он?

— Да вон под окном в снегу прикопала, чтоб не испортился.

Саша покачал головой: плохая шутка.

На воскресенье мама повезла братьев в гости к бабушке с дедом. Как всегда. А папу бросила дома и сказала:

— Сиди тут, гений азарта!

— А ты втяни свой живот! — закричал папа.

Саша был поражен. Как это — маме втянуть такой прекрасный, такой теплый... А мама закричала:

— А ты отдери свой живот от позвоночника!

Тут Саша был вообще сражен. Отодрать — такой твердый, в квадратах! И отчаянно завыл. И в первый раз за всю бесконечную четырехлетнюю жизнь к нему никто не бросился. И только Ваня, пускаясь в дальний путь со своим прозрачным мешком, угрюмо напомнил:

— Мама моя, папа мой.

Он был умнее всех, Ваня-то.

А вот в какой дальний путь Ваня уходил по квартире, это только он знал. Все остальные видели со стороны вот что: он навешивал на себя шарф, складывал в большой пакет книжку, варежку, несколько конфет и динозаврика, махал рукой из стороны в сторону, как член политбюро (пока-пока!), а потом уходил путешествовать к спальне. И так раз двадцать за день.

— Пржевальский! Миклухо-Маклай! — умилялась на Ваню мама, пока папа не проиграл.

По дороге на автобусную остановку мама молчала. А ведь раньше она всегда учила детей по следам узнавать все: кошек, собак, птиц. Саша решил это молчание залепить:

— Я вчера на прогулке говорю Герману: «Смотри, смотри, деньги!» Герман: «Где?» А я ему: «Проверка жадности!» Он тут полез. А его ка-ак...

Тут они сели в автобус, в котором уже сидел Герман. Он говорил:

— Куплю шоколадку за три рубля, продам за пять рублей.

— Боже мой, да кто же у тебя ее купит! — измученно крикнула его мама.

Герман изумленно посмотрел на нее: мол, как это - кто купит, ведь шоколадка такая вкусная!

Саше хотелось услышать, что там дальше с деньгами от шоколадки случится, но тут, как всегда, остановка неожиданно подскочила и мама поволокла их к выходу.

Сразу от дверей он заявил бабушке:

— Когда я вырасту и буду стричься не в «Ежике», а вместе с большими, я никогда не буду проигрывать деньги!

— А буду только выигрывать, — едко добавил дед.

Бабушка засмеялась, но как-то не по-настоящему, потому что закрутилась, как глобус, вокруг своей оси. А дедушка подмигнул Саше, но тоже невесело. И тут вопрос: зачем взрослые шутят, когда им невесело? Саша так и спросил деда, а дед честно ответил:

— Понимаешь, старина, Бергсон тоже уперся в тайну смеха, но так ничего толком и не мог объяснить. Все только твердил: интуиция, интуиция.

Саша замер, запоминая восхитительные слова, чтобы сказать их со страшной силой в детсаду и тут же получить в ответ: «Сашка умный — по горшкам дежурный».

После чего он схватил бутылку из-под минералки, пристроил ее себе на колени, как гитару, и объявил:

— Выступает солист живого уголка Саша Чибисов!

Потом он откинулся на спинку дивана, забил ногтями по выпуклому пластику и запел:

*Папа, папа, что ты хочешь?
Играть-проиграть,
Играть-проиграть,
Вот и все, вот и все.
И больше ни-ни, и больше ни-ни!*

— Ведь все для чего-то нужного случается, - вдруг успокоилась бабушка. — Отец продулся, а дети никогда не будут играть на деньги.

Тут позвонила какая-то многочисленная подруга. Бабушка ее послушала и говорит:

— У нас тоже проблем!.. Зять вообще играет.

— Играет на сцене театра, — добавил дед, ужасно двигая пальцами, глазами, ушами (он этим говорил: не надо всему миру докладывать).

— Бабушка, что сказала твоя многочисленная подруга? — спросил Саша.

— Оно опять запило.

— Бабушка, что хуже: когда оно пьет или когда оно проигралось?

Тут бабушка опять проделала свой фокус: сразу засмеялась и зарыдала:

— Варя сказала вот что: ведь Анна Григорьевна Достоевская пошла бы гонорар получать вместе с Федором Михайловичем, чтобы он не проиграл все в рулетку.

Леха тут сказал:

— Бабушка, у тебя по экватору пояс халата развязался.

Она сразу воздела руки и закричала:

— Какую силу воли нужно иметь, чтобы сесть на диету! А зятю еще труднее!

Ваня почувствовал, что пора отложить очередной поход вдаль. Он изобразил присядку: пригнулся, резко вставал, отрывал от пола то одну ногу, то другую. При этом он пел боевую песнь двухлетнего человека: ха, ха, фа, фа! Мама посмотрела на него и сказала:

— Танцуешь? А потом пойдешь на автоматах играть?

Ваня упал от неожиданности, но упорно гнул свою линию, крича:

Мама моя! Папа мой!

— Да, — подтвердил Саша, — папа принесет зарплату. Но ты, мама, должна идти с ним, как Анна эта ваша Григорьевна.

Леха тут включил телевизор: свой любимый канал про живую природу. Там показали, как паучиха съедает паука.

— Дед, а разве друзья-пауки не сказали ему, что паучиха может его съесть?

— Ну, если все друзья разводятся, а ты решил жениться, то все равно ведь не посмотришь на разводы друзей, — ответил дед.

— А до того, как мы родились, была зима или осень? — спросил Саша.

— А так все и шло: осень, зима, потом весна и лето.

Саша был поражен: их не было с братьями, а все уже шло и шло.

Бабушка сказала, что Саша во время дневного сна кричал: «Герман, сейчас я тебя так укушу!»

— Бабушка, а почему к папе ангел не прилетел и не сказал: нельзя проигрывать деньги?

— Наверное, ангел прилетал, да твой папа принял его за разряд электричества...

Саша знал: в детском саду Герман дружит с Васей, потому что у них дома компьютеры. Вот если бы папа не проигрывал зарплату, а купил компьютер...

Только вернулись домой, как в дверь к Чибисовым позвонили. Мама открыла. Стоит мальчик, весь сгорбленный, печальные глаза. Рядом с ним старенькая бабушка:

— Алексей здесь живет?

— Здесь. — Мама была в ужасе: — Это он что-то сделал вашему мальчику? О Боже!

— Учительница просила расписаться: двойки у Алеши в тетради.

— Всего-то? А я уж подумала... А почему мальчик ваш такой согбенный?

— Болеет. Мы только что из поликлиники, это к Алеше не относится.

Радости мамы не было предела. Но Алеша-то не знает этого: он испугался, что мама задаст за двойки, побежал к раковине и стал сильно сморкаться, зная, что кровь пойдет. И кровь пошла. Тогда мама врезала ему по заднице. И стыд охватил ее.

— Где нервы взять на все это?! — закричала она.

А еще недавно были совсем другие проблемы. Например, папа мог поинтересоваться, почему Саша пришел понурый из детского сада.

— Я кукарекать не умею!

— Да, это серьезно. А что — все уже умеют?

— Все.

— Ну а есть что-нибудь хорошее-то?

— Есть. Хрюкать научился.

Папа по-свойски облапил его плечо:

— Ну вот, видишь, брат, какая жизнь-то неплохая: хрюкать ты умеешь.

А теперь что? Саша твердо решил, что не будет кричать, как мама. И остались одни шутки:

— Ты, папа, осень без ягод.

— А ты, сынок, уши без мыла.

И во время этих шуток Саша почему-то вспоминал, как стоял в углу и никуда нельзя было пойти. И теперь каждый вечер Саша начинал с двух главных фраз, когда приходил из детсада:

— Папа, ты принес зарплату? Скажи маме, что ты принес зарплату!

Папа не двигался с места. Один раз Саша даже начал ныть без слов, потому что ничего не получалось. Мама тут как тут, ничего не спросила, сразу говорит:

— Чего ты как маленький, ты уже большой.

Но в какой-то вечер папа вдруг разразился:

*Среди унылых чибисов,
Свихнувшихся с копыт,
Один лишь Саша Чибисов
Пушистенький сидит.*

Саша выслушал, сжал все выросшие к этому дню зубы и подумал: ничего, все становится лучше, еще до воскресенья буду каждый день говорить про зарплату. Никакого Колю не надо будет выкапывать из-под снега, потому что папа принесет зарплату в прекрасном количестве.

ОСТАНЕМСЯ ПОД СВОДОМ ЛОЗ!..

ИСХОД

Аминодав Барлев Калантар сказал:
Три тысячи лет мы жили в Бухаре,
а нынче уходим, брат Ходжа Зульфикар.
Из наскальной поэмы дервиша

...слышишь!
слышишь, Господь мой!
это там,
в далеке-далеке,
в запустевшем,
родном,
разоренном,
убитом войной
кишлаке —

это там,
где мой след, неумело ещё
навсегда уходящий от дома,
переполнен водою за край,
полустерт на арычном песке —

это там
невзначай
так по-детски, по-детски несмело
ветер дует в пробитые гильзы патронов,
а слышится —
как задыхается, мается най¹
в неизбывной, щемящей тоске!..

в далеке-далеке....
там оставил я гроздь на лозе обгорелой...
хоть её сохрани!

Барух ата Адонай²

¹ Най — таджикская флейта.

² Благословен ты, Господь мой... (иврит)

ОЧНУВШИСЬ СРЕДИ НОЧИ В САДУ

ещё вчера —
во все пределы
шампуров здесь сквозили стрелы,
а в гроздьях пыльнопереспелых
гнездились стаи хищных птиц,
и, выгнув царственное тело,
в курганах плова жемчуг
млело
здесь кобры черпали десниц!

30

еще вчера —

 дрожь дойры⁴ тронув,
литые монист кольчужных звонов,
хлестала кос плетьюми, средь стонов
кружа юниц,

 и с зовом мук
меджнуны ждали опьяненно,
чтобы нещадный

 насурьмленных
литых бровей сразил их лук!

ещё вчера —

 дурман газелей
тёк из оскалов ожерелий,
и, удушив дутар,⁵ пьянели
персты,

 в нем слыша плоть булав,
и в жилах закипали сели
всеразрушающих веселий,
и раны в сумерках чернели
окалиной арбузных лав!

Чего ж теперь уста так немы!?

Чего ж теперь средь темноты
фиалы — сшибленные шлемы
и блюда — палые щиты!?

ВИНОЧЕРПИЙ

Иса!

когда над торжищем
в корысти жребий мечущих —

уже без покрывал,
 словно очищенной от листьев
ты вен набухшею лозой,
 восстав у стен столицы,
от зноя раскаленный холм объял —

ледово

 в ранах пузырясь,
 текли в избытке кисти
в иссохшие глазницы зрящих —
в сонмы подставленных пиал...

⁴ Дойра — таджикский бубен.

⁵ Дутар — двухструнный музыкальный инструмент.

ДОПИВАЯ ВИНО ИЗ КУВШИНА В ПЕРСИКОВЫХ ДЕРЕВАХ

...раскаленный сапфир — и так зыбко лилов
сумрак в купах, где бледные губы плодов...
остывающий сад — затаившийся зной —
запах тающих сот под недвижной листвой...

неужели так было?.. я помню... ожег —
плод, коснувшись ладони, расплавился, тек,
просочился сквозь пальцы... и словно во сне
тихий сладостный стон вдруг послышался мне...

и внезапный змеиный клубок павших кос
стал шатром надо мной из сапфирных волос,
где от яростных стонов во мгле
голубой
месяц льдинкой испарины тек над губой...

я ещё ощущаю средь мертвенных куп
бархатистость, к лицу приближая раструб,
и медовую мякоть — сквозь глинистый струп
под истаявшим льдом керамических губ...

ТРИ ВОПРОСА К ДЕРВИШУ ХОДЖЕ ЗУЛЬФИКАРУ

Ах, вернуться б в тот сад, где Учитель седой
молвил, бавя вино себе снова водой:
— Неужели еще только прошлой весной
мать к Наврузу⁶ мне волосы красила хной...

Иль ему во хмелю вновь явилась она?
Иль опять приглянулась чужая жена?
Иль увидя,
что у меня седина,
он хотел, чтоб мне больше досталось вина?

ПРОХОДЯ ЗАБРОШЕННЫМ КИШЛАКОМ

...в пыль истертая глина дороги
и яблони ветвь над саманной оградой в плодах...

«Слаще нету даров,
на пути, предназначенных многим!..» —
так Учитель когда-то сказал.

Благодарный, усядусь в пыли
хоть ладони, как прежде, пусты:
тень — для путника,
паданцы — для сироты.

⁶ Навруз — таджикский Новый год.

ОЧНУВШИСЬ У ДАСТАРХАНА, ВСТРЕЧАЮ НОЯБРЬСКОЕ УТРО,
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ДЕРВИШ ХОДЖА ЗУЛЬФИКАР ДЕВОНА
НЕЗАМЕТНО НОЧЬЮ ПОКИНУЛ МОЮ КИБИТКУ

...пить одиноко вино
на увитом выюнами айване⁷ —
в плетеве пыльных стеблей
голубые
сквозь сумрак лучи...

в высветах вымерзла скатерть, Учитель! —
след слезы на краю пиалы,
не пригубленной Вами,
и так оплывно, так тало движение
иссиня-матовой саранчи...

ПОСЛЕ СЛЕПОГО ДОЖДЯ СИЖУ С ШАМСИДИНОМ САМАДОМ
В ВИНОГРАДНИКЕ У НОЯБРЬСКОГО ЯБЛОНЕВОГО САДА

...хмельные, всеми позабыты,
останемся под сводом лоз,
под аметистовой листвой!
здесь в накипах промытых
мерцают гроздьев сталактиты
слюдою крыльев вмерзших ос!

останемся! —
здесь нас коснулись свитки
суфу⁸ обвившего куста ширазских роз,
рубахи омочив в избытке
мускусом самых тихих слез!

останемся! —
здесь ледяным опалом
по лозной арке свет течет с коры,
а там, за ней, над дальним перевалом —
пока мы будем поднимать с вином пиалы —
уходит солнце за откос горы...

и из укрытья станет нам видней —
как руслом трещин в сумерках
разъято
мелеют яблони, как жилами ветвей
они всё лиловей и лиловей
вбирают влагу золота заката...

и мы увидим шёлк саманных глин,
что выстудит под звездами ограда,
и как дыхание руин
коснется дымкой падалицы сада...

⁷ Айван — открытая терраса-крыльцо

⁸ Суфа — широкое глиняное ложе в тенистом уголке сада.

и будто в детстве будет мрак глубин,
где привыканием к смерти были прятки...

так пей, глядя сквозь сети паутин —
сквозь божьих пальцев
златоотпечатки!

СМОТРЮ С ГОРЫ НА САМАННУЮ КИБИТКУ ДЕРВИША ХОДЖИ ЗУЛЬФИКАРА ДЕВОНЫ У ВАРЗОБ-ДАРЬИ

...алыча начала отцветать...
одинокa кибитка у гор —
глина крыши в соцветьях
и неогороженный двор,
вся тропинка от них вдоль по склону бела
вплоть до самой реки,
и нигде ни следа —
ведь Учителю жаль
затоптать лепестки...

НА ИСХОДЕ МАХСУМОБАДСКОЙ ОСЕНИ

... пропыленный, декабрьский сад,
своды лоз над суфою пусты —
гроздьа срезаны,
тихо летят
глинокожие всюду листья...

листья...
линии жилок густы —
виноградник-младенец, а тронь —
истонченные явит персты,
вдруг иссыпавшись, свиток-ладонь...

листья — саваны — промельки крыл
поглощающей всё глубины —
вот и посохи старцев,
могил,
занесенной приметой видны...

...только дождь налетит, обнажив
вечный, спрятанный сада вопрос —
посох слова — телесный алиф⁹
усеченной керамики лоз.

и увидишь сквозь наледи слез
на пороге бесснежной зимы
цветники предрассветные роз
восстающим бутоном чалмы...

⁹ Алиф — первая буква арабского алфавита.

В НАВРУЗ В ГЕРМАНИИ

... над суфой виноградник обрезав,
сiju с пиалою вина,
пыль в лучах золотится у нашей кибитки —
метет сонный дворик жена...

снова это приснилось,
и как повелось —
там, во сне, на лицо мне упав,
всё текут и текут наяву
слезы мною обрезанных лоз...

НОЧНАЯ МУЗЫКА. ТРИПТИХ

ДРУГОЙ

Ты должен меня выслушать — я обращаюсь к тебе, не к кому-нибудь. Вряд ли ты обрадуешься, узнав, что разоблачить тебя оказалось не таким уж сложным делом.

Ты ведёшь совершенно другой образ жизни, вращаешься в чуждой мне среде, иначе одеваешься, ты другой человек. Я знал это, и если решился проделать эксперимент, о котором сейчас расскажу, то лишь для того, чтобы лишний раз убедиться в этом. Буду краток. Потратив полчаса на перелистывание телефонного справочника, я в конце концов остановился на конторе со скромным названием «ХУ. Розыск и наблюдение». Договорился о визите. Вылез из машины: жилой дом, ничем не примечательный, сбоку от двери, на щите с кнопками звонков нахожу нужную табличку. На минуту меня охватили сомнения; даже страх; было очевидно, не правда ли, что я ввязываюсь в сомнительную авантюру. Ты усмехнёшься. Ошибаешься, приятель: это была боязнь изобличить себя, а не тебя. Потоптавшись перед подъездом (и чуть было не повернув назад), нажимаю на звонок, вхожу, еду в лифте на пятый этаж.

Секретарша ввела меня в кабинет, где сидел человек с незапоминающейся внешностью, что отвечало его профессии, — видимо, тот самый Икс Игрек. Над креслом висел, как принято, портрет основателя фирмы: респектабельный господин с трубкой, в клетчатом кепи. Или это был сам великий Шерлок Холмс?

Я объяснил, чего я хочу, протянул фотографию, человек с засекреченным именем, директор конторы или кто он там был, взглянул на фото, взглянул на меня, не выказал удивления, лишь слегка приподнял бровь. Выслушав с профессиональной благожелательностью моё поручение, задал несколько деловых вопросов и попросил заполнить анкету. Я спросил, обязательно ли сообщать моё имя и прочее. Он развёл руками. Я пожалел, что пришёл сюда. Мне захотелось встать и уйти. Человек вздохнул. «В крайнем случае, — проговорил он, — вы можете проставить вымышленное имя, в порядке исключения. Ведь ваш случай, если я правильно понял, сам по себе представляет исключение».

«Нет, — возразил я, — если вы думаете, что это я, вы ошибаетесь. Это другой человек».

«Угу. Вот как. Ну что ж».

С этими словами он принялся составлять смету — предварительную, сказал он. Возможны дополнительные расходы. Естественно, я не стал любопытствовать, как они примутся за дело, кто будет этим заниматься. Такая профессия требует конспирации (Позже выяснилось, что единственный сотрудник, не считая секретарши, — сам заведующий).

«Итак...» Хозяин постукивал пальцами по столу, поглядывал на меня, словно ждал, что заказчик передумает.

Я подписал договор, и мы обменялись рукопожатием.

Теперь пора сказать несколько слов о себе. Это необходимо, чтобы ты понял: между нами нет ничего общего. Почему я набрёл на странную мысль поручить

частному детективному бюро следить за мной? Ответ прост: потому что сам я не могу за собой уследить. Итак, кто я такой: я человек вполне заурядный. Живу тихо, незаметно, мало с кем вижусь; с женщинами дела не имею, старые друзья всё реже дают о себе знать, да и я звоню им нечасто. Это можно объяснить возрастом. В конце концов, все мы понемногу стареем, а что такое старость, как не желание уйти в свою раковину.

Мне 59 лет. Лет двадцать тому назад, во времена экономической депрессии, когда с моим дипломом некуда было сунуться, я набрёл на малооплачиваемое местечко в районной библиотеке, временное, как я думал; да так и остался там. Через несколько лет стал заведующим. Работа меня вполне удовлетворяет. Я уже сказал, что живу один. После нескольких лет брака моя жена меня бросила, причём откровенно объяснила (за что я ей благодарен), что дело даже не в том, что я мало зарабатываю, не стараюсь продвинуться по службе (а какое может быть продвижение в библиотеке?), что я вялый, пассивный, неинтересный человек. А в чём же дело? Оказывается, я не удовлетворяю её как мужчина. Вероятно, она приготовилась к бурному объяснению, ожидала, что я осыплю её упреками. Но я как-то не нашёлся, что сказать, у меня словно отнялся язык; по своей наивности я ничего такого не подозревал. Да и что можно возразить, коли она приняла окончательное решение. Я даже не нашёл в себе силы спросить, кто же этот счастливец, который увёл её от меня. Мы постарались не доводить дело до бракоразводного процесса. Детей у нас нет. Две беременности были прерваны, тут же она призналась мне, что оба раза забеременела не от меня. Одним словом, старая история — и уже подёрнулась пеплом. Задним числом я думаю, что даже к лучшему. Я поступил с моей бывшей женой так, как она этого заслуживает: вычеркнул её из своей жизни.

Вечерами я сижу в моей берлоге: у меня уютная, хоть и несколько запущенная квартира. Слушаю музыку или читаю детективные романы. Читаю я обыкновенно так: прочту две-три страницы, а потом заглядываю в конец, чтобы узнать, кто убил. И после этого возвращаюсь к началу, читаю подряд, внутренне посмеиваясь над полицейским комиссаром: дескать, ты тут тычешься туда-сюда, ходишь вокруг да около, а мне уже всё известно. Но скоро это надоедает, я слоняюсь из угла в угол, иди некуда. Вообще я по своему характеру домосед. Пойми это, наконец: мой образ жизни меня вполне устраивает. Я домосед и отшельник, поздние прогулки, сомнительные кафе, амурные приключения и всё такое меня нисколько не привлекают, я человек брезгливый и, признаюсь, боязливый. Одиночество? Я не страдаю от одиночества! И даю тебе честное слово, если бы не бессонница, я был бы вполне доволен своей жизнью.

Можно страдать нарушениями сна, а можно, как я, испытывать страх перед бессонницей. Может быть, я и уснул бы. Но я боюсь лечь, начнутся разные мысли, ночью вообще всё кажется хуже, чем оно есть на самом деле, — и вот я сижу в кресле до тех пор, пока не почувствую, что у меня уже просто нет сил подняться, чтобы идти в постель. Читать я не могу, музыку не воспринимаю, в квартире цепенеет тишина, горит свет в люстре, странный, раздражающий, словно зуд, геморроидальный свет. Наконец, я встаю, иду в прихожую, чтобы выключить там свет, и возвращаюсь с намерением отправиться на покой, но кресло притягивает меня. Я чувствую, что у меня отвисла челюсть, глаза потускнели, я вперяюсь в экран, там текут, сменяясь, картины Земли, какой она предстаёт из космоса: огромный неспящий мозг. Плывут океаны и материки, словно туманные мысли. Еле слышно звучит ночная электронная музыка. А иногда появляются люди: на прошлой неделе, например, я неожиданно увидел до странности похожее лицо женщины. Похожее на кого? На мою бывшую супругу, разумеется.

С великим трудом я поднялся и отыскал в записной книжке её номер. Звоню: длинные гудки, никто не подходит.

Наконец, щелчок, голос из телефонных недр.

Вероятно, она подняла голову с подушки, там, в бывшей нашей спальне; спит, конечно, не одна. Или вышла в другую комнату, стоит с голыми ногами, в короткой рубашке, тёплая, источающая аромат сна.

«Алло...»

Извиняюсь за то, что её потревожил.

«А, это ты».

Объясняю, что видел её только что по телевидению.

Она ничего не понимает. Какое телевидение?

«Извини. Я только что...» В самом деле, нелепость. Зачем надо было звонить, напоминать о себе? Я изгнал её из памяти.

Вернувшись, я сгоняю тебя с моего места (какая наглость), плюхаюсь в кресло, экран дрожит, снизу вверх пробегает серебряная зыбь, шорохи, шелесты, все передачи закончились. Что делать?

Вероятно, я всё-таки успеваю соснуть. На рассвете мне снятся сны. Однажды приснилось, что я иду по переулку. Что-то знакомое, но где именно, не могу понять. В домах тёмно, едва тлеют лиловые луны фонарей — во всей округе упало напряжение тока. Постукивают чьи-то шаги. Я догадываюсь, что это я сам иду по пустынному переулку, куда-то направляюсь, но куда? Между тем светлеет, небо над мёртвым городом разгорается оловянным огнём, в окнах отразилось сияние, и я вижу, подходя к окну, что, действительно, наступило утро.

В понедельник, как было договорено, меня известили о том, что материал готов.

Я вошёл, сопровождаемый секретаршей, в кабинет. Это был мой второй и, надеюсь, последний визит к владельцу конторы «Розыск и наблюдение». Икс Игрек поднялся навстречу и пожал мне руку. Мы немного поговорили о том, о сём. Затем заказчику было предложено занять место за круглым столиком в углу кабинета. Детектив вынул из пакета и разложил фотографии. Я разглядывал снимки, выполненные с большим искусством, в различных ракурсах, издалека, вблизи, даже сверху.

«Не торопитесь, сравните, — сказал он, возвращая мне фотокарточку, которую я представил при первом визите. — Если, — добавил он, — вас не удовлетворяет качество, можно продолжить расследование».

Я ответил, что качество фотографий меня вполне устраивает, сложил всё в пакет и попросил продемонстрировать фильм.

Директор бюро достал из сейфа кассету. Секретарша, особа неопределённых лет и, я бы сказал, неопределённого пола, немая, как рыба, задёрнула шторы на окнах. В темноте я с трудом различал лицо человека, чьё настоящее имя так и осталось неизвестным. Было ли у него имя вообще? Не хочу ничего об этом знать. Наступила пауза; сыщик медлил. В чём дело? Он осторожно спросил, не предпочитаю ли я просмотреть фильм у себя дома. Если нужно, фирма предоставит в моё распоряжение необходимое оборудование.

«Почему не сразу же, не здесь?»

«Если окажется, что качество вас не удовлетворяет, или если информация недостаточна, можно повторить расследование».

«Да, но я не понимаю...»

«Дома гораздо спокойней, вы сможете не торопясь, без свидетелей...»

«Я вас задерживаю?»

«О, несколько. Наше время принадлежит нашим заказчикам».

«Тогда в чём же дело?»

«Видите ли, — сказал он, — вы всё-таки необычный клиент...»

«Какая разница, я готов заплатить за всё», — сказал я, теряя терпение.

«Конечно, конечно. Прошу понять меня правильно, речь вовсе не идёт о гонораре. Но расследование потребовало, если можно так выразиться, применения необычных методов...»

«Ваши методы меня не интересуют. Мне важен результат».

«Вот именно. Вот именно! — подхватил Икс. — Речь идёт о результате. Об информации, которую, как я надеюсь, нам удалось получить с исчерпывающей полнотой».

«Прекрасно, я сгораю от любопытства».

«Я бы хотел всё-таки вас предостеречь. В нашей практике бывают случаи, когда клиенты оказываются настолько потрясены разоблачениями, что... Короче говоря, я полагал, что ознакомиться с информацией — не говоря уже о выводах, которые вы сделаете из неё, — лучше в домашней, привычной обстановке. В условиях, так сказать, щадящих психику...»

«Благодарю за заботу, — сказал я холодно. — Включайте».

Короткий вздох, после чего рулон неслышно развернулся — белое полотно закрыло мистера Холмса. Владелец конторы «Розыск и наблюдение» стоял за моей спиной.

Я увидел подъезд моего дома и уходящий вдаль переулок. Собственно, это и был переулок, который я видел во сне. Видимость не очень хорошая, так как съёмка происходила ночью.

Икс Игрек навис надо мной.

«Мы пользуемся высокочувствительной плёнкой», — сказал он.

Из подъезда вышел человек и остановился, озираясь. Человек, по первому впечатлению, похожий на меня.

«Это он!» — сказал я с торжеством.

«Вы уверены?» — спросил Икс.

Конечно, я был уверен. Ты притворился мною, но костюм выдал тебя. На тебе был... словом, неважно, как ты был одет, главное, что я никогда так не одеваюсь. Я уселся поудобнее в кресле. Секретарша (интересно, откуда она взялась? хорошо помню, что она вышла из кабинета) молча поставила передо мной виски со льдом и содой. Я отхлебнул из стакана. Я потирал руки от удовольствия. Подкатило такси, ты уселся рядом с шофёром. Детектив, как можно было догадаться, ехал за тобой в другой машине. В этот час улицы были безлюдны. Кажется, ты заметил, что тебя преследуют, таксист прибавил скорость, машина пронеслась под красным окном светофора, резко затормозила, чуть не столкнувшись с машиной, шедшей наперерез, помчалась дальше. Икс сказал, что кусок плёнки пришлось вырезать, «мы упустили объект». Удалось нагнать тебя где-то на окраине; тусклые улочки, тёмные дома снова напомнили мне мёртвый город моего сна. Я поднёс к губам стакан. Такси остановилось перед ярко тлеющей в темноте неоновой вывеской. Вокруг входа бежали цветные огоньки. Поблескивали лужи. Шёл дождь. Вылезая из машины, ты снова поглядел по сторонам.

Изображение погасло. Вспыхнула настольная лампа.

«Что-нибудь случилось?» — спросил я, загородясь ладонью от света.

«Мне показалось, — директор кашлянул, — что вы хотите остановиться».

Опять! Я был вне себя.

«Позволю себе заметить, тут есть кое-какие неожиданности. Я не имею права давать советы. Может быть, вам стоит предварительно проконсультироваться...»

«С кем?»

Я отхлебнул из стакана. Сеанс возобновился.

Нужно отдать должное его квалификации. Вернее сказать, его проницательности. Он-таки постарался. Ну и, конечно, все эти новшества, миниатюрные камеры, инфракрасная съёмка, уж не знаю, что там ещё применяется. Было хорошо видно, как ты спускаешься по лестнице в подвал, швейцар в галунах суетится перед

тобой, опускает в карман небрежно брошенную купюру. Догадываюсь, что и от соглядатая он получил щедрую мзду.

Вслед за гостем камера миновала переднюю, ты вошёл в полутёмный зал, вдоль стен были расставлены столики со свечами, почти все пустовали.

Я спросил: озвучена ли плёнка?

«Да, конечно. Но до сих пор, я думаю, звук был не нужен. Пожалуйста». И тотчас донеслись аккорды гитары, рулады саксофона, музыканты на эстраде настраивали инструменты. Всё смолкло, были слышны приглушенные реплики, журчащий женский смех. Зал наполнялся. Вдруг грянуло, завыло, забряцало, пары качались и извивались перед эстрадой, полунагие дамы — персонал заведения — танцевали с посетителями. Тебя нигде не было видно.

«Мы его тоже потеряли», — сказал владелец конторы, по-прежнему называя себя во множественном числе, словно хотел снять с себя ответственность.

Ответственность — за что? Меня так и подмывало сказать ему: да брось ты. Я ведь прекрасно понимаю что ты обо мне думаешь. Ты считаешь меня ненормальным.

Икс сказал: «Однако нашли».

Камера двигалась по коридору. На дверях висели картинки: цветочки, рыбки, детские физиономии. Остановились перед девочкой, прикрывавшей голую попку; видимо, детектив успел навести справки. Дверь поехала, кто-то появился из комнаты, поспешно прикрыл лицо ладонью.

«Остановите», — сказал я.

«Это не вы».

«Перестаньте, при чём тут я?.. Остановите плёнку. Нет, — сказал я. — Это не он».

Неизвестный шёл по коридору, пропал за поворотом.

«Ну что ж, — проговорил я, потягиваясь. — Всё ясно».

«Я вижу, что вы устали. Но фильм не кончен».

«Достаточно, — сказал я и хотел встать. — Вы старались меня отговорить, а теперь хотите, чтобы я досматривал до конца. Включите свет. Заказ выполнен, я вполне доволен».

«Что вы делали вечером?»

«Вечером? — спросил я, сбитый с толку. — При чём тут...»

«Да. Что вы делали поздно вечером в воскресенье?»

Я пожал плечами. Что я делал... Ничего; то же, что всегда. Сидел дома. Сражался с бессонницей.

«Вы уверены, что вы никуда не выходили?»

«Почему вас это интересует?»

«Мне кажется, — сказал он, — это и вас должно интересовать. Итак, вы утверждаете, что провели всю ночь у себя, никуда не выходили из дома?»

«Вы что, ведёте следствие?» Я усмехнулся.

«Может быть. Вы не ответили на мой вопрос».

«Да, да, да. Абсолютно уверен».

«И никто к вам не заходил?»

Владелец бюро полусидел на столике передо мной, ждал ответа. Подумав, я сказал:

«Приходится экономить электричество. Я увидел, что горит свет в прихожей. Пошёл и погасил. А когда вернулся в комнату, он (я показал на угасший экран) сидел в моём кресле. Мне, конечно, пришлось его вытурить...»

«Так, — сказал Икс. — Значит, он приходил к вам. А кто он, собственно?»

«Но ведь я уже вам говорил. Другой человек».

«Позвольте задать вам ещё один вопрос. Не кажется ли вам, то есть не приходило ли вам когда-нибудь в голову, что другой — это вы?»

«Послушайте...» — проговорил я.

«Сейчас объясню. Тот, кого вы считаете другим, на самом деле вы, а вы, в свою очередь, тот другой».

Я ничего не мог ответить, что-то сбилось в моей голове. Хозяин конторы продолжал:

«Я не посягаю на вашу гипотезу. Хотя это всего лишь гипотеза, не так ли? Я просто хочу предложить вам, раз уж вы настояли на том, чтобы просмотреть плёнку здесь, а не у себя дома... предложить ознакомиться с информацией до конца. Собственно говоря, вам всё это должно быть известно, в таком случае наши сведения помогут вам освежить вашу память».

Он потушил настольную лампу.

«Вам как неспециалисту я должен пояснить, что в некоторых особых случаях, и, разумеется, с большой осторожностью, без какого-либо риска для клиента, мы пользуемся техникой внутреннего расследования, поэтому не удивляйтесь, если...»

Я спросил, что значит «внутреннего».

«Это долго объяснять. Впрочем, в тексте договора это оговорено, вы, очевидно, не обратили внимания... Речь идёт, ну что ли, о проникновении, разумеется, очень ограниченном, в психику».

«Вы имеете в виду...?»

«Совершенно верно. Объективация сознания, в данном случае вашего».

«Но, позвольте, — сказал я. — Это же нонсенс, прочесть чужие мысли невозможно».

«Мы с вами вторглись в область философии. Это не по моей части. Но, раз уж об этом зашла речь, разрешите вам напомнить, что в конце концов у всех нас есть средство приобщиться так или иначе к чужой психике».

«Какое же это средство?»

«Язык. Мысль не существует вне языка. Нам приходится облекать наши мысли и чувства в слова, а слова принадлежат всем. Когда вы говорите: у меня болит голова, все понимают, что это значит. Когда человек раздумывает о том, что происходит у него в душе, он опять-таки пользуется общепонятным языком. Иначе говоря, даёт возможность другим подсмотреть, что у него внутри... Но, я думаю, нам пора вернуться к демонстрации. Сейчас вы всё увидите».

Коридор опустел. Дверь со скабрёзной картинкой осталась приоткрытой. Камера проникла в комнату. И что же я увидел? Широкую кровать, где хватило бы места для троих, плафон в виде чудовищного красного цветка над изголовьем, и в багровой полутьме женщину под розовым одеялом, с распущенными волосами и голыми руками.

«Что, язык отнялся? Закрой дверь. Так и знала, что ты придёшь...»

«Поздравляю, — сказал я. — Вот ты где приземлилась».

«Да, — а ты думал, где?»

Я было хотел возразить, она перебила меня.

«Это я у тебя хочу спросить, как это ты, друг милый, очутился в борделе! А впрочем, почему бы и нет».

Я молчал.

«Ты зачем пришёл, — если по делу, то давай, снимай штаны. А если хочешь опять выяснять отношения, то извини, у меня свободного времени нет. Ну?» — и она сбросила одеяло, бесстыдно развела ноги. Стиснув зубы, чувствуя, как всё во мне закипает, я оглядывал мою жену с головы до ног, с ног до головы.

«Не хочешь, как хочешь. Брезгуешь, что ли? — Повела бровью и натянула одеяло на живот. — Небось денег жалко. Я тебя знаю. Ты всегда был скупердяем».

Я стоял и смотрел на неё.

«Наверно, полным импотентом стал, чего ж тогда притащился... А, понимаю: поэтому и пришёл. Ну давай, я тебе помогу. Снимай тряпье, живо. У-у, бедненький, — запела она. — Миленький. Такой одинокий. Иди ко мне».

«Ах ты, сука». Я произнёс это почти вполголоса.

Она прищурилась. «Что я слышу? Такой воспитанный, тихоня, и вдруг такие выражения, ай-яй-яй...»

«Дрянь, подстилка! — закричал я. — Я тебя проучу! А ну, подымайся!» Я подбежал к постели и схватил её за руку.

По-видимому, она страшно испугалась, что-то лепетала.

Я подобрал что там лежало и швырнул ей.

«Одевайся, блядища...»

«Куда, куда?» — бормотала она.

«Домой, — сказал я зловеще. — Там поговорим...»

«Послушайте, — проговорил я, — ведь этого не может быть».

«Почему же, — возразил владелец бюро. — Такие случаи известны».

«Вы хотите сказать: это болезнь?»

«Я не медик. Но иногда трудно провести границу между заболеванием и... и обогащением, если хотите».

«Что вы имеете в виду?»

«Две индивидуальности. Разные судьбы. Вместо того, чтобы вести тусклое существование обыкновенного, заурядного человека, жить в своём единственном “я”, словно в клетке, надоесть самому себе...».

«Вы хотите сказать...»

«Да. Именно это я и хочу сказать. — Мы вышли из кабинета. Со стула поднялась каменная секретарша, уступая место шефу. — Сидите, — сказал он, — я провожу г-на N до машины».

«Прошлый раз мне повезло, я нашёл местечко перед домом», — сказал я.

«Я провожу вас».

Он продолжал:

«Вы можете гордиться. Жить двумя жизнями, носить в своём теле двух разных людей — это доступно лишь особым, избранным натурам».

«Но ведь они не знают друг о друге. Какое же тут может быть преимущество?»

«Огромное. Каждый считает своё второе “я” другим человеком. И, может быть, к лучшему. Так удобнее. Своего рода приспособительный механизм психики. Впрочем, я не специалист».

Мы вышли из подъезда и зашагали к площади, где мне пришлось оставить машину.

«Я думаю, вы сами ещё не осознали, что всё это значит. Оба ваших “я” живут в неодинаковом времени. Сколько у вас комнат?»

«Две, — сказал я, — гостиная и спальня».

«Прекрасно. Так вот, представьте себе, что в обеих комнатах вашей квартиры висят часы, которые показывают разное время и при этом идут правильно».

«В какой же из двух мы сейчас с вами находимся? С кем вы разговариваете?»

«Вам лучше знать. Но, думаю, с тем, кто проводит вечера у себя дома, а не с тем, кто отправился на поиски своей бывшей жены и так невежливо обошёлся с ней, увидев её в публичном доме».

«Послушайте... — проговорил я, глядя по сторонам. — А где же она?»

«Супруга?»

«Да нет же. Моя машина! Она стояла на этом месте».

«Гм, — пожал плечами директор конторы, — вероятно, на ней уехал тот, другой».

«Но ведь, логически рассуждая, у него должна быть и другая машина!»

«Не думаю. Вы живёте в одном теле и в одной и той же квартире. У вас общая машина и общая жена. Логично, не правда ли? Всего доброго, — сказал директор. — Вы получите счёт в ближайшие дни».

ПРОЧЕЕ — ОДЕЖДА

Voici la nudité, le reste est vêtement.
Voici le vêtement, tout le reste est parure.
Voici la pureté, tout le reste est souillure.
Voici la pauvreté, tout le reste est ornement.
*Charles Péguy*¹

Женщина шагала в сандалиях, держа сумочку у бедра, ни на кого не глядя, люди оборачивались и смотрели ей вслед. Заметим, что у нас в России такой номер бы не прошёл. Но тут дело происходило в стране, где строгость нравов, отнюдь не уступив место безнравственности, ушла с поверхности в глубину. Тем не менее некто в фуражке с гербом, в зелёном мундире и брюках табачного цвета, поманил пальцем незнакомку.

«Вам не холодно?»

Она возразила:

«Я привыкла».

Человек в мундире попросил предъявить удостоверение личности.

«Но у меня его нет с собой». И она показала пустую сумочку.

Он сказал, что вынужден её задержать.

«В чём дело?»

«Я думаю, вы сами понимаете».

«Я нарушила закон?»

«Отойдём в сторону, — сказал полицейский. — Ваше поведение надо квалифицировать как нарушение».

«Нарушение чего?»

«Точнее, как оскорбление».

«Боже мой, кого я оскорбила?»

«Оскорбление общественной нравственности. Нарушение приличий. Неужели вы не понимаете? В таком виде».

«Разве я плохо выгляжу?»

«На вас ничего нет!»

«Неужели я так уж плохо сложена?»

«Не в этом дело».

«А в чём же?»

«Я полагаю, это не нуждается в разъяснениях. И, кстати, можно простудиться».

«О, нет. Погода великолепная. К тому же я закалена».

«Вам приходится часто разгуливать вот так?»

«Иногда. Но вы не ответили на мой вопрос».

«Какой вопрос?»

«Хорошо ли я сложена».

«С точки зрения закона это не имеет значения. Важен факт нарушения».

«Да нет же: я имею в виду — с человеческой. С точки зрения мужчины, если хотите».

Полицейский вздохнул.

«С обычной точки зрения, вы сложены недурно».

«Может быть, вы поясните, что это значит».

¹ Вот нагота, а прочее — одежда.

Вот одежда, всё прочее — украшение.

Вот чистота, всё прочее — грязь.

Вот нищета, всё остальное — прикрасы.

Шарль Пегу (фр.).

Он усмехнулся.

«Вы сложены, как богиня».

«Благодарю. Но я всего лишь женщина. Небожителей невозможно мерять обычной меркой».

«Почему же? Было время, когда боги сходили с небес на землю».

«В Древней Греции?»

«Хотя бы».

«Я вижу, вы образованный человек», — сказала она.

«Я студент».

«И одновременно работаете в полиции?»

«Я учусь заочно. Получаю задания, сдаю экзамены. Отойдёте... я должен записать вашу фамилию и адрес. Вам пришлют штраф».

«А если я откажусь платить?»

«Тем хуже; с вас взыщут по суду. Чем вы, собственно, занимаетесь?»

«Собственно, ничем».

«Гуляете по панели».

«Если вы имеете в виду проституцию — ничего подобного».

«Но к вам, наверное, пристают».

«Бывает. Ничего хорошего из этого не получается, я умею защитить себя. Эта профессия внушает мне отвращение».

«На что же вы живёте?»

«О! у меня есть средства».

«Вы замужем?»

«Разумеется, нет».

«Прошу вас, мы мешаем прохожим. Вероятно, люди удивляются, почему я медлю. Вы ведь куда-то спешили?»

«Куда мне спешить. Я гуляю. Хоть и не в том смысле».

«Там есть небольшой скверик, прошу. Дело вот в чём, мадемуазель...»

«Мне не хотелось бы садиться».

«Вот чистый носовой платок».

«Спасибо. — Она опустила на скамью, закинула ногу на ногу и сложила руки под грудью. — Я забыла спросить: что вы изучаете?»

«Философию».

«Вероятно, работа в полиции даёт возможность учиться».

«Наоборот. Полиция помогает разобраться в философии».

«Вы хотели мне что-то сказать».

«Да. Дело вот в чём. Мы уже говорили об оскорблении приличий...»

«Боже мой, какие приличия! О чём вы говорите! Бульварные журналы полны фотографий голых красоток. Реклама не стесняется использовать всё что угодно. Телевизор еженосно демонстрирует порнографические сцены».

«Вы почти угадали мою мысль. К сожалению, никого теперь голым телом не удивишь. Ролан Барт говорит...»

«Кто это?»

«Был такой. Очень, кстати, неглупый человек».

«Среди философов это бывает не так часто? О, не обижайтесь. Так что же он говорит?»

«Одежда эротичней, чем голое тело. Женщина может одеться так, что будет казаться раздетой. Но при этом она должна остаться одетой».

«Вы не находите, что это отдаёт ханжеством?»

«В том-то и дело, что нет. Деррида говорит...»

«Вы замучили меня своей эрудицией».

«Виноват, больше не буду... Словом, что я хотел сказать. Нам грозит катастрофа. И вы — да, вы! — в числе её виновниц».

«Ничего не понимаю, — сказала женщина. — Катастрофа?»

«Именно. Наступила инфляция наготы. Пока что ещё люди оборачиваются, чтобы взглянуть на вас. Завтра и оборачиваться перестанут».

«Меня это мало волнует. Вы говорите, никого голым телом не удивишь. Я к этому и не стремлюсь!»

«Может быть. Но дело в том, что нагота не есть что-то абстрактное. Нагота сама по себе не существует. Не вы, а тот, кто вас видит, делает вас голой. Обнажённость реализуется в присутствии зрителя».

«Но я вовсе не нуждаюсь в зрителях!»

«Ах, оставьте. Нагота — это событие. Она всегда новость. А что произойдёт, если нагота станет банальностью? Для общества это чревато по крайней мере двумя последствиями. Двумя прискорбными последствиями».

«То, что на меня не будут обращать внимания?»

«Это я в качестве примера. А последствия следующие. Врачебная статистика говорит о том, что потенция мужчин уменьшается. И это понятно. Мужчины всё меньше интересуются женщинами. Стимул ослабевает, понятно?»

«Я бы сказала, наоборот...»

Собеседник скользнул глазами по её телу. Женщина непроизвольно подалась вперёд.

Вздохнув, он покачал головой. Перевёл взгляд на кусты и деревья.

«Вы боитесь посмотреть на меня?»

«Я боюсь разрушить таинственное очарование наготы».

«Ого! Я даже не подозревала в вас такую бездну романтизма».

«Женщина, — промолвил студент, — это всегда тайна. Она скрывает некую истину. А природа истины такова, что ей необходим занавес. Едва только она мелькнула перед вами, как тотчас же скрылась. Истина женщины — её нагота. Истина может заинтриговать, лишь явившись полуодетой. Я бы даже сказал, что до тех пор, пока она не обнажена, она и остаётся истиной. Оголившись, она становится банальностью. Голая баба, ну и что? Ничего особенного».

«Я просто в восторге от вашего красноречия... Значит, если я сейчас... — она оглядывала и оглаживала себя, — ...если я оденусь, я стану привлекательней? Верну себе, если я вас правильно поняла, утраченный шарм?»

«Я не договорил».

«Извините. Какое же второе последствие?»

«Вам не приходило в голову спросить себя: отчего в девятнадцатом веке наступил такой небывалый расцвет поэзии, философии, музыки? Не сравнить ни с прежними веками, ни с нашим временем».

«Отчего?»

«По-моему, это совершенно ясно. Девятнадцатый век — это был век торжества буржуазии. С её лицемерием, показной моралью, викторианским ханжеством. Век, враждебный телу. Вспомните, как одевались женщины: всё закрыто, всё занавешено. Сверху платье до подбородка, снизу юбка до пола, корсет, фигура, как у осы. На руках перчатки, на голове чудовищная шляпа. Какая-то неприступная башня в кружевах, бантах, оборках... Но!» — сказал, подняв палец, полицейский.

«Догадываюсь, куда вы клоните».

«Но зато такой наряд стимулировал фантазию. Даже едва высунутая ножка воспламеняла воображение. А что говорить об остальном! Под этой горой шёлка подозревались дивные чудеса. Такой наряд необыкновенно дразнил чувственность. А так как женщины, скованные всевозможными запретами, демонстрировали несокрушимую добродетель, то чувственность, не находя выхода, сублимировалась. Неудовлетворённая чувственность порождала взрывы творческой

энергии. Если бы Матильда Везендонк уступила Вагнеру, если бы хоть разок разделась перед ним... уверяю вас, — студент печально покачал головой, — никакие песни Везендонк, никакие Тристаны и Изольды не были бы написаны! Ницше сказал: сексуальность пронизывает человека вплоть до вершин духа. Духа!»

«Простите, я, может быть, слишком примитивно мыслю. С одной стороны, вы сетуете на угасание чувственности, а с другой — требуете её запретить».

«Запретить чувственность невозможно. Напротив, её нужно воспитывать, не давая ей угаснуть...»

«Значит, если я показываю людям, какова я на самом деле...»

«Чувства притупляются. Народ привыкает. Представляете себе, что было бы, если бы все женщины последовали вашему примеру?»

«Для этого нужно, по крайней мере, одно условие».

«Условие, какое?»

«Тёплый климат. Кстати, я слышала, что в Индии самый большой прирост населения. А в Африке...»

«При чём тут Африка. Настоящая страсть, — подняв палец, сказал студент, — не может разгореться, если знакомство начинается с конца. Я имею в виду, с раздевания. Наступает разочарование, пресыщение — ещё до того, как страсть удовлетворена. И, конечно же, — продолжал он вдохновенно, — от этого страдает культура, вянет искусство. Упадок современного искусства, его вялость, его бессилие — как вы думаете, что это? Это... прошу прощения, вялость полового члена!»

«Ну, хорошо, — сказала она. — Я в философии не разбираюсь и не могу с вами соревноваться. Давайте проделаем небольшой опыт. Подержите мою сумочку... можете повесить её через плечо, вот так... Я зайду за кусты, а вы закроете глаза».

«Что это ещё за театр. Я при исполнении служебных обязанностей!»

«Ну, пожалуйста. Две минуты, не больше. Очень прошу. Только честно: не подсматривать. Вы ничего не видите. Считайте до двадцати, и после этого откройте глаза. Вслух, пожалуйста».

«Раз, два, три... — начал полицейский. — ...двадцать!» И он встал.

Открыл глаза.. Шагнул было к кустарнику, но остановился и негромко позвал. Никто не откликнулся.

Он вернулся, присел на скамейку, подумав, снова поднялся, одёрнул мундир и взглянул на часы. Однако, подумал он. Рабочее время закончилось. Он не передал дежурство сменщику, оставалась надежда, что это сделал за него коллега, который патрулировал вместе с ним. Он поправил на голове фуражку и пошёл прочь.

Вдруг что-то остановило его, он обернулся. «Вы?» — сказал он удивлённо. Женщина, во всей её ошеломительной красоте, подняв руки к затылку, стояла в двадцати шагах от него. Ветер шевелил её волосы. Она опустила руки, машинально — или не совсем машинально? — провела руками вдоль бёдер. Похоже, собеседник её не интересовал; она разглядывала в нём, как в зеркале, себя.

Он шагнул навстречу.

«Стоп, — слышался её голос. — Закройте глаза. Не подсматривать. Теперь вперёд!»

Студент подчинился, шёл, вытянув руки, навстречу, осторожно открыл глаза, на аллее снова никого не было. Кто-то подкрался сзади и прижал ладони к его глазам. Кто-то приблизил своё дыхание к его уху. Он услышал чей-то шёпот.

«Истина существует до тех пор, пока её не увидели. Как видишь, я неплохая ученица».

Ловкие тонкие пальцы расстёгивали пуговицы на его груди.

«Теперь, — проворковала она, — тебе понятно, что такое истина?»

Знатоки и любители помнят московский аукцион 2008 года, когда были распроданы последние экспонаты замечательного собрания Ивана Курочкина, человека, ставшего легендой. До сих пор о Курочкине циркулируют самые дикие слухи, приходилось даже слышать, будто Курочкин — мистификация и на самом деле никогда не существовал. Я знал Ивана, хоть и не принадлежал к его ближайшему окружению, и могу свидетельствовать, что девять десятых того, что о нём рассказывают, не имеют ничего общего с действительностью. «Ваня, — сказал я ему однажды, — ты бы хоть написал свою биографию». Он усмехнулся и ответил: «Моя коллекция — это и есть моя биография. Никакой другой у меня нет».

Курочкин был сыном француженки, светской львицы и, говорят, ослепительной красавицы; к несчастью, она окончила свои дни в частной психиатрической клинике. Отец, русский эмигрант, разбогатевший на каких-то не вполне законных денежных операциях, сравнительно благополучно пережил чёрную пятницу 1929 года и кризис начала тридцатых, после чего, в итоге чрезвычайно удачных инвестиций, превратился в промышленного магната. Овдовев, он больше не женился, всё досталось Ивану.

В душе Курочкин-старший был человеком другого покроя, считал себя несостоявшимся художником, мечтал, что сын исправит его ошибку — так он называл, не без некоторого кокетства, свою карьеру. Иван рассказывал, что однажды отец призвал его к себе для серьёзного разговора. «Ну хорошо, — сказал он, — коли тебя тошнит от живописи, коли ты чувствуешь, что не рождён быть ни поэтом, ни музыкантом, уверяешь меня, что в тебе проснулась иная страсть, что ж? Займись, по крайней мере, благородным делом. У меня есть несколько ценных инструментов. Дарю тебе их, пусть это будет началом».

«Если бы он знал, — говорил Иван, — как я распорядился его наследством!» Небольшой домашний музей — полтора десятка смычковых инструментов разных эпох — довольно быстро растаял. Две скрипки Гварнери и его же работы виола да гамба были реализованы на аукционе за приличную сумму, зато ирландскую хротту X века, гордость коллекции, он продал, по недостаточной компетентности, за бесценок — каких-то семь с половиной миллионов. Большой, в человеческий рост, монохорд из лиможского монастыря св. Марциала уступил, после долгих переговоров, известному любителю — инфанту Испании, — если не ошибаюсь, за 18 миллионов. Прочее разошлось по музеям, по частным собраниям. Иван уже не владел пакетом акций отцовских предприятий. Ушёл из-под контроля один из самых могущественных банков Западной Европы, уплыли земельные владения и леса в Вермонте, уплыло сказочное поместье в Провансе, близ городка Оранж, где прошло детство, где умер отец.

«Я всё спустил; я почти что нищий, если сравнить моё нынешнее существование с условиями жизни в среде, к которой я принадлежал по рождению. Но на вопрос, сожалел ли я когда-нибудь о том, что принёс в жертву моему призванию всё, чем владел, и самого себя в придачу, — я отвечу: ни на одну минуту!»

Таков был Иван Курочкин — весь он, можно сказать, в этой тираде. Какой удивительный, думалось мне, плод смешения черт и склонностей столь непохожих друг на друга родителей — коктейль французской и русской крови. Курочкин интересовался своей генеалогией, и не зря. Прадед по материнской линии был мореплавателем, сподвижником Лаперуза. Погиб где-то за тысячи льё от Франции. Что касается предков с отцовской стороны, то известно, что один из них считался потомком татарского мурзы, прибывшего на Москву с ордынцами в начале XV столетия. Другой играл в кости, всегда выигрывал и был заподозрен в шулерстве, а его сын, прозванный Курочкиным за особое пристрастие к женскому полу, был

трижды женат, содержал у себя в деревне крепостной гарем и даже будто бы жил с собственной дочерью как с женой. Трудно сказать, что здесь правда, а что легенда подстать тем, о которых я упомянул.

В моём рассказе я не могу и не хочу придерживаться хронологического порядка, что, по-моему, соответствует отращиванию Курочкина к биографиям. Случалось, что мы не виделись годами, но какая-то сила вновь влекла меня к нему; похоже, и он испытывал ко мне некоторого рода симпатию, если можно предположить подобное чувство у человека нелюдимого, неразговорчивого, всецело поглощённого своей страстью — одним словом, маньяка. Выглядел Иван как отражение в вертикальном зеркале, в каком-нибудь павильоне смеха: тощий, длинный, неловкий, то, что называется коломенская верста, длиннорукий, с вытянутым лицом и узко посаженными глазами, и удивительно похожий на экспонаты своей коллекции. Вот уж кого бы я не решился назвать красивым мужчиной. Семьи у него никогда не было — у таких людей не бывает домашнего очага. Зато появились подражатели, был основан клуб, поговаривали, что со временем он будет преобразован в Академию имени Ивана Курочкина. Разумеется, сам он не мог управляться один со всеми своими делами и подобрал себе штат помощников. Был секретарь-делопроизводитель, был финансовый директор, банда съевших зубы на своём деле юристов, эксперт, единственный, но зато весьма искушённый — в отличие от невежественных советников времён ивановой юности, когда он разбазарил свои музыкальные раритеты, — а кроме того, разъездные агенты, фотографы, ещё какие-то личности с неясными функциями.

Думаю, что никто из его персонала не ел даром свой хлеб. Иван был щедр, но умел быть и беспощадным; малейшая провинность, и человека как не было: мой друг не выслушивал никаких оправданий. Разного рода формальности, сложности увольнения — плевал он на всё это. А вот так: приличная сумма, чтобы отлучённый не оказался на улице, — и катись. Был у Ивана и специальный человек, умевший весьма бесцеремонно отгонять от шефа стада просителей, самозванных искусствоведов и, разумеется, женщин. Или, например, является некто, выдающий себя за специалиста по грунтам и фундаментам; в шею его. Каждое новое приобретение полагалось обмыть, для чего шеф содержал повара и дегустатора. Созывался узкий круг, и компания напивалась до положения риз. Курочкин терпеливо выслушивал тосты, порой весьма рискованные (он не терпел лести), молча поднимал бокал и ставил на место, не пригубив.

Раз в месяц — деловое совещание, обсуждались новые проекты. Самое трудное, говорил Иван, это переговоры с собственниками, будь то частные владельцы, городские общины, церковные власти или правительство страны. Само собой, приходилось принимать меры к тому, чтобы до поры до времени держать сделки в секрете от так называемой общественности. Иван не давал никаких интервью. Редакторы бульварных журналов знали, что публикация фотографий великого Курочкина будет стоить им судебного процесса.

Единственное, на что он изредка давал согласие, — экскурсии. Делалось это исключительно с благотворительной целью: выручка шла (в память о матери) на строительство приютов для душевнобольных. Плата за вход ни много ни мало пятьсот долларов, тем не менее от желающих поглазеть на легендарную коллекцию не было отбоя. Как-то раз я присутствовал на одном из таких, я чуть было не сказал: шоу. Экспонаты были мне известны, но было интересно поглядеть на экскурсовода. Станный и живописный субъект в смокинге, с огромной, чуть ли не от плеча до плеча, бабочкой на шее, в чёрном, как смоль, парике и с подкрашенными губами, отставной любовник из французского водевиля, стареющая опереточная звезда, шпрыхсталмейстер в цирке. Бог знает, откуда его добыл Курочкин. Ехал этот персонаж не вместе со всеми, а в отдельной машине-вагончике.

Любопытно, что он ничего не говорил о создателе коллекции, на вопросы о Курочкине предпочёл вовсе не отвечать; надо думать, получил на сей счёт соответствующее указание.

Но ещё интересней был его способ вести экскурсию.

Для начала гид произнёс короткую речь.

«Дамы и господа, уважаемая публика! Вам предстоит приобщиться к творениям духа, устремлённым ввысь не только в переносном, но и в прямом смысле, при всей их несомненной материальности... Вы получите возможность — в пределах отпущенного нам времени — ознакомиться с изумительными произведениями человеческого ума, таланта, терпения — ведь создание их нередко было делом поколений, — и я надеюсь, нет, я уверен, вы навсегда сохраните память о сегодняшнем дне, не пожалеете ни о потраченном времени, ни о сумме, которую вам пришлось уплатить, впрочем, довольно скромной сравнительно с расходами по поддержанию этого... — он запнулся, обвёл парк широким жестом, — этого единственного в своём роде собрания. Кстати, открою вам секрет: нынешний год — юбилейный. Тридцать лет тому назад было положено начало коллекции... Настоятельно прошу, прежде чем мы приступим к осмотру: никаких фотоаппаратов, никаких кинокамер. Просьба не выходить из автобуса без моего приглашения и ни в коем случае не отставать от группы».

Публика расселась по местам, экскурсовод влез в вагончик; обе машины въехали в ворота и несколько минут спустя остановились перед первым экспонатом. Посетители высыпали из автобуса. Все с восхищением смотрели на гида.

Он стоял на аллее. На нём было зелёное одеяние из струящегося шёлка, ниже колен виднелись красные шёлковые шаровары, на голове круглая бархатная шапочка, расшитая серебром, на груди висели длинные смоляные косы, а сзади из-под шапочки до самого низа спускалась полупрозрачная фата.

«Примерно так, — сказал он, — выглядела последняя татарская царица, повелительница Казанского ханства. Мы начнём осмотр коллекции с относительно мало известного экземпляра. Перед вами башня Казанского кремля, с её вершины, как гласит предание, царица бросилась вниз головой. Вы догадываетесь, почему. Чтобы не попасть в руки москвитам, осадившим Казань. Как видите, башня достаточно высокая, чтобы... чтобы гарантированно сломать себе шею».

Возгласы ужаса прервали на минуту рассказ экскурсовода.

«Город Казань существует до сих пор, он находится в весьма отдалённой части бывшей Российской империи. Ханство было завоёвано в пятнадцатом или шестнадцатом веке царём Иоанном Грозным — точное время его правления неизвестно, вообще полумифическая фигура... Нынешние российские власти одержимы националистическими суевериями. Так что пришлось предпринять немалые усилия, чтобы приобрести этот полуварварский шедевр. С момента покупки стоимость башни ещё более возросла».

Крики восхищения покрыли его слова.

«Кстати, о кремлях: вы, вероятно, слышали о самом известном сооружении такого рода: это кремль в Москве, называемый просто Кремль. Из девятнадцати башен этого уникального архитектурного ансамбля в нашем собрании находятся две, в том числе самая знаменитая. Большевистский режим был вынужден мириться с тем, что она была названа в честь Спасителя, но установил на ней вместо древнего византийского орла самую большую красную звезду. К великому сожалению, она разбилась при транспортировке. Мы подъедем к этой башне немного позже, а пока следуйте за мной...»

Машины приблизились к следующему экспонату, на этот раз экскурсовод вылез из вагончика в своём обычном наряде, и публика, которая приготовилась к новому зрелищу, была разочарована.

«Voilà!» — сказал он, выбрасывая ладонь. В отличие от других объектов, это была простая деревянная башня с лестницей, вроде пожарной вышки.

«Возможно, некоторые из вас читали пьесу драматурга Ибсена, теперь он уже забыт, о чём следует пожалеть: весьма замечательный был автор. Пьеса называлась «Строитель Сольнес», речь шла об архитекторе башен. В финале он по каким-то непонятным причинам падает со своего сооружения. Этот Сольнес, дамы и господа, существовал на самом деле, можете полюбоваться: башня перед вами. Она была совершенно заброшена, её собирались сломать. Мы отремонтировали её».

Ответом были крики изумления.

Снова двинулись, и снова остановились. Теперь вожатый предстал перед экскурсантами в весьма эффектном виде: высокая конусообразная шапка и лиловая мантия с золотыми звёздами и знаками планет.

«А вот... Прошу немного отойти, так будет виднее. Сколько лет мы... (Снова это «мы», словно экскурсовод был совладельцем коллекции). Сколько лет мы облизывались на неё, ходили вокруг, как кот около горячей сковороды. Приобрести представлялось совершенно невозможным. И всё-таки, хе-хе, она здесь! (Широк жест). С этой самой башни — вы видите там наверху площадку — знаменитый астролог Галилей следил за движением светил. Его предсказания сбываются до сих пор! Кроме того, — вы видите, что башня наклонилась, это было удобно для опытов... кроме того, он бросал с неё разные вещи, чтобы доказать, что все предметы падают в одном и том же направлении: вниз — и только вниз. Это был великий учёный».

Аплодисменты, общий восторг.

«Хочу обратить ваше внимание, — продолжал экскурсовод, — на одно чрезвычайно важное обстоятельство. Башня, я говорю не только об этой башне, но о башне как таковой, о башнях вообще... — башня — это не просто очень высокое здание, вертикальное сооружение или, как теперь модно говорить, фаллический символ. Символ, знаете ли, можно выдумать какой угодно, а дело в том, что башня заключает в себе глубокую философскую идею. Это идея победы и поражения, триумфа — и краха, восхождения — и падения. Но не таков ли человеческий удел?.. Господа, я уже просил не подходить близко. Она падает много лет, но знаете ли... Бережёного Бог бережёт».

Очередной экспонат, к которому он подвёл нас, плохо вписывался в общий стиль коллекции, да и вид экскурсовода поначалу смутил публику, особенно шокировал дам. Маскарадный гардероб нашего гида сам по себе представлял собой весьма экзотическую коллекцию. Шапка-ушанка подозрительного меха, замызганная, прожжённая, кое-где заплатанная и снова прожжённая ватная телогрейка, вислые стёганные штаны, растоптанные буро-рыжие валенки, — таков был его новый наряд. Он смачно сплюнул и указал на сторожевую вышку.

«Редкостный, уникальный экземпляр, — просипел он, — подлинник... Приобретён в одном из бывших концлагерей на северо-востоке. Мы с вами снова в России, господа...»

Автобус вновь наполнился экскурсантами, медленно ехал по главной аллее. Впереди, указывая дорогу, катил вагончик, голос чревоуещателя в репродукторе клохтал над осоловевшими пассажирами.

«Несколько французских донжонов, то есть угловых крепостных башен. Для полноты коллекции. Среди специалистов ценятся не очень высоко... Бастилия... эту башню с трудом удалось спасти и вывезти... Но я хотел бы обратить ваше внимание вон на то сооружение, которое так выгодно отличается от своих мрачных соседей. Прошу выйти...»

В белой хламиде, без парика и с лавровым венком на голом черепе, с позолоченной картонной лирой в руках, гид явил себя присутствующим на фоне соору-

жения, которому время и традиция придали тусклый блеск старых зубов или плохого мрамора.

«Вы, наверное, думали, что это фантазия, мечта поэтов. Но нет — она существует! Прославленная башня слоновой кости. Внутри на стенах нацарапаны автографы: кто только не квартировал в ней... А теперь это любимая башня, гм... нашего шефа. За неё была заплачена несметная цена».

Он-таки отважился упомянуть об Иване!

Помню наш разговор за стаканом вина, незадолго до праздника. Мы засиделись допоздна. Больше молчали, чем говорили. Курочкин машинально водил пальцем по скатерти. Потом произнёс:

«Мой отец... кажется, я рассказывал тебе. Мой отец считал себя неудачником. Особенно в последние годы жизни — а умер он внезапно, между прочим, в том же возрасте».

«В твоём нынешнем возрасте?»

«Да. Особенно в последние годы, когда отец уже мало занимался делами, он то и дело возвращался к этой теме. Это не было кокетством... Он считал, что не смог себя реализовать. Ему надо было стать — кем, он и сам не знал. Тебе знакомо это чувство?»

«Разочарования?»

«Пожалуй... но не в чём-то конкретном, а вообще... во всей своей жизни, что ли... Не могу точно сформулировать. Одним словом, представь себе, что ты куда-то едешь, в определённое место и с определённой целью. И вот оказывается, что ты сел не в тот поезд. Или нет: всё правильно, поезд тот, который нужен, но города, куда ты едешь, не существует».

«Мне кажется, — сказал я, — ты достиг всего, чего хотел. И даже большего. Вот посмотришь, что будет завтра».

«Ох, как мне не хотелось всего этого!»

«Охотно верю, — возразил я и поднял бокал. — За тебя!»

(Замечу, что как раз в это время он вёл долгие, изнурительные переговоры — попросту говоря, вёл торговлю — с правительством Франции о приобретении Эйфелевой башни).

«Опять-таки не могу тебе объяснить, — продолжал Курочкин, — но надеюсь, что ты меня поймёшь. Не могу передать, с каким тяжёлым чувством я иногда смотрю на всё это!..»

«На этот альбом?»

Это был только что выпущенный к юбилею роскошный альбом цветных фотографий башен из коллекции Курочкина, с текстами известных историков, искусствоведов, писателей.

«Каждая из них что-то значила, была грандиозным символом веры, напоминала о былом величии, о победах, о трагедиях. А теперь? Куда девалось это величие? Теперь они, как жуки на булавках... История превратилась в кунсткамеру, в музейную коллекцию».

Юбилей стал пищей для целой армии репортёров, журналистов и телевизионщиков и, разумеется, породил уйму всевозможных слухов и домыслов. К сожалению, я не мог присутствовать на празднике, обстоятельства вынудили меня уехать из города. Как уже сказано, Курочкин отнёсся без энтузиазма к предложению публично отметить знаменательную дату. В конце концов ему пришлось поступиться своими правилами, преодолеть отвращение к шумихе. Был создан юбилейный комитет, отпечатаны приглашения, ожидалось прибытие именитых лиц. Съехались и знаменитости собирательского мира: филателисты, фалеристы, нумизматы, библиофилы, коллекционеры вин, картин, скульптур и красивых женщин. Кульминационный пункт торжеств — награждение орденом. Крест и

муаровую ленту через плечо должен был повесить на грудь создателю уникальной коллекции министр культуры.

Был чудесный день ранней осени, на площадке перед украшенной флагами цитаделью татарской царицы (башню выбрали благодаря удачному местоположению) были расставлены кресла для почётных гостей, за ними места для публики. Телекамеры, юпитеры, помост для музыкантов, палатка пресс-центра — всё как полагается. Поодаль, в сооружённом по этому случаю павильоне шеф-повар, о котором я уже упоминал — и который в этот день, как говорили, превзошёл себя — с отрядом помощников и официантов приготовился к банкету. Все расселись, всё смолкло, дирижёр поднял палочку. Грянул туш, раздались аплодисменты. Появился Иван Курочкин. Он был скромно одет, выглядел неуверенно, как-то криво поклонился и вошел в раскрытые настежь узорные ворота. Воцарилась тишина, в широких просветах ярусов было видно, как он медленно, держась за перила, поднимался по ступенькам всё выше и выше. Публика молча ждала. Все смотрели вверх. Наконец, он вышел. Он стоял под навесом, изукрашенным разноцветной резьбой, на площадке — может быть, той самой, откуда ханша Сююмбека, если верить легенде, в последний раз озидала свой город, видела полчище врагов, лезущих сквозь брешь в крепостной стене, — стоял рядом со столиком, на котором лежал текст его речи.

Снова раздались хлопки, Курочкин поднял руку. Он подошёл к загородке, в репродукторах послышалось покашливание — юбиляр прочистил горло. «Your excellencies, — сказал он по-английски, и эти слова, произнесённые еле слышным голосом, стократно усиленные, разнеслись над толпой, — ваши превосходительства, друзья... Собравшись по призыванию, по этому наваждению, — добавил он неожиданно, — этому проклятью... Я...»

Весёлое оживление было ответом на эти слова; в толпе засмеялись. «Да, да, конечно... — торопливо добавил Курочкин, — я пошутил. Но в каждой шутке есть доля истины. Я бы хотел напомнить, что в латинском языке понятия проклятого и священного обозначаются одним и тем же словом... Так вот... Что я хотел сказать...»

Может быть, со временем удастся прояснить загадку исчезновения Ивана Курочкина; лично я при всём желании ничего определённого сказать не могу. Мои розыски ни к чему не привели, да и никто, я думаю, не даст ответа. Слишком много толков ходило в эти дни; бульварная печать изощрялась в домыслах и догадках. Сильно подозреваю, что сам Иван приложил руку к этой путанице.

Куда он девался? Кто-то будто бы его видел — случайно опознал в одном значном заведении на Монпарнасе, где некогда собирались русские эмигранты. Кто-то утверждал, что он был убит. Одна из расхожих версий — та, что Курочкин, поручив ликвидацию своего дела доверенным лицам, уехал в Азию. Есть сведения, что он живёт в ламаистском монастыре, в труднодоступной местности к западу от так называемой Красной Гоби в Монголии. Но мне приходилось слышать и нечто совершенно невероятное. Подтвердить информацию не представляется возможным по той простой причине, что это никакая не информация. Это просто фантазия, выдумка. А вернее сказать, легенда.

Мне не верится, что Курочкин, всю свою жизнь посвятивший собиранию памятников, каждый из которых принадлежит эпическому прошлому, окружён сказаниями, оброс мифами, — не верится, что он мог уйти в неизвестность, не сделавшись в свою очередь мифическим персонажем. Позволю себе привести ещё одну версию, на мой взгляд, наиболее правдоподобную.

Окончив свою короткую речь, великий коллекционер спустился к народу. Церемония награждения орденом прошла с надлежащей помпой. Некоторое время Курочкина видели то там, то здесь среди присутствующих. Затем, воспользо-

вавшись тем, что внимание было отвлечено банкетом, он снова оказался на башне Сююмбеки. Те, кто мне об этом рассказывал, якобы своими глазами видели, как он ловко перекинул через решетку свою длинную ногу, затем другую, раскинул руки, точно хотел взлететь, и спрыгнул в пустоту.

ДВА РАССКАЗА

РИТМИКА

Мы собирались в домовом клубе два или три раза в неделю, впрочем, счет дням тогда велся не на недели — пятидневки, шестидневки, теперь кажется, что собирались мы в клубе гораздо чаще — почти каждый день. Тогда была в моде ритмика, детище швейцарца Жак-Далькроза, мечтавшего с помощью системы гимнастических упражнений и физических занятий развивать слух и голос, музыкальное восприятие и музыкальную память, — тогда это очень шло к делу, к идее всеобщности, всенности: все движутся, разводят руками, нагибаются, приседают, все становятся певцами, музыкантами, исполнителями и композиторами, — долой исключительность! — непременно все.

Рядом с ритмикой жил в клубе шумовой оркестр — и мы все оркестранты! — теперь для потомков даже и не «звук пустой», просто ничто; а ведь сколько шума производили эти шумовые оркестры — имени, и то не осталось. Листаю энциклопедии — нет их, умерли, забыты, точно и не было, а ведь были, были, — мысль, что все возможно и доступно всем, тогда энергично в мозгах вращалась. В самом ли деле необходимо иметь какой-то особенный талант, нечто не всем равно данное, чтобы заниматься музыкой? И вот вам шумовой оркестр — барабаны, бубны, никелированные треугольники, на которых даже не слишком битый заяц научался выстукивать ритм, и главный инструмент — мирлитон (так запомнилось мне его имя, а в словарях не найти), красная деревянная трубочка со вделанной в нее пленкой, в трубочку не дули, а тихо гудели мотив, принцип создания музыки тот же, что у гребешка с приложенным к нему листком папиросной бумаги, такие гребешки в составе оркестра тоже были — для тех, кому не достался мирлитон.

Мы собирались в большом прохладном зале, заполненном светом, яростно врывавшимся в помещение и справа и слева сквозь пять пар длинных, горизонтальных, словно положенных набок друг против друга, окон, наш шестиэтажный дом возвышался тогда над приземистыми строениями старинной улицы, за окнами и направо и налево раскинулось небо. Мы сбрасывали верхнюю одежду и оставались в майках-футболках, белых с голубым воротником и манжетами на рукавах, со шнуровкой на груди, в черных сатиновых трусах, и тут из-за кулис, из таинственной служебной комнаты, где в углу стояли свернутые флаги с сияющими копьевидными наконечниками, где на полу стояли три больших бюста — позолоченный, белый и черный, будто отливающий машинным маслом, где полки были заняты красными скатертями, графинами, пионерскими горнами, победными кубками физкультурников, бутафорскими предметами взрослой самодеятельности и куда вход нам был заказан, — оттуда, из волшебной служебной комнаты, появлялась миловидная, всегда ровно приветливая женщина Вера Николаевна — прямой правильный нос, правильные линии мягкого рта, светлые глаза, почти немигающие и холодновато-наивные; светлые волосы, которые для красоты слога можно бы окрестить гречишными, гладко зачесаны и собраны на затылке в большой пучок.

Вера Николаевна появлялась приветливая, яркий румянец — всегда будто только что с мороза, улыбочивая и отчасти даже возбужденная, и вместе с каким-то до самого дна проникавшим ее и распространявшимся вокруг уверенным спокойствием. В нас ее появление тотчас воспламеняло чувство первой неосознанной влюбленности, девочки жались к ее длинным ногам, обнимали их и терлись о них, мальчишки, едва завидев ее, начинали орать, злобно бросаться друг на друга, попросту носиться, вытаращив глаза, от стенки к стенке, рискуя не рассчитать и разбиться в лепешку. Но Вера Николаевна, как бы не замечая ни наших ласк, ни безумства нашего, никаких иных усилий для установления порядка не прилагала, только хлопала несколько раз в ладоши и говорила звучно: «Встать в строй, товарищи, а ну, встать в строй!» И вот мы уже стоим по ранжиру и повторяем вслед за ней упражнения ритмики, которые она даже и не показывает, как бы только намекает с видимостью полной отдачи движению, но на самом-то деле лишь расчетливо точным его обозначением, а в углу бренчит на рояле (не на мирлитоне все же гудят) аккомпаниаторша, толстая, аляповато ярко одетая и ярко раскрашенная дама Мальвина, что само по себе смешно, а после вышедшей как раз в ту пору, жадно читаемой и перечитываемой книжки про Буратино и Золотой Ключик, уже немисливо смешно, и до того как Вера Николаевна возникнет на пороге служебной комнаты, мы крутимся вокруг рояля и распеваем: «Мальвина — душечка, Мальвина — красный помидор!» — это намек на ее толстые крашенные щеки, но она то ли не слышит, то ли не понимает, лишь вяло улыбается, пытаюсь урезонить нас, и басит: «Дети, хотите, я сыграю вам арию Гремина из оперы Чайковского «Евгений Онегин»?..» — где там «Мальвина — душечка!» — но раз, два, три звенят хлопки Веры Николаевны — и мы в строю, стараемся изо всех сил, разводим в стороны ручонки, и нагибаемся, и приседаем, а ну, кто больше — раз и два и три... А впереди самое интересное — недаром, обтягивая картонную форму черной тканью, родители изготавливали мальчишкам каскетки, высокие — кивером — фуражки, недаром сочиняли им из коленкора черные перчатки с крагами до локтей, недаром искали для них лягушачьи очки автомобилистов — «консервы», недаром девочкам шили тесные, уголком над переносицей шапочки из черной материи и ту же материю натягивали на проволочные каркасы, получая раздвоенные птичьи хвостики, — ритмика заканчивалась игрой «Автомобили и ласточки»: мальчишки в каскетках, крагах и больших ветрозащитных очках-«консервах» были шоферы (тогда чаще произносили «шоффер», «шоффера»), мы мчались по залу на наших машинах — руки перед собой, как бы на руле, а стайка девочек-ласточек при нашем приближении перепархивала все дальше и дальше.

Где ты, чудо автомобиля! Вот уже и восьмилетний школьник, зажав в потной ручонке рублевку, ловит утром такси, чтобы не опоздать в свою отдаленную от дома спецшколу с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. Он не поднимет голову, заслышав в небе гул самолета, как я до сих пор поднимаю, не побежит, как мы в детстве бегали, на отстоящий так, казалось, далеко от снятой на лето хибарки-дачи откос, чтобы долго ждать и дожидаться пробегающего внизу поезда и еще издали угадывать тип паровоза, каждый из которых имел еще и особенное прозвище; «Овечка», «Щука», «Сапожок» — иногда я вижу паровозы, проносясь мимо сортировочных и узловых станций; они стоят на запасных путях, полуразвалившиеся, с забытыми досками дверями и окнами, чтобы не пакостили в них случайные прохожие. А автомобиль — «форд» или газик с брезентовым верхом! Забраться в него — величайшее счастье. Отец моего друга детства, врач в ответственной поликлинике, назначенный дежурить на праздники, 7 Ноября или 1 Мая, берет на заднее сиденье нас, мальчуганов, отправляясь по вызовам на дом к важным своим пациентам, — какое украшение великого праздника! Или — счастливые будни: озабоченный комдив, заскочив под вечер домой пообедать, приказывает шоферу («шофферу») прокатить нас по двору, до ворот и обратно,

на открытом «линкольне» с никелированной собачкой, вытянувшейся в стремительном беге на пробке радиатора, — где ты, «линкольн», темно-синий, с кофейно-коричневой кожей подушек, где ты, худощавый комдив, с голубым, без кровинки лицом и рыжеватыми усиками под тонким нависшим носом?..

Но для нас и беготня на своих двоих, лишь бы руки перед собой, как бы сложенные на руле, — радость: мчимся по залу, очертя голову, гудим, тархтим губами: но «Автомобили и ласточки» не конец занятия, конец — это снова строй, и у каждого в руках барабан или бубен, или сверкающий треугольник, или, главное, мирлитон: мы превращались в шумовой оркестр и маршировали, выравнивая дыхание, вокруг зала, гудя и выстукивая «Наш паровоз, вперед лети», а потом «Турецкий марш» Моцарта.

В клубе, как водилось, был красный уголок — в точном значении слова, ныне утраченном: не комната с телевизором у стены, газетами и журналами на длинном столе посредине, а именно красный угол — угол, где некогда полагалось бы висеть иконам, теперь же на алом кумачовом полотнище, натянутом в деревянной багетовой рамке, здесь приклеены были портреты вождей — полтора-два десятка глянцевого черно-белых открыток-фотографий усатых по большей части (хотя и с бородками попадались, и вовсе с гладкими лицами) людей в гимнастерках, френчах, пиджаках поверх сорочек или косовороток, имена их были на слуху, и мы, дети, каждого знали в лицо — вожди!..

Но вот что-то происходить стало с нашими вождями, имена, величественные и незыблемые, стали произноситься осудительно, а чаще вовсе не произноситься, школьная учительница командовала заклеить в учебнике портрет на странице такой-то, зачеркнуть фамилию, да чтоб не видно было, помойки по утрам заполнены были книгами, открытками, картинками с теми же портретами, и наша Вера Николаевна время от времени в конце занятий, когда «Турецкий марш» был уже исполнен, оставляла нас стоять в молчаливом, всеми детскими потрохами чувствующем ответственность момента строю, сама же, твердо ступая длинными ногами, направлялась к полотнищу красного уголка, сдирала одну из открыток-фотографий и возвращалась к нам, и когда она снова оказывалась перед строем, в руке у нее была сковородка на длинной деревянной ручке и коробок спичек. Стараясь придать более жесткости линии рта, она, не показывая нам лица фотографии, комкала ее, бросала на сковородку, чиркала спичкой и минуту-другую стояла перед строем, держа в вытянутой вперед руке сковородку, над которой поднимался синеватый дымок. «Все, товарищи, — говорила она. — Разойдись!» И мы расходились, понуро (в течение тех нескольких минут, пока детская радость непрерывного постижения жизни не возобладаст в нас) и не ластясь к ней. На красном полотнище в углу оставалась прямоугольная белая каемка засохшего клея, а когда мы шумно сбегали вниз по лестнице с шестого — клубного — этажа, навстречу нам взбирались наши родители: тогда повсеместно шло всеобщее обучение западным танцам, и те, кому завтра предстояло превратиться в пустую каемочку без имени и лица, старательно учились выделять ногами па фокстрота, румбы и вальса-бостона «Монтерей» и «Под крышами Парижа».

КОМДИВ

Комдив, как говорилось, был худощав, лицом бледен, под тонким нависшим носом щетинились узкие рыжеватые усики. Наверно, в гражданскую он мчался впереди всех на взмыленном вороном коне (верхом я комдива никогда не видел, но, слушая рассказы его сына Бори, похожие на сцены из кинофильмов, которые мы жадно, не насыщаясь, смотрели бесчисленно раз, я почему-то был убежден, что конь у нашего комдива не белый, не гнедой и не какой еще, а непременно воро-

ной), наверно, в гражданскую комдив мчался впереди всех на своем вороном коне, кричал «За революцию!» или еще что-то, что переполняло его, того более, составляло само его существо и рвалось наружу, чтобы принадлежать всем, всех увлечь, стать существом всех мчащихся следом людей, — «За революцию!», наверно, кричал комдив и, ворвавшись во вражеские цепи, приподнимался на стремменах, изгибал, как бы зависая в воздухе, свое узкое, легкое тело, взмахивал сверкающей шашкой и на полном скаку наносил быстрый с оттяжкой удар. Когда комдив поселился в нашем дворе, он ездил на «линкольне», великолепном темно-синем «линкольне», с откидывающимся брезентовым верхом и никелированной собачкой, вытянувшейся в стремительном беге на пробке радиатора.

Нам не случалось наблюдать, как комдив уезжает на работу или возвращается с работы домой, но под вечер «линкольн» обыкновенно привозил его обедать — в эти-то полчаса-час комдивов шофер, которого сам комдив, а за ним остальные, и мы, ребята со двора тоже, звали «Егорыч», в эти-то полчаса Егорыч по распоряжению (или, может быть, по разрешению) комдива катал нас, детвору, на машине...

Прежде чем вылезти из машины, комдив, бывало, чуть наклонится к Егорычу, почти не разжимая тонких, серых губ, выпустит неслышное нам короткое словцо, — «Велел!» — с замиранием сердца угадываем мы (сбившись в кучку, мы нетерпеливо топчемся напротив подъезда у песочницы для малышей, ждем заветного слова), комдив быстрым шагом уходит в гулкую темноту подъезда. Егорыч еще минуту, которая кажется нам нестерпимо долгой, вечностью кажется, томит нас неподвижностью и молчанием, наконец кивает головой: «Налетай!» — мы, отталкивая один другого, наперегонки бросаемся к автомобилю. Ноги оботрите как следует), — ворчливо приказывает Егорыч — где там! Шаркаем для виду подошвами по асфальту, торопясь втиснуться поскорее в мягкое, обтянутое кофейно-коричневой кожей блаженство: автомобиль плавно трогает с места, проезжает сотню метров по нашему двору, заставленному серыми коробками жилых корпусов, разворачивается и движется обратно к комдивову подъезду. Но иногда Егорыч, по собственной ли охоте или с благословения начальства, позволяет себе вольность: мы выезжаем из ворот, сворачиваем направо, неспешно плывем по улице, вдоль тротуара (и какая радость, если по тротуару идут в это время навстречу ребята с соседнего — враждебного — двора: «Ааа! — орем мы, потеряв разум. — Ээй! Дураки!»); Егорыч слегка поворачивает к нам голову и говорит хриплым, прокуренным голосом: «Щас высажу!"). Автомобиль снова берет направо, в переулок, и почти тотчас еще раз — мы объезжаем по прямоугольнику наш огромный двор, захвативший почти полквартала, теперь мы следуем по «задней» улице, мимо корпуса, где живет комдив. Здесь, на этой улице, всего интересней баня, если из нее возвращаются в недалёкие Покровские казармы красноармейцы: они шагают колонной, у них красные после парилки лица, на голове темно-зеленые суконные шлемы, похожие на богатырские, шинели с красными уголками петлиц на воротах туго перепоясаны ремнями, в руке у каждого белеет узелок с бельем. «Принять вправо!» — зычно приказывает командир (улочка узкая), колонна жмет к тротуару, пропуская нашу машину, мы видим, как красноармейцы с восторженным изумлением рассматривают красавца «линкольн» — вряд ли многим из них случалось кататься на легковом автомобиле, а на таком, на «линкольне» с никелированной собачкой на радиаторе, поспорить можно, никому не случалось, и мы, особенно если погода хорошая и верх откинут, напустив на себя равнодушный вид (нам, дескать, не привыкать), прищурясь, напряженно смотрим вперед, точно что-то выискиваем взглядом там, впереди, однако краем глаза успеваем схватить изумление и восторг красноармейцев, отчего наше торжество особенно полно и гордость уже совершенно распирает нас...

Надо сказать, что Егорыч пускал нас только на заднее сиденье, место возле него, на котором всегда ездил сам комдив, оставалось свободным, лишь Боре, если он отправлялся вместе с нами, разрешалось занимать его, и — тогда Боря, сидевший рядом с шофером и напряженно смотревший вдаль, становился главным действующим лицом прогулки, мы же, остальные, семь-восемь человек, кое-как теснящиеся на заднем диване, вдруг начинали ощущать неловкость, какую не испытывали, ходя пешком, вдруг становилось ясно, что эта автомобильная прогулка не более как оказанная нам милость и что все встречные понимают это, от этого делалось стыдно, и мы торопили время, всей душой желая поскорее оказаться опять у себя во дворе, и с неприязнью поглядывали на узкую, как у отца, Борину спину, так некстати оказавшуюся рядом с могучей спиной Егорыча, обтянутой истертой добела черной кожанкой, которую он не снимал ни зимой, ни летом. Боря, впрочем, редко садился с нами в машину: его укачивало; он рассказывал, что когда летом Егорыч везет его на дачу, то по дороге два-три раза останавливается — так сильно Боря тошнит; нам было такое не понять!..

Очертив квартал, мы наконец добирались до того места, откуда отправились в путь, до подъезда № 9 третьего корпуса — здесь на четвертом этаже недавно поселились комдивы; все наше путешествие длилось от силы десять минут, но нам оно казалось необыкновенно долгим и далеким, да и теперь, когда я вспоминаю о нем, кажется мне таким, — может быть, оттого, что все впечатления на пути, и прежде всего сама езда на комдивовском «линкольне», все было ново, требовало для себя пространства. Даже в нынешних моих воспоминаниях является мне не улица «вообще», какой сделалась она для меня за истекшие с тех пор полвека, а выпирает навстречу каждым домом в отдельности со всеми его приметам, каждой подворотней и подъездом, каждой витриной и вывеской, чуть ли не каждым пешеходом, что попадался нам тогда, полвека назад, и на мгновение замирал, будто схваченный сработавшим зрачком фотоаппарата, при виде темно-синего плывущего вдоль тротуара чуда с никелированной собачкой на радиаторе...

«Шагом марш, не задерживайся!» — командовал Егорыч своим хриплым голосом, он уже вышел из машины и нажатием сверкающей изогнутой ручки отворил нам дверцу. «Шустрей, шустрей!» — прикрикивал он, не повышая голоса и не изменяясь в лице, — лицо у него было круглое и плоское, как у каменной скифской скульптуры, как у нее степными ветрами, изъеденное оспой, впрочем, может быть, и теми же степными ветрами — тоже. Егорыч был вместе с комдивом на гражданской, на одной руке у него не хватало двух пальцев, и лоб был приперчен черно-зелеными пороховыми крапинами; Боря рассказывал, что это от взрыва гранаты, которую Егорыч подхватил у самых ног комдива и отбросил в сторону... «Шустрей!» — командовал Егорыч, и мы нехотя, один за другим, наступив на металлическую с вафельным узором подножку, соскакивали на землю — земля покачивалась под нами, мы чувствовали себя матросами, ступившими на берег после кругосветного плавания. Егорыч маленьким веником выметал из кабины пыль и песок, облетевшие с наших башмаков, с тряпкой в руке обходил автомобиль во круг, придиричиво его оглядывал, тщательно стирал всякое пятнышко, иногда предвзвешенно плюнув на темно-синюю блестящую поверхность борта; закончив обход, он усаживался на свое место, клал руки на руль и, глядя перед собой, сидел неподвижно в ожидании, пока выйдет комдив.

Наверно, на полях гражданской комдив, лихой и стремительный, мчался на вороном скакуне, крутил в воздухе сверкающей стальной полосой шашки и рубил ею наотмашь, — я видел его совсем другого: всегда озабоченного — он шел от подъезда к машине, озабоченно опустив голову, напряженно думая о чем-то неотступном, узкая его спина озабоченно сутулилась, даже походка у него была озабоченная — поспешающая, точно он постоянно куда-то опаздывал, он шел нешироким легким шагом и ноги ставил как-то убористо, попадая одной в след

другой. Он носил длинную, командирскую, ладно пригнанную шинель, в петлицах красовались два ромба, и эти его ромбы были НАШИМИ ромбами, предметом всеобщей нашей ребячьей гордости. «А у нас во дворе комдив живет — два ромба!» — хвастались мы в классе, и было чем хвастаться; не у каждого во дворе есть свой герой гражданской, и не каждый имеет счастливую возможность ежедневно, если захочет, созерцать два ромба на чьих-то петлицах. «Врешь!» — иной раз скажет незадачливый собеседник, но и по лицу его, и по тому, как произносит он свое «врешь», сразу видно: знает, и прекрасно знает, что ты не врешь, просто не хочет признать поражения; у него, у одноклассника, в доме обитает, правда, военный летчик, но до нашего комдива, до его (до наших!) ромбов летчику далеко.

Особенно любили мы, когда в теплые дни комдив появлялся из подъезда без шинели, в гимнастерке — тогда мало что ромбы в петлицах, мы видели слева, над нагрудным карманом, привинченные два ордена: один — знакомый нам орден боевого Красного Знамени, другой — необычный, вытянутый овалом, — две скрещенные сабли, маленький алый флаг и золотая вязь непонятных букв; по Бориным словам, это был орден Красного Знамени Хорезмской республики, где комдив храбро сражался с басмачами. Орден в ту пору был редкостью, человека с орденом на груди повсюду окружали почетом, на улице ему смотрели вслед, в газетах писали: «колхозник-орденоносец», «летчик-орденоносец», «писатель-орденоносец», тем самым выделяя этих людей из массы просто колхозников, летчиков, писателей; в титрах фильмов ставилось: «артист-орденоносец», — и это было, конечно, совсем не то, что вообще артист. Наш комдив был не только комдив, но еще и «дважды орденоносец» (так тоже тогда писали).

Комдив садился в автомобиль рядом с Егорычем, едва разжимая серые губы, приказывал: «Поехали». Егорыч за козырек пониже натягивал на лоб кожаную фуражку, трогал рычаги, и машина бесшумно и плавно исчезала, оставив после себя медленно тающее в воздухе кольцо сизого дыма.

Боря, сын комдива, был мальчик хилый; он не сторонился наших игр, но, когда мы играли, как-то само собой оказывался в стороне: в прятки его тотчас находили; в казаки-разбойники ловили первого; если мы делились на команды, чтобы погонять на дворовой площадке футбольный мяч, его брали обычно в более сильную команду и ставили в ворота — считалось, что в сильной команде, которая будет нападать, он, стоя в воротах, принесет меньше вреда, а пользы от него не ждали, — но и в воротах, между двумя деревцами с побеленными стволами, Боря держался недолго. После первого забитого гола кто-нибудь из ребят говорил: «Ладно, поди посиди», — и он, ничуть не обижаясь, даже как будто радуясь, что не сам вышел из игры, а был выдворен помимо воли, вприпрыжку отбегал в сторону, усаживался на какое-нибудь бревно или ящик и с очевидным интересом и удовольствием наблюдал, как развиваются события на футбольном поле.

Он смешно бегал — как козленок, припрыгивал, подскакивал на ходу на своих длинных, тонких ногах с выпирающими коленями; когда мы, преследуемые дворником Афанасием и теснимые в битве с ребятами с соседнего двора, оказывались вынуждены спасаться бегством, Боря всегда оставался далеко позади — подпрыгивал, подскакивал, бессмысленно, не в лад бегу, размахивал руками, — впрочем, ни дворник, ни соседские ребята его не трогали, просто как бы не замечали. Мы относились к Боре ровно и доброжелательно, не потому только, что наше к нему отношение замешивалось на почтительном восхищении его отцом, хотя, конечно, не обходилось и без этого: Боря отличался необыкновенным миролюбием, никогда ни с кем не спорил, без всякого душевного усилия, с удивительной непринужденностью выполнял все, что от него требовали другие ребята, и всегда пытался делать то, что делают остальные, — правда, старания его редко увенчивались успехом: очень уж он был слаб и, я бы сказал, как-то физически несообразителен.

Лишь иногда, считано раз, точно какая-то пружинка в нем распрямлялась: он вдруг бледнел, топал ногой и сердито выкрикивал грубое слово — не ту брань, в которой все мы были сызмала изоштрены, что-нибудь совсем наивное, «дурака» какого-нибудь или «черта», но в его неизменно вежливой речи и это звучало как удар, или, так же внезапно побледнев, хватал камень и что было силенок в тощих его руках швырял в обидчика, или бросался на него врукопашную и, яростно размахивая кулаками, пока не поистратит пыл, колотил воздух — в драку с ним не вступали, разве что оттолкнут легонько в сторону. В подобных случаях наш дворовый заводила Витька, по прозвищу Петух, а потому именовавшийся и в нашем и в окрестных дворах Петькой, мелкий ростом, но дерзко и отчаянно смелый (он потом утонул, переплывая на спор Москву-реку), Витька-Петька этот в подобных случаях вдруг охватывавшей Бору ярости неизменно с интересом его рассматривал, будто только что увидел впервые, и, утерев ладонью маленький, как пуговица, постоянно мокрый нос, изрекал приговор: «Он, Борька, вообще-то смелый, только руки жидкие». Здесь Витька-Петька подражал дворнику Афанасию: когда кто-нибудь из нас брался помогать ему мести двор или кидать деревянной лопатой снег в снеготаялку, высокий железный ящик на салазках, под которым разводили костер, Афанасий, мужчина огромной силы и неутомимого трудолюбия, сердито басил, подстегивая не поспевавшего за ним помощника: «У тебя что — руки жидкие?..»

Борину мать во дворе называли «персиянкой» — смугло-желтая, черные, резко очерченные полукружия бровей, прямые черные волосы, гладко причесанные и скрученные на затылке в большой тугой узел. У Бори волосы были не черные — темно-каштановые, подстриженные «под челку», «под пчелку», как выражался молодой красивый парикмахер Алеша, орудовавший в крошечной — одно кресло — парикмахерской на углу переулка, наискосок от наших ворот; этот Алеша, наружностью точь-в-точь великий наш поэт, как изображен он на известной гравюре «Пушкин в юности», не затрудняясь творческими поисками, стриг под эту самую «пчелку» все ребячье население нашего двора и всех близлежащих домов. При темных волосах и смуглости кожи Борины глаза поражали голубизной, от этой темноты волос и смуглости особенно яркой, — когда однажды, садясь в автомобиль, комдив, не поднимая озабоченно опущенной головы, вдруг взглянул на нас, сразу ясно стало, откуда у Бори эта голубизна: сияющие, прозрачно-голубые глаза комдива вместе со взглядом прямо-таки выплеснулись из-под век.

Во дворе комдив ни с кем не разговаривал, да и когда ему было разговаривать — глядя под ноги, сутуля узкую спину, он поспешающим шагом быстро проходил от машины к подъезду и через полчаса-час точно так же от подъезда к машине; в другое время его и не видели. Он и с нами никогда не вступал в беседу: приотворив переднюю дверцу и нащупывая ногой в длинном тонком сапоге металлическую вафельную ступеньку, что-то коротко говорил Егорычу, а уж тот, выждав невыносимо долгую минуту, за козырек потуже натягивал на лоб кожаную фуражку, поворачивал к нам плоское, рябое лицо и командовал хрипло: «Налетай!»

Напротив подъезда, где жил комдив, как было упомянуто, расположилась песочница, в ней день-деньской копошились малыши под присмотром бабушек и нянек, молодых и старых. Среди нянек находилась и Клавдия, или попросту, по-дворовому, Клавка, юная особа с такими пышными формами, втиснутыми в узкое платье с хозяйкиного плеча, что даже мы, ребята, не проходили мимо нее равнодушно и обменивались между собой шуточками, подслушанными у взрослых парней. Неизменные внимание и успех, сопровождавшие Клавку на жизненном пути, сделали ее невоздержанной на язык и решительной в поступках. Однажды под вечер она сидела, лениво развась, на могучей садовой скамье (выкрашенные в зеленый цвет трехдюймовые доски на тяжелом чугунном основании) и делилась планами будущей, исполненной всяческого благополучия жизни с бабой Машей, маленькой

старушкой, главной дворовой сплетницей, обитавшей на первом этаже в том же подъезде, где и наш комдив; между тем ребенок, порученный Клавкиному уходу, ползал у ее ног и возводил грандиозное здание из влажного оранжевого песка, только нынешним утром завезенного дворником Афанасием. Свою лопатку ребенок в порыве увлечения отбросил далеко в сторону, Клавка заметила непорядок, но очень уж не хотелось ей поднимать с приземистой, удобной скамьи свое большое тело; тут на беду из подъезда появился Боря, и девица, привыкшая к беспрекословному повиновению особ противоположного пола, громко ему сказала: «Эй, барчук, подай лопату!» Возможно, она произнесла это без злого умысла, но слово было сказано — Боря вдруг побледнел, взвизгнул, подпрыгивая, подбежал к песочнице и принялся истоптанно топтать ногами постройку, над которой старался доверенный Клавке ребенок. Ребенок протяжно заголосил. Клавдия рассердилась, сползла со скамьи, шагнула к Боре и, нимало не задумываясь, с размаху влепила ему звонкую пощечину. Мы и сообразить-то ничего не успели, потому что именно в это мгновение рядом с нами оказался темно-синий «линкольн», передняя его дверца стремительно распахнулась, комдив выскочил из машины, плечи его распрямились, в бешеных глазах металась голубизна. «Не смей!» — кричал он; не зная, громко кричал или не очень, это был какой-то особенный крик, точно снаряд просвистел над головой и взорвался неподалеку, и вокруг вдруг возникла звенящая пустота. Я почувствовал, как колени у меня сделались ватные, а комдив еще раз кричал: «Не смей!», — и новый снаряд пронесся над нашими головами; комдив схватил сына за руку, дернул его так, что Боря едва не упал, и, таща его за собой, шагнул к подъезду. Дверь хлопнула, и, наверно, лишь минуту спустя в повисшей над двором звенящей тишине тонко завывала Клавдия.

Дома у комдива никто из нас не бывал, и все-таки мне довелось однажды: Боря болел и, высунувшись на балкон, попросил меня занести ему какую-то книжку. Я в момент через ступеньку одолел четыре этажа и остановился перед дверью, мне знакомой, — вместо электрического звонка в нее был вделан кем-то из прежних, давно сменившихся хозяев квартиры старинный бронзовый кружок с ключиком посередине и резной надписью по кругу: «Прошу крутить» — вы крутили ключик, и он, цепляясь за какие-то зубчики или пластинки, издавал мелодичный стрекочущий звук.

До недавних пор, когда в квартире поселился комдив, здесь ненадолго обособилось семейство немецкого специалиста, эти специалисты («спецы») были приглашены к нам, чтобы помочь наладить разрушенное хозяйство; «спец» привез с собой жену и сына, вихрастого белокурого мальчика в очках на веснушчатом носу; мальчик ходил в клетчатой рубаше и брюках-гольф на манжетах, застегнутых под коленями. Мальчика звали Григо. Впрочем, может быть, это была его фамилия, но в первый же день по приезде он выбежал во двор и стал радостно знакомиться со всеми: «Здравствуй, — говорил он, — гутен таг!» — тыкал себя пальцем в грудь и представлялся: «Григо», — имя к нему и прицепилось. Григо был на редкость смешной парень, особенно веселило нас, что, кроме Ленина и Сталина, он никого из наших не знал в лицо, да и не слышал почти ни о ком, — страница за страницей он, морща веснушчатый нос, чтобы поправить сползавшие очки, рассматривал наши школьные учебники, долго вглядывался во всякий портрет, потом поднимал глаза от книги и, кто бы ни был там изображен, Пушкин или Шота Руставели, герой революции или один из вождей, непременно спрашивал: «Хороший человек?» — «Хороший! Хороший!» — дружно орали мы, хохоча во все горло. Скоро Григо уехал из нашего дома, то ли нам услуги «спецов» больше не понадобились, то ли свои их отозвали обратно, и они возвратились в Германию. (Где ты, радостный мальчик Григо? Жив ли? Не выпала ли тебе участь в сорок первом снова отправиться в Москву, и не на этом ли пути нашел ты последнее пристанище?..)

Я покрутил ключик, мне открыла дверь Борина мама; дома она не была похожа на персиянку, несмотря на черные волосы и смуглое лицо: на ней были очки, обыкновенные очки, в проволочной оправе, как тогда носили; эти очки ужасно меня удивили — так они не шли к ней, она, видимо, и сама знала это, — пропуская меня в прихожую, сразу их сняла и сунула в карман белой вязаной кофты.

«А я тетради проверяю, я ведь училка, преподаю немецкий язык, только не детям, а взрослым, в военной академии, красных командиров учу немецкому языку...» Она говорила быстро, частила словами, это было неожиданно, как очки: по двору она всегда проходила молча, ни с кем не останавливаясь и не заговаривая, отчужденно и недоступно.

«Ну, прежде всего, здравствуй. Как тебя зовут? А меня Лидия Прокофьевна. А я терпеть не могу кофе. Пью только чай, с утра до вечера. Борька называет меня Лидия Прочаевна». — Я понял, что это у них такая шутка, что это она меня смешит, но не засмеялся. Огорошенный ее торопливой речью, я растерянно стоял перед ней и протягивал принесенную для Бори книгу. «Ну что ж ты, проходи вон туда, к Борьке, я его в постель загнала, совсем простужен и все норовит на балкон. Ну, что ж ты стоишь? Он тебя ждет. А я пока чай поставлю. Будем чай пить». Тут, на мое счастье, появился Боря в серой домашней фланелевой курточке, в трусах, в валенках на босу ногу, хотя на дворе стоял теплый сентябрь; шея у Бори была замотана синим шерстяным шарфом. Боря взял меня за руку и повел к себе.

Квартира комдива поразила меня пустотой. Быт наш в ту пору был убог и труден, и именно поэтому перегружен вещами. Всякая вещь казалась необходимой, оттого что доставалась тяжело — негде было достать и не по карману, всякая вещь служила долго и после долго береглась в расчете на то, что, глядишь, еще послужит — можно будет ее починить, переиначить, приспособить к чему-то. Наши шкафы, буфеты, комоды, кладовки, сундуки, шкатулки наполнились старой одеждой, сношенной обувью, ломаной мебелью, битой посудой, бутылками и флаконами, картонными и жестяными коробками из-под разного товара и прочей вроде бы уже непригодной в обиходе, но на всякий случай отложенной про запас утварью — иной раз роешься без спросу в старинном бабушкином комоде, темным утесом занявшем половину прихожей, и в каком-нибудь ящике, куда припрятаны дамская сумочка со сломанным замком и оторванной ручкой, прохуdivшиеся на пальцах перчатки, связка ключей от уже несуществующих замков, вдруг счастливая находка — часы-ходики, лет десять как переставшие отмерять непрерывное течение времени; выковыряешь из недвижимого механизма одно-другое золотистое зубчатое колесико — и правда, великая ценность: ребята во дворе голову потеряют от зависти.

Быт наш в ту пору был стеснен, заставлен вещами, квартира же комдива гляделась нежилой, свет лился в окна и, не спотыкаясь о мебель, ровно растекался по комнатам, ясно озарял почти ничем не заставленные, от пола до потолка открытые взгляду и от этого казавшиеся очень высокими стены, пространство пола широко раскинулось под ногами, и я вдруг впервые заметил красоту светлого дубового паркета, — такой же был и у нас, но поди разгляди его, пробираясь боком между столом, кроватью и буфетом.

У комдива мебели почти не было: в Бориной комнате узкий кожаный диван, легкая этажерка — наверху книжные полки, внизу — закрытые, вроде маленького шкафчика с дверцей; в столовой застеленный клеенкой квадратный стол, на нем с одного края высилась стопка тетрадей, стояла белая фарфоровая чернильница-непроливайка, лежали ручка и красный карандаш: Лидия Прокофьевна-Прочаевна (а ведь и в самом деле смешно, я не сразу понял, как смешно, — молодец Боря!) — Лидия Прочаевна проверяла здесь работы своих учеников, красных командиров; в углу застеленный красным восточным ковром матрас на деревянных ножках, из-под которого высовывался огромный чемодан с ремнями и пряжками.

«Ну, вот и чай! — Лидия Прокофьевна принесла из кухни белый жестяной чайник: на ней снова были очки в проволочной оправе, которые так не шли к ее красивому смуглому лицу, но она, видно, забыла про них и уже не замечала, — Борька, усаживай гостя, я сейчас чашки поставлю, печенье сегодня хорошее достала, в кондитерской, знаешь, на углу, где парикмахерская...» Я хорошо знал эту кондитерскую, мама иногда давала мне немного мелочи, и я отправлялся туда покупать крошки — эти крошки оставались в плоских ящиках из-под пирожных, когда пирожные бывали проданы, — ими торговали на вес, особенно ценились крошки от наполеона — сладкие, тающие во рту чешуйки, пересыпанные сахарной пудрой.

— А, — засмеялась Лидия Прокофьевна, когда я сказал про крошки, — губа не дура, язык не лопатка, знает, где сладко. Но мне тоже повезло — смотри — из бумажного пакета она вытряхнула в стеклянную мисочку печенье, круглое, похожее на большие ромашки с белой и розовой глазированной сердцевинкой.

— Ты, Борька, хоть бы развлек гостя, ну что ж ты такой неумеха, — зачатила Лидия Прокофьевна, когда чай был выпит, а печенье съедено. — Ну, покажи ему наши фотографии, такие хорошие фотографии, особенно на Дальнем Востоке. Ты не был на Дальнем Востоке? Как мы там хорошо жили, как весело, правда, Борька? Я так не хотела уезжать оттуда...

Я удивился: на Дальнем Востоке я не бывал и, как всякий мальчик, конечно, мечтал о путешествиях, о неведомых краях, но при этом был уже уверен, что все люди на свете в конечном итоге хотят приехать в Москву и поселиться в ней. Боря принес альбом, мы уселись на застеленный красным с узорами ковром матрас и начали его рассматривать.

Ах, что это были за фотографии! У нас дома тоже имелся альбом, вечерами я любил его перелистывать. «Мама, кто это?» — «Это бывший папин директор, он теперь в Воронеже. А это мой приятель, еще по Харькову, когда я училась на женских курсах...» Папины и мамины знакомые, сослуживцы, родственники... Вот папа у себя в больнице — человек восемь мужчин и женщин в белых халатах сидят перед витриной с муляжами и диаграммами. Вот мы с мамой и бабушкой на даче — устроились на завалинке низкого ветхого домика, который снимали летом. А вот снова мы же, только в палисаднике, у куста цветущей сирени, мы с бабушкой целиком, а мама без головы, голову она вырезала, когда понадобилась фотокарточка для сезонного билета. Только теперь, держа на коленях Борин альбом, я осознал, какими пустячными, какими обыкновенными снимками был заполнен наш. У нас мужчины в скучных пиджаках, рубашках с галстуками, вышитых сорочках, в серых косоворотках, выглядывающих из-под пиджака, — у Бори сплошь гимнастерки и шинели, остроконечные шлемы и фуражки со звездой, сапоги со шпорами, сабли в ножнах, маузеры в деревянной кобуре. Едва не на каждой странице я останавливался, чтобы перевести дух: да ведь это Щаденко, один из главных командиров Первой Конной, — мне лицо его знакомо по портретам. А это Ока Городовиков, тоже герой-кавалерист, маленький, с раскосым калмыцким лицом и огромными, больше чем у самого Буденного, усами; однажды наш класс водили в Детский театр, и там на спектакле присутствовал Городовиков, в антрактах мы и в буфет не бегали пить лимонад, крутились вокруг него в фойе, чтобы увидеть его ордена, его ромбы — по четыре в каждой петлице! Но в Бороном альбоме — потому и дух захватывало — Ока Городовиков из недосягаемого, легендарного героя превратился почти в моего знакомого: вот он, Ока Иванович, держит под уздцы коня, а рядом, тоже с конем на поводу (конь, похоже, правда вороной — на любительском снимке не поймешь) стоит наш комдив.

«А это кто?» — спросил я: на фотографии был запечатлен Боря в белой рубашке с большим командирским биноклем на груди, по одну сторону от него стоял отец, а по другую — кто-то удивительно знакомый, — я не мог вспомнить, — с тремя

ромбами и тремя орденами Красного Знамени. «Это кто?» — спросил я, заранее замирая от имени, которое сейчас услышу. Боря, кажется, собрался ответить, но в эту минуту Лидия Прокофьевна приблизилась к нам и, положив руку на плечо Боре, склонилась над альбомом. «Кто это?» — переспросил я нетерпеливо и вдруг ясно увидел, как тонкие желтоватые пальцы Лидии Прокофьевны крепко — я почувствовал, что до боли крепко, — сдавили Борино плечо. Боря побледнел и отвечал: «Не знаю».

Я просидел в гостях, наверно, около часа, когда в прихожей металлически загремел звонок. Лидия Прокофьевна сдернула очки и побежала открывать: комдив приехал обедать. Я понял, что мне пора восвояси, но Боре скучно было одному, он не хотел меня отпускать и потащил к себе играть в шахматы. Прежде чем отправиться обратно на службу, комдив появился в дверях Бориной комнаты, с порога, остро прищурясь, кинул взгляд на доску — Борино положение было безнадежно. «Дружишь с Борисом? — обратился он ко мне, никак меня не называя и не спрашивая моего имени, — он парень хороший. Слабый только. Болеет. Это от климата. То Средняя Азия, то Кавказ. То Дальний Восток». Голос у комдива был жесткий, почти без оттенков, слова он произносил коротко, четко останавливаясь на знаках препинания. «Ты ночью мне звони, каждые два часа звони, я все равно не сплю, я волноваться буду», — из прихожей говорила ему в спину Лидия Прокофьевна. «Ночью надо спать», — комдив едва заметно улыбнулся тонкими серыми губами и весело подмигнул нам с Борей, обжигая меня голубизной глаз. Он небрежно взял под козырек и вышел, притворив за собой дверь Бориной комнаты...

Сначала исчез Егорыч. Однажды вместо него мы увидели за рулем «линкольна» долговязого рыжего парня в сером плаще — на груди аккуратно заправленное под отвороты белое шелковое кашне. Парень делал вид, что читает газету, на самом же деле, развернув ее перед собой, не отрываясь, косился на Клавдию, расположившуюся на любимой скамье против комдивова подъезда и, конечно же, привлекающую внимание новичка своими неотразимыми формами. Клавдия тотчас это заметила и ради кокетства раскрыла над головой черный хозяйский зонтик, хотя дождя не намечалось. «Дядь, прокатишь?» — подступился к незнакомцу наш заводила Витька-Петух, чаще именуемый Петькой. «А по уху не хочешь?» — неласково отозвался новый шофер. Витька-Петька отодвинулся на несколько шагов от машины, провел ладонью по мокрому носу и крикнул: «Рыжий-красный — цвет опасный! Клавка, с рыжим дружбу не води, в лес поманит — не ходи!..» Рыжий, сердито комкая, отложил газету: «А ну уматывай!..» — он гадко выругался, несмотря на пижонский вид. Витька-Петька тоже рассердился: «Заткнись, а то кирпичом!..» — заорал он во все горло и бросился на задний двор; бегал он так быстро, что рыжий, если бы и захотел, даже на «линкольне» не догнал.

Так закончились наши путешествия на машине комдива — зато по-прежнему ежедневно, цокая подковами по асфальту, появлялась во дворе серая спокойная лошадка, запряженная в плоскую телегу-платформу на надувных автомобильных колесах: лошадка привозила товары в домовую лавку, размещенную в полуподвале одного из корпусов. Пока возчик перетаскивал вниз коробки и ящики, мы успевали сбегать домой за ломтем хлеба, а кто изловчился, и за куском сахара — лошадка вежливо брала с ладони еду, губы у нее были мягкие, с редкими длинными волосками. Возчиков было двое. Один, старый, с бородой, на возвратном пути брал нас в телегу и вез до ворот; другой, помоложе, без бороды, нипочем не разрешал к себе садиться, когда же мы догоняли телегу и на ходу пытались взобраться в нее, сердито взмахивал кнутом, щелкал им и всячески делал вид, что сейчас огреет; мы бежали следом до ворот, то цепляясь за край телеги и повисая на ней, то соскакивая на землю и отбегая в сторону...

Прошло еще две или три недели — исчез и «линкольн»: не приехал вовсе. На-завтра я вернулся из школы, Витька-Петька заговорщицки поманил меня на задний двор, мы втиснулись в узкую потаенную щель между дворничьим сараем и похожей на огромную полукруглую печь каменной помойкой, здесь, в сумрачной, пропитанной запахами отбросов теснине, специально предназначенной для сообщения важнейших секретных сведений, Витька-Петька объявил мне, что комдив наш — нет, уже не наш! — враг народа и арестован. «Что ты, Петька! — заспорил я, хоть и не сомневался, что он говорит правду: враги были повсюду. — Я у них сам видел. Он с Щаденко. С Городовиковым...» — «Прикидывался! — убежденно сказал Витька-Петька и хлопнул маленьким, как пуговица, носом, — все они прикидываются...»

Под вечер Боря вышел из подъезда с помойным ведром и, ни на кого не глядя, направился на задний двор. «А ну, иди сюда!» — подозвала его Клавдия, восседавшая на своей скамье, когда он возвращался обратно. Боря побледнел, поставил ведро на землю и подошел к ней. «Что? Где теперь папаша твой? — чтобы все во дворе слышали, загорланила Клавдия, ворочаясь на скамье, потому что не могла сразу стать на ноги, — где, говорю, папаша твой? Был, да сплыл!» — «Не смей!» — тихо сказал Боря. — «Ах ты, вражье отродье! — Клавдия уже прочно стояла на ногах, — и он туда же! Не смей!» Она размахнулась и толстой белой рукой ударила Борю по лицу. Боря не шелохнулся, только еще сильнее побледнел и смотрел ей прямо в глаза своими голубыми глазами. Мы толпились тут же, на другой стороне песочницы: ноги у меня сделались ватными; никто из нас не тронулся с места; мы молчали. «Не смей!» — разжигая себя, насмешливо повторила Клавка и опять ударила Борю по лицу, раз и другой. «Не трожь дитя, кобыла!» — высунувшись в форточку, напустилась на нее сплетница баба Маша с первого этажа. Боря взял ведро и тихо, не хлопнув дверью, скрылся в подъезде...

За ужином мама сказала: «Ты не ходи к Боре в гости, не надо...» — хотя в гостях у Бори я был лишь однажды, и когда рассказал об этом дома, мама вроде бы очень была довольна и, улыбаясь, выпрашивала у меня, что там у комдива и как. Я покорно и понимающе кивнул головой. «Возмутительно!» — папа сердито взглянул на маму, отодвинул задребезжавший стакан с недопитым чаем и вышел из-за стола.

Больше мы Борю не видели. Он и Лидия Прокофьевна исчезли так незаметно, что во дворе не сразу и сообразили, что их уже нет. Боря ни с кем не простился.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

УЛИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА

Горбатые как верблюды, —
Непредсказуемые как женщины, —
Спутанные как волосы на ветру, —
Древние как все религии мира, —
Вытертые как паласы,
которые моют в июльских дворах
смуглые, горластые Шахерезады
с рыжими от хны пятками, —
Сочетающие в себе
как перекидной календарь,
сразу все четыре времени года:
вот вдоль тротуара
осатаневшей иномаркой
несется февральский норд,
а за углом зацветает айва, —
Круто сворачивающие на перекрестках
с Европы в Азию и с Азии в Европу, —
(И пьет из лужи третьего тысячелетия
ишак, пропавший со двора
средневекового караван-сарая...)
Заасфальтированные волны...
Половина из них — тезки политиков,
а половина — поэтов:
улицы, как и дети, не выбирают себе имен.

И все мы, все мы ходим по ним,
как в музее под открытым небом,
где развешаны полустертые указатели:
«Мой первый двор»,
«Мой первый поцелуй»...
Выложены брусчаткою из сердец
Улицы нашего города.

* * *

...Есть странный час
на перекрестке ночи
И дня,
есть потаенный переулочек
Во Времени — свернув в него однажды,
Ты забываешь год, число, эпоху

И имена друзей.

Названия улиц и месяцев...

Свернув в него однажды,
Ты понимаешь, что попал в кино,
В котором звук пропал среди сеанса.
Кругом лежит беззвучный Старый Город,
Там, где дома касаются плечами
Друг друга...

Шелестит листва немая,
Беззвучно мяч стучит об известь стен,
Коньки грохочут по камням беззвучным,
Беззвучные беседуют соседи...
Пластинка кружится, дрожит игла,
Но с губ ее ни звука не слетает.

Вот женщина седая стул выносит,
Садится возле своего подъезда
И поправляет сползший с плеч жакет.
(Через мгновение включают в мире свет
И озарятся стрельчатые окна.)

И нас с тобою поглотит парадное...
И ты очнешься в темном влажном чреве
Его, и над твоею головой
Как позвоночник — лифтовая шахта
Возносится, дрожа от напряженья,
Куда-то вверх, под купол мироздания,
К аорте Дома...

И виртуальный ветер,
Бушующий в галактиках,
влетев,
Разбитой форточки в квадратный рот,
Вздымает ребра лестниц как дыхание...

О, сколько же вокруг нас параллельных
Миров, сознаний, аур и т.п.,
Упрятанных друг в друга как матрёшки!..
(До сердцевины этого расклада
Пока еще никто не доходил.)
И, как и подобает человеку,
Я знаю лишь,

что ничего не знаю

О мире,
но одно я знаю точно:
Все это я —

фасады и листва,
И дети эти, и ларьки, и кошки,
Разлегшиеся с видом королевским
В подножье мусорок...

И темь подъезда,
И женщина в продавленном шезлонге,
Глядящая вдоль улицы пустой —
Последние две тыщи лет, примерно,
Никто, никто не проходил по этим

Камням...

(Воспоминания не в счет).

И я — стена, и на моих щеках
Нарезана вот эта вязь тугая
На мертвом языке,
и южный ветер
На мне вздувает виноград сухой
Как волосы на лбу...

НЕВОЗМОЖНЫЕ СТИХИ

...И ветер
Опять роняет на песок планеты
Корявых сосен ржавые иголки.
Я стану жить на свете долго-долго
И в девяносто (или даже в сто)
Свои я вновь влюблю в себя кого-то,
Прельстив его
своим жемчужным горлом,
И розой щек, и бирюзою глаз,
Свирелью голоса, волной походки...
Мы будем танцевать танго и хоту
На битых звездах, среди пахучих трав,
Все циркуляры времени поправ,
Все этикетки всех дворов нарушив...
...Но что за ветер отдувает душу
От тела, словно шарф?..
На волоске
Уже она. Космический ноябрь
Бесчинствует кругом.
Любовь моя,
Мы тоже — лишь иголки на песке
Вот этого заброшенного сквера.
Зачем же снова жжет свечу и верует,
Дрожит серьгами и смущает тело
Душа,
зависшая на волоске?..

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ИТАЛИИ

ПОВЕСТЬ

Ему так хотелось увидеть! Кажется, одной секунды было бы достаточно для того, чтобы охватить взглядом и вобрать в память окружающее, все, что находилось здесь, совсем рядом и давало о себе знать волнующим слиянием голосов, скрипов, шелестов.

Того, что называется воображением, у него не было. Он мог лишь подставлять ко всем этим звукам какие-нибудь фотографии, отрывки из фильмов, по большей части немых, лишенных не только красок, но и воздуха, и солнца. Он догадывался, что на самом деле все выглядит совсем иначе, гораздо красивей.

Так оно и было.

Солнце светило прямо в затылок Матери, которая сидела у окна. Казалось, мягкие лучи с наслаждением проникают в ювелирную путаницу завитков, выбившихся из высокого узла. Этот узел, очень редкого русого цвета, как бы сталкивал на лоб новенькую шляпку из прелестного светло-серого фетра, овальную, с высокими, как борта лодочки, полями — так что хорошо была видна припавшая к низкой тулье белая креповая роза. Вместе с серыми атласными листиками она была утоплена в сборочках почти прозрачной ткани. Из такой же ткани были сделаны рюши и большое жабо на шелковой блузке, серой в белую полоску. Стоило где-то приоткрыться двери, морскому ветерку скользнуть в распахнутое окно — и все эти складочки, оборочки взмывали, а потом долго колебались, будто искали, куда опуститься.

— Знаешь, на что похожа твоя блузка? На пар... Когда у нас в марте начинают таять сугробы... Вот так же ходит зигзагами.

— Это от мадам Помье. Я все ждала, когда ты заметишь.

— Я сразу заметил, — улыбнулся Отец.

— Нравится?

— Очень.

— Мадам Ларок уговорила меня сфотографироваться в этом наряде.

Дымчатый рюш чуть отступал от шеи, подчеркивая ее нежную линию, резким изгибом переходящую в линию подбородка. Лицо было подсвечено снизу — то ли белой скатертью, то ли бликами, играющими на тарелках. Это теплое тайное сияние как бы объединяло их и отделяло от всего постороннего.

Именно своим особым освещением и был приятен ресторанчик синьоры Матинелли. Свет стелился над столиками, оставляя темным и прохладным высокое пространство под потолком. Посетителей было совсем мало, и в зале слышался шум моря, шелест деревьев, азартные выкрики чаек.

Здесь они обычно праздновали возвращение Отца из его деловых поездок. Поездки были частыми, но недолгими. Так что кому-то со стороны могло показаться, что слишком бурно проходят все эти встречи: с подарками, рассказами, шумными выражениями радости. Но такова уж была эта семья. Завтрак, обед, прогулку — все здесь превращали в знаменательное событие. Особенно Мать.

Мать была человеком, счастливым от природы. Маленькому Мики пошел уже шестой год, а она продолжала рассказывать историю своего замужества, как самую свежую новость, причем история эта — в сущности, вполне обыкновенная — выглядела в ее изложении немыслимым, фантастическим стечением обстоятельств. Мики любил ее слушать больше, чем любую сказку.

Так могла бы радоваться своему незаслуженному везению какая-нибудь дурнушка, а не женщина, привыкшая к всеобщему восхищению, почти что красавица. Считалось, что ее портит радостно вздернутый, островатый носик, хотя, возможно, именно он и придавал ее лицу особое обаяние. Да и не вязался бы, пожалуй, классический нос с этими глазами, чуть раскосыми и удлинненными, как два листика вербы, с этими бровями, которые начинались с забавных вертушек, придававших лицу неустойчивое выражение — будто она попыталась нахмуриться, но не держала и улыбнулась.

Эта ее улыбка... как бы раздвоенная виноватым треугольничком верхней губы... Казалось, ей неловко показывать свои милые зубки, неловко быть такой молодой, такой везучей, такой любимой.

Отец вернулся накануне, и так уж вышло, что сразу нагрянули гости и сидели допоздна. Все утро было занято возней с ребенком, и поговорить никак не удалось.

Замученное пирожное Мики громоздилось посреди тарелки горкой крошек с шишкой вылезшего крема. Шоколад в чашке почти остыл. Белый беретик с синим помпоном висел на спинке отодвинутого стула. Самого Мики не было. Племянница хозяйки повела его смотреть щенков спаниеля.

Где-то в глубине ресторана тихо звенела посуда. Пахло кофе, морем и олеандрами.

— Весна в Италии... — сказал Отец. — Что может быть лучше?

— Весной везде хорошо, — улыбнулась Мать.

Солнце осветило угол ее глаза, зеленый зрачок стал глубоким и прозрачным.

— Почему ты хочешь обязательно оставить Россию? Я понимаю — раньше. Но сейчас! Все говорят, в России такие перемены к лучшему! И война вот-вот закончится...

Он поморщился с добродушной досадой.

— Твои друзья обольщаются. Это все романтика. А я реалист. На мой взгляд, там начинается что-то несусветное. И я не хочу даже разбираться в этом. Жаль, что нет никого, кто мог бы вместо меня закрыть там все дела. Так не хочется ехать! В любом случае мне было бы спокойнее, если бы вы отправились в Бостон прямо сейчас. Поживете пока у Симона. Он будет счастлив...

— Нет-нет! — запротестовала она. — Без тебя — никуда!

— Конечно, это невозможно. В твоём положении... Одна на пароходе...

— Чепуха! Я не боюсь плыть на пароходе. Я прекрасно себя чувствую! Прекрасно! Помнишь, как меня тошнило, когда я носила Мики? Днем и ночью! А сейчас хоть бы что! Знаешь, что я тебе скажу? Это какой-то удивительный ребенок! Я каждое утро просыпаюсь счастливая! Мне все время весело! — Ее голос звучал возбужденно, будто били деревянной палочкой по хрустальному бокалу. — Это она! Я чувствую, что это девочка. Я говорила тебе тогда, с Мики, что стала чуть-чуть мужчиной. А сейчас я ощущаю себя... дважды женщиной!

— Быть женщиной больше, чем ты есть? — рассмеялся он и накрыл ее ручку своей большой осторожной рукой.

— Нет-нет! Я прямо чувствую, как смешиваются два характера! Вот увидишь: она... Необыкновенно веселая и смелая!

Пожалуй, он чуть-чуть ревновал жену к этому ребенку, которого она вынашивала в непроходящем лихорадочном нетерпении — так на вокзале ждут дорогого человека, поезд которого должен прибыть с минуты на минуту. Что-то его беспокоило.

Он даже советовался с доктором — разумеется, тайком от нее, — но доктор не понял его опасений. «Вам можно только позавидовать», — сказал он.

И действительно: она была совершенно здорова, очень нежна и с ним, и с сыном. Что же до зависти, то им в самом деле завидовали. Причем не их красоте, элегантности, явному благополучию, а удивительному сочетанию приятных характеров.

Объективно он был для нее слишком высок, широк в плечах и тяжел. Но в этой тяжести, в чуть намечавшейся полноте было что-то располагающее. Казалось, он добродушно тяготится и чрезмерной длиной своих ног, и чрезмерной шириной плеч, и грудью, излишне мощной, как тяготеют не по погоде теплой одеждой. У него даже привычка была такая: обеими руками держаться за лацканы пиджака, будто он намеревается его сбросить. Он двигался как бы чуть замедленно, а вместе с тем аккуратно и ловко.

Синьора Матинелли, хозяйка ресторана, высоко ценила его деликатное обхождение с ее новыми стульями.

— Что значит хорошее воспитание! — сказала она, выглядывая в зал сквозь щель между плюшевыми шторами. — Никогда не развалится на стуле, как другие. Понимает!

— А какой красавец! — поддержала синьора Боллони и переместилась за спиной хозяйки так, чтобы лучше видеть их столик.

Строго говоря, красавцем он не был. Однако крупные и необычные черты привлекали к себе внимание не меньше, чем его рост. Лоб был вылеплен мощными гранями. Густой черный волос, казалось, теснил назад встречный ветер. Что еще... Спокойные черные глаза. Нос. Вот у него-то как раз нос мог бы быть и получше... Чуть горбатый, с округлым утолщением на конце, он казался маловат для такого лица и несколько простил его. Вообще чертам Отца недоставало мужественной агрессии. Но этот недостаток замечательно скрадывали большие жесткие усы.

— Кстати, — сказала Мать, — надо что-то решать с Мики. Пора уже все ему рассказать. Я не решалась без тебя. Знаешь, еще неизвестно, как он это воспримет. Мики привык, что все вокруг восхищаются им, обожают его... А тут появится маленький, и мы должны будем делить свою любовь. А вдруг он станет ревновать?

— Бог с тобой! Да Мики будет счастлив, уверяю тебя! Давай прямо сейчас и расскажем ему!

— А... как мы ему объясним? — разволновалась она.

— Да так, как есть.

— Хоть бы он там не выпросил у них щенка. — Оба посмотрели в сторону желтой шторы. — Нам еще только щенка не хватало на корабле!

Он снова помрачнел.

— Какая-то безвыходная ситуация! Ехать на последних месяцах — скверно, с грудным ребенком — еще хуже. Ей-богу, лучше всего тебе было бы уехать прямо сейчас.

— Пожалуйста, не начинай сначала! И потом, ты забываешь: я должна спеть еще две «Богемы»! Кстати, Курье предлагал концерты в Генуе. Но я отказалась. У Курье началась истерика, когда я ему рассказала. Эта современная мода только тем и хороша, что можно до самых родов проходить и никто ничего не заметит. А звучу я потрясающе! Ты не представляешь себе! Как никогда! Вот как-то она так удачно подпирает мне диафрагму... Такое впечатление, что она мне сознательно помогает! Правда, маленькая, ты мне помогаешь? — обратилась она как бы в собственную свою глубину и привычно коснулась рукой того места, где задумчиво лежал на боку Зародыш. Он скользнул, подался вперед, поближе к ее руке, и несколько раз ткнулся в ее ладонь плечом и головкой.

— Вот! Вот! Ах, как жаль, что ты не можешь услышать! Она мне отвечает! Мы с ней все время разговариваем! Вот ты не веришь, а я тебе покажу дома! Спрошу у нее что-нибудь... Иногда я с ней советуюсь и делаю так, как она подсказывает!

— Сокровище мое! Ты меня просто пугаешь! — улыбнулся он растерянно. — Ребенок крутится оттого, что ему чего-то не хватает. Ты напрасно носишь корсет. Я всегда считал, что он вреден, и особенно в период беременности.

— Да разве это настоящий корсет — то, что мы сейчас носим!

— Не знаю, не знаю, — сказал он. — Во всяком случае, меня смущает, что плод начал шевелиться слишком рано.

— Ну и Мики рано начал вертеться!

— С Мики мы не знали сроков...

— Да, — улыбнулась она. — Наша девочка еще не родилась, а успела уже хорошо попутешествовать... А что ей еще предстоит!..

Крепко сомкнутый ротик Зародыша покривился. Он знал, что когда-нибудь из таких спазмов начнет получаться человеческая улыбка. Он вообще много чего знал — куда больше своих молодых беспечных родителей. Больше, чем ему самому суждено было узнать впоследствии, после рождения.

То, что называлось «Будущее» или «Жизнь Доры», лежало перед ним, как огромный кристалл, прозрачный и обозримый, во всех красках, звуках и ощущениях. И Зародыш, не напрягаясь, видел каждый миг своего будущего одновременно. Все это двигалось, светилось, дышало. Утомляло рябью не сменяющих друг друга дней и ночей. И одновременно маленькая Дора грызла крошечные пыльные груши на длинных, как у вишен, палочках, и завязывала на затылке марлевый бант, и отпаривала в тазу с горячей сывороткой сухие, покореженные ступни, уродливые, как вывернутые из земли корни, и взлетала в гранд жетэ, едва коснувшись сцены пуантом, и опускалась то в пустых, то в набитых растерянными людьми коридорах, быстро семеня ногами, как Жизель, не разгибаясь, от двери к двери... «У меня дети, у меня почти тысяча человек детей!» Требовала, стучала кулаком: «У меня тысяча!..» И стояла на вокзале во Львове, и серые каменные головы заглядывали через ее плечо в записку с адресом свекрови, и уже подходила к ее дому, уцелевшему среди руин, под вальс из «Евгения Онегина», под сто вальсов из «Евгения Онегина», которые накладывались друг на друга, на «Танцы маленьких лебедей», на целые стаи «маленьких лебедей», и «Аппассионат», и пионерских песен. И за всем этим, как грубый, настырный аккомпанемент — стук колес...

Зародыш не понимал, зачем ему, маленькому и беспомощному, так непомерно много открыто. Почему он выдерживает все это знание, под которым бы рухнул зрелый человек, вольный в своих поступках? И что это? Результат случайного сбоя в заведенном порядке жизни — или, наоборот, то, что дано каждому живому существу: увидеть, узнать и, родившись, все забыть, но остаться закаленным, втайне готовым к тому, что должно на тебя обрушиться?

Более правдоподобным казалось второе. Иначе трудно было бы объяснить, как Дора смогла перенести все свои несчастья. Сам Зародыш подумывал порой, не следует ли ему, несколько раз повернувшись на своей коротенькой пуповине, так затянуть ее... Но... Во-первых, ему было ясно, что из этого ничего не выйдет: иначе не стоял бы перед ним живой движущийся кристалл... Да и жаль было некоторых мгновений: этих полетов в лучах прожектора, первого снега, фантастического появления Бронекса — в темном коридоре театра, куда Дора зашла мимоходом, совершенно случайно, и увидела будто зародившуюся в самом конце, во тьме, за поворотом легкую мужскую фигурку, вертящуюся волчком с раскинутыми руками прямо ей навстречу и замершую, застывшую перед ней с распростертыми объятьями и смущенным лицом... Да, это тоже было красиво — может быть, не менее красиво, чем нынешний день, — хотя и без моря, без олеандров, без

дорогой одежды, без множества вещей, так пленительно звенящих, шуршащих вокруг.

Все эти вещи, все эти мелочи очень много значили для Зародыша. Он не мог их вообразить, а между тем прекрасно знал. И не только вещи. Он знал город, он знал улицы — по звукам, по особому гулу пространства, по скрещению сквозняков, которые говорили ему даже больше, чем скрип и скрежет под ногами Матери, чем ощущение подъемов и поворотов.

А уж как хорошо он знал собственный дом! Завихрения воздуха на лестнице, голос каждой двери... Да что там — если даже дверь была открыта, Зародыш понимал, в какую комнату они входят, сколько в ней окон, пуста она или заставлена мебелью. Все звучало и сообщало о своем присутствии: внесенная гитара, раковина на камине... У каждой вазочки, каждого стаканчика был ни с чем не сравнимый выдох. По-своему звучала даже пугающая, фальшивая глубина зеркала.

Помогало ли ему знание будущего так хорошо ориентироваться в окружающем мире? Пожалуй, нет. В этом просто не было нужды. Слух заменял все. И это даже не вполне можно было назвать слухом, ибо Зародыш ощущал звуки, как прикосновения, всем своим крошечным тельцем. Эти шумы-прикосновения были приятными и неприятными, любимыми и нелюбимыми. Особенно ему нравился близкий шелест листы. А еще — далекое кудахтанье курицы, шум моря, звяканье ложечки в чашке с кофе. Или такое, например: он очень любил молчание колоколов, молчание открытого рояля, арфы. Все это пело невыносимо прекрасно, как поет про себя человек, не размыкая губ.

Так пела про себя Мать. Было несколько чудесных мелодий, которые постоянно вибрировали в ее горле, в нёбе, в той части груди, где обычно прикалывалась брошь... По этому тайному пению Зародыш всегда знал, какое настроение у Матери: каждому настроению соответствовала своя, особая мелодия. В последнее время все чаще прорывалась одна — очень красивая и на первый взгляд даже радостная. Сначала казалось, что это та мелодия, с которой утром просыпаешься счастливым. Но когда она повторялась второй, третий, пятый раз, свет, излучаемый ею, начинал слепить. Становилось почти непереносимо грустно, в горле скапливались слезы странного предчувствия.

Зародыш вслушивался и гадал: не передается ли Матери его собственное знание? Вот уж чего ему не хотелось — омрачать эти счастливые дни! Он знал, что их остается мало, и дорожил каждой минутой покоя, каждой минутой присутствия Отца.

Когда Отец уезжал, Зародыш еще не осознавал себя. Но первым, что проникло к нему из окружающего мира, было ожидание — оно волнами напряженного гула расходилось от Матери, оно нетерпеливо тикало рядом, в маленьком тельце Мики. И все разговоры Мики и Матери, между собой и с другими людьми, были об Отце, о его скором приезде.

Как только Отец появился, Зародыш их понял. Он так быстро привязался к Отцу, так ценил каждую минуту его близости! Оказалось, что Мать ничуть не преувеличивала, когда уверяла свою подругу: «У него такой взгляд! Как прикосновение! Когда он смотрит на что-то, это место согревается!» И еще она говорила: «Вокруг него всегда что-то такое стоит, вроде облака, и всегда хочется подойти поближе».

Бедный Зародыш! Он единственный знал, что этого огромного человека, создающего вокруг себя особое пространство, где каждый чувствует себя любимым и защищенным, — этого человека не станет. И уже совсем скоро. Зародыш еще не мог плакать, он только горестно раскачивался, когда большая рука приближалась к нему. Он всем своим крошечным тельцем прижимался к отцовской ладони — так подставляют себя лучам солнца. Старался запомнить это ощущение и журчащие

толчки отцовского пульса, раскаты низкого приятного голоса, легкий присвист в словах, цепляющих жесткие волосинки усов... И знал, что ничего не запомнит! Он мечтал лишь об одном — о том, чтобы эта их счастливая жизнь продолжалась как можно дольше, ценил каждую ее минуту. И постоянно был несчастлив, постоянно повторял про себя: «Только бы не сегодня».

Так уж странно все было устроено: жизнь четко делилась на две половины. Его нынешнее существование, о котором ему наперед ничего не было известно — и жизнь Доры, которую он видел без пробелов и дымки времени, но тоже не сначала, а лишь с того мига, когда Зародыш осознал себя второй раз, уже будучи отдельным человеком, девочкой, стриженной налысо, в широком линялом платье, сползающем то с одного, то с другого плеча. И девочку звали Дорой. Она знала свою фамилию, знала, что сирота, что сначала бывает весна, потом — лето. Умела шнуровать ботинки и петь три песни. Знала, что в новый детдом попала недавно, но не помнила, где жила раньше. До того яркого дня простиралась мутная тьма без проблесков, и откуда-то из этой тьмы выступили две женщины в одинаковых шляпках из белого полотна, широкие поля которых образовывали одну общую тень, когда женщины шептались на каком-то непонятном языке. Они сказали, что зовут их тетя Вера и тетя Фаня, и дали ей кулек с черешнями. Дора проглотила три прямо с косточками, пока они сообразили объяснить ей, что косточки нужно выплевывать. Дора видела, что не очень-то понравилась тете Вере и тете Фане, и не совсем понимала, зачем они пришли. Вид у них был какой-то беспокойный: то ли торопились, то ли боялись чего-то. И с жалостливым недоумением всматривались в ее лицо. Дора тоже боялась — что ее вовремя не отведут на обед. Черешни кончились, и она растерянно терла одну об другую липкие ладошки. Женщины смотрели и не знали, что еще сказать или сделать. Наконец, одна сообразила: «Что тебе принести, когда мы придем в следующий раз?» «Мячик!» — оживилась Дора. Никогда до этого ей и в голову не приходило, что можно иметь собственный мяч. Но с того дня пошел отсчет времени — началось ожидание мячика. «Тетя Вера» и «тетя Фаня» так больше никогда и не появились. Дора много лет мстила им: каждый раз, заполняя анкету, в графе «Имеются ли родственники?» писала жирное «нет».

Вслушиваясь в разговоры родителей и их знакомых, Зародыш пытался узнать, кто же они были, Фаня и Вера. Но имен этих пока не упоминали. Те фразы, которыми Фаня и Вера обменялись на неизвестном языке, Зародыш, в отличие от Доры, прекрасно понял, но они ничего не проясняли. Одна спросила: «Почему так много еврейских детей?», а вторая ответила: «Разве не ясно, почему?»

Зародыш вообще понимал все, хотя не знал ни одного языка. Слова то ли не существовали для него, то ли самим звучанием открывали свой смысл. И не имело значения, на каком языке говорят родители, на каком — синьора Матинелли с синьорой Боллони, а на каком — две подруги-американки за соседним столом.

«Ты узнала ее?» «Ну конечно! Она просто прелесть. Но он — вообще редкий красавец! Как ты думаешь, он тоже певец?» А за двумя стенами синьора Матинелли говорила племяннице, которая мыла под умывальником пухлые ручки Мики: «Ах, этот Микеле! Он похож на ангела из Санта-Тринита!» «Даже там нет такого», — сказала племянница и повела Мики в зал. А синьора Боллони, когда за ними закрылась дверь, добавила: «Слишком, слишком красивый ребенок! Такие долго не живут».

Три ветерка столкнулись в центре зала. Мики подбежал к родителям.

— Они такие хорошенькие! — защебетал он. — Вот такие малюсенькие, а ушки длинные! И вот так висят!

В голосе его дрожала тайная умоляющая нотка.

— Может, попросить для тебя другой шоколад?

Мики растерянно уставился на свое пирожное и помотал головкой.

— Я всегда люблю холодный.

— Давай-ка я покормлю тебя, Мики! — предложила Мать и взялась за ложечку.

— Это стыдно, — сказал неуверенно Мики. — Я уже большой...

— Ничего, — успокоил его Отец. — Иногда можно.

Свет, отраженный тарелкой, осветил шейку, подбородок. Мики покорно тянулся навстречу ложке.

— Он совсем не хочет есть! — привычно пожаловалась Мать.

— Давай, давай, Мики! — поторопил Отец. — У нас есть для тебя большой сюрприз.

— Какой сюрприз? — встрепнулся Мики.

— Ну вот... — сказала Мать. — Nun wird er denken, dass wir damit einverstanden sind, das Hundchen von Signora Matinelli zu nehmen.¹ — И негромко рассмеялась. Мики наконец проглотил остаток пирожного, и они направились к выходу. Немного постояли на площадке, привыкая к яркому дневному свету.

Потрескавшиеся ступеньки спускались к дорожке, идущей вдоль пляжа. Зародыш не любил этот путь. Скрип песчинок между мрамором и кожаными подошвами обжигал, крокотанье гальки под ногами матери, казалось, оставляло на его теле синяки. Беспорядочное дерганье и колыханье мешало Зародышу сосредоточиться. Он боялся упустить какие-то важные их слова, которые могли бы прояснить что-нибудь в его Будущем. Что же все-таки произошло с Отцом? И когда именно это случится? Не скажет ли он прямо сейчас: «Да, кстати! Завтра я уезжаю в Россию».

Россия... Россия... Мать повторяла это слово, как некое сказочное заклинание. Красивое сочетание звуков, не имевшее ничего общего с тем, что видела Дора: осыпающийся хлеб, мрачные просторы гниющей осени, наскоро присыпанные шершавым снегом — снегом, снегом, который все густеет, так что сливаются земля и белое небо, и уже неясно, куда он едет, Дорин поезд, вечный Дорин поезд. Едет, черный, прорезая своей немислимой длиной долгую Дорину жизнь, так что девушки в белых пачках и девочки в черных галошах и марлевых платьицах, и тысячи школьных тетрадей, исчерканных красными чернилами, будто выпархивают из-под его колес, на мгновение приподнятые резким ветром, и тают где-то далеко позади. А впереди эти станции, полустанки, разъезды, небритые, злые от бессилия мужчины, уверяющие Дору, что вагонов больше нет («что же, по-вашему, важнее: отправить военный завод или ваших детей?!»), а Дора, как обезумевшая Жизель, бросается от начальника к начальнику («детей, конечно, детей!»), пробивает дорогу в толпе, ревушей от давки и отчаяния, протискивается, безжалостная к этой толпе, с тайной надеждой отыскать в ней знакомые лица. «Дорогу, дорогу!» «Детдом номер пять — первый вагон! Детдом номер восемнадцать — второй вагон! Ярцевский дом сирот — третий и четвертый вагон!» «Врачи, имеющие дипломы! Подойдите к начальнику поезда!» «Девушка, я биолог. Я смогу быть полезным». «Девушка, я педиатр. Диплом в дороге пропал, нас бомбили. Честное слово, я педиатр!» «Не имею права. Не имею права». А Доре только двадцать три года. Только двадцать три года! И она ждет, когда двери захлопнутся, когда отстанут темные люди, бегущие за вагоном, и снова потянутся белые снежные поля. А Мать произносит слово «Россия» — так нежно и певуче, так неправильно и по-итальянски, будто оно сродни словам «Россини», «Росси», «Розина»... Так что Зародышу кажется, что Мать никогда и не бывала в России.

Господи! Ну что бы им так и остаться в этом городе, на этом берегу! Все было бы по-другому! И Дора была бы совсем другая, и не было бы у нее жесткого,

¹ Теперь он подумает, что мы согласны взять щенка у синьоры Матинелли. (нем.)

негибкого голоса, которого так стыдился Зародыш. А был бы такой же легкий и звенящий, как у Матери, и она гуляла бы с ними по берегу, и Отец присаживался бы на корточки, касаясь одним коленом гальки, и слова жужжали бы в его усах, как ласковые пчелы.

Зародыш слушал. Редкие слабые волны, лизнув берег, уже не возвращались... с сипеньем исчезали в широкой полосе ракушечного крошева. Ветер полоскал юбку у ног Матери. Где-то далеко-далеко переговаривались два человека. Кричали чайки.

— Иди сюда, Мики! — позвал Отец. — Мы хотим тебе что-то сообщить.

Мики остановился. Обруч его, описав обмирающий круг, упал на дорожку. Новенькие туфельки неуверенно захрустели по сырой гальке. Зародыш замер. Он догадывался, о чем сейчас заговорит Отец. Дыхание Мики, выжидающе неровное, слышалось совсем рядом. И еще было слышно, как ветер, бьющий ему в лоб, тлинькает шелковыми пружинками детских локонов.

— Мы подумали, Мики, что ты уже большой мальчик. Пока меня не было, ты научился пользоваться столовым ножом и шнуровать ботинки.

— Сплю один... — с робкой гордостью прибавил Мики.

— Ну вот! Я и говорю. Ты уже смог бы помогать нам и мадам Ларок, если бы у нас появился... малыш... Как ты на это смотришь?

— Я? Конечно! Я всегда хотел братика!

— Ну что ж! Прекрасно! — сказал Отец. — Будет тебе братик или сестричка.

— Я думаю — сестричка, — уточнила Мать.

— Тебя устроит сестричка?

— Сестричка? Это даже лучше! Девочки не толкаются. А когда это будет? — голосок Мики задрожал от нетерпения.

— Ну-у, дорогой... — пророкотал ласково Отец. — Этого еще немного подождать придется! Сначала я съезжу ненадолго в Россию. Потом мы поплывем все вместе на пароходе в Америку. А уж там...

— Так она в Америке... — слегка расстроился Мики. — А ее там никто не заберет до нас?

— Нет, нет, Мики! — успокоила Мать. — Она только наша. И она уже здесь. Просто ее еще нельзя увидеть: она слишком маленькая и спрятана у меня внутри — вот тут.

Зародыш привычно двинулся навстречу руке матери и ткнулся в нее лобиком.

Мики постоял какое-то время неподвижно, не то свыкаясь с новостью, не то принимая важное решение.

— Вот что, папа, — сказал он и протянул отцу свой обруч и палочку. — В субботу Николай Петрович подарил мне точно такой же обруч, только синий. Я не сказал тебе, чтобы ты не огорчился. А теперь видишь, как хорошо получилось: синий будет мне, а твой — сестричке. Синий уже поцарапанный немножко, и красный вообще гораздо лучше. Так что я не буду его больше гонять.

— Ну вот и славно. Я его понесу. А теперь видишь вон того синьора, который играет на аккордеоне? Вот тебе деньги. Пойди и брось ему в шляпу.

Отец позвенел в кармане мелочью и ссыпал ее в ладонку Мики. Мики кивнул и заторопился на набережную к уличному певцу.

— Пусть успокоится, — сказал Отец. — Привыкнет.

— Да, — откликнулась Мать. — Он такой чуткий мальчик... Даже слишком. Как ты думаешь, это ничего?

— Ничего, — Отец провожал взглядом ладную фигурку удаляющегося Мики. — Просто он все время с женщинами. Вот в Бостоне я займусь им. Он должен научиться ездить верхом, плавать. Ну и вообще... Он нежный, но довольно крепкий. Посмотри, какой: ножки длинные, стройные. Вот увидишь — он вырастет настоящим мужчиной.

— И очень красивым, правда?
Зародыш перевернулся на спинку.

Перед ним был Мики. Он сидел на лавочке в самом конце аллеи, в негустой тени июньских деревьев. Его длинные ноги, закинутые одна на другую, выступали далеко вперед на желтую кирпичную дорожку. Локоть правой руки лежал на спинке скамьи, и большая неширокая кисть свисала с какой-то красивой, непривычной свободой. Густые светло-русые волосы, необычного серебристого оттенка, слегка вились. Они вызывали то же чувство, какое вызывает воздушная крона весеннего дерева. Такая прическа была бы к лицу какому-нибудь красавцу-киноактеру — как и улыбка, чуть раздвоенная застенчивым уголком верхней губы. Его зеленоватые, чуть раскосые глаза смотрели прямо на Дору. Этот взгляд... Нет, не узнающий! Он как бы с первой секунды узнал сестру. Он будто и не ожидал ничего иного и был счастлив видеть Дору, и становился все счастливее по мере ее приближения. А Дора шла, запинаясь, и сторожиха легонько подталкивала ее в спину, поправляла платье, стряхивала с черных волос застрявшие сучки и соринки. И две девочки, с которыми Дора никогда не дружила, семенили рядом и зудели: «Ищи тут ее, ищи... Бегай за ней два часа...»

Дору действительно долго искали. Она слышала, как ее зовут, но не откликалась, потому что сидела на дереве и ела зеленые завязи груш. Она слегка побаивалась дизентерии, но утренняя каша была уж очень жидкая, и Дора проглотила ее слишком быстро... Возможно, и это сыграло какую-то роль в ее отношении к Мики. Слова «к тебе пришли» мгновенно вызвали в памяти Доры двух тетенок и принесенный ими кулек черешни. Пустые руки незнакомца разочаровали ее. А тут еще этот уверенный взгляд, белоснежная рубашка с подвернутыми до локтя рукавами. Почему-то Дору удивило, что у горбуна подвернуты рукава рубашки. И еще прическа... У всех горбунов, которых доводилось видеть Доре, были черные, гладко зачесанные жидкие пряди. И смотрели они так, будто постоянно помнили о своем горбе. А этот сидел, как ни в чем не бывало — будто не нависал над его глазами костлявый лоб, будто не портил его лицо хрящеватый нос, будто весь он не был похож на большую длинноногую птицу, у которой туловище выпирает спереди и сзади, а голова лежит прямо на плечах.

Бедный Мики! Да ни на минуту не забывал он о своем уродстве! Ангелочек, сорвавшийся с фрески Санта-Тринита, выпавший по жестокой случайности из красивого дня в Италии и вечно пребывающий там. Это оттуда он черпал представления о жизни, свои деликатные и раскованные ужимки и позы, которыми так восхищался Бронек. А Дора ничего этого не понимала и злилась, уверенная, что Бронек старается ради нее, показывает, что не брезгует ее братом.

Как стыдно было Зародышу, как стыдно! Хотя он и понимал, что, в сущности, Дора была для Мики неплохой сестрой — в дальнейшем, разумеется. Можно ли было ожидать, что она вот так сразу примет и полюбит чужого странного человека, который вместо того, чтобы дать ей время привыкнуть и привязаться, смотрит на нее с конца аллеи жадным узнающим взглядом и в первую же минуту, оставшись с ней наедине, сообщает: «Я твой брат»...

Возможно, если бы Доре стало известно, что где-то у нее есть брат-горбун — да что там! какой-нибудь совершенный урод! — Дора непременно начала бы искать его. И была бы счастлива встретиться с ним вот таким, какой он есть. Но все получилось... Так, как получилось.

Конечно, Мики поторопился. Он, с его чуткостью, мог бы все это предвидеть. Но и его можно понять: ведь Мики-то всегда знал о том, что она есть. Он любил ее заранее, хотя, умудренный годами болезни и неподвижности, знал, что она окажется совсем не такой, какой рисовалась в его мечтах.

Для Доры же все вышло иначе: брат свалился с неба, без предупреждения, и любить его было обязательно, а следовательно — трудно.

— Садись, я не заразный, — сказал Мики.

Она пожала плечами, как бы говоря: «Вот еще!» — и села, хорошенькая, недоверчивая, легкая от отсутствия воспоминаний, с бровями и глазами матери, с гримаской подавленной брезгливости, потупленная. И он уже ничего не помнил из того, что воображал себе, когда глядел в потолок, изо дня в день, привязанный бинтами к гипсовому панцирю, и тайком старался хоть чуть-чуть вывернуться на бок. Мечтал, как он вылупится когда-нибудь из этой ненавистной скорлупы, высокий и ровный, и отправится искать роддом, куда возил когда-то матери передачи и где, конечно же, сохранились все бумаги... А найденная сестра, узнав, кто он такой, тут же бросится навстречу ему — и всем его воспоминаниям, всему, что принадлежит им обоим.

— Ведь тебя зовут Дора? Дора Эльберт?

Она удивленно моргнула.

— И что это тебе пришло в голову сочинять себе разные фамилии?

— Так... — пожала она плечами, не поднимая глаз. — В книжке прочла...

— Да я уже догадался, — рассмеялся он. — Я два месяца ищу тебя по детдомам. А до того несколько лет посылал письма, и мне отвечали, что ты нигде не числишься. Я долго болел, — пояснил он между прочим. — Лечился в туберкулезных санаториях — в Крыму и здесь, недалеко, в Пуще. Мне везде отвечали, что такой нет. Я решил уже, что тебя отправили в другой город. А потом подумал, что где-то могли перевернуть фамилию, снова стал ходить. Проверял всех девочек семнадцатого года по имени Дора. И вдруг в четвертом детдоме я нашел в списках «Дору Копперфилд» — и сразу сообразил, что это ты, что ты себе фамилии из книжек берешь. А нынешняя твоя — откуда? Из «Овода»? — Дора кивнула. — Ты, я вижу, начитанная девочка...

Дора хихикнула. Она знала, что должна, наконец, заговорить, но все ее внимание занимала почему-то лежащая на коленях у брата черная кожаная планшетка. Он то расстегивал, то застегивал ее длинными разумными пальцами.

— А почему ты записалась именно итальянкой? Просто так или...

— Просто так.

— А знаешь, — сказал он, — ведь мы почти до самого твоего рождения жили в Италии. Мама была певицей.

— Знаменитой? — оживилась Дора.

— Не знаю. Мне казалось, что знаменитой. Я ведь был совсем маленький, мне еще и шести не исполнилось, когда умерли родители. — Он будто оправдывался перед Дорой. — Мама давала концерты и пела в опере. Она была такая красивая! — Мики всматривался в лицо Доры, будто отыскивая что-то. — Вот, взгляни. — И он наконец раскрыл свою планшетку.

Черная плоская глубина поманила Дору. Но там оказалась лишь большая записная книжка в кожаном переплете с серебряной чайкой в уголке. Мики вытащил ее, полистал. Осторожно извлек оттуда согнутую вдвое картонку, в которой лежало несколько лавровых листиков. Секунду подумал и вернул их на место. Снова пролистнул страницы и достал фотографию.

То была фотография Матери.

Зародыш так часто погружался в это мгновение, так напряженно всматривался в кремово-коричневое изображение, дышащее новизной и свежестью, что знал до малейших подробностей нежный овал лица, безмятежную улыбку, задумчиво отогнувшийся мизинец ручки, подпирающей острый подбородок, белую розу на шляпке, полосочки и воздушные рюши блузы. Но образ этот, несмотря на все старания, никак не совмещался с его ощущениями, с радостной поступью Матери,

со звоном ее голоса, бьющегося где-то высоко и счастливо, с оживленным шуршанием ее платья и едва уловимым лепетом оборок и невесомой дымки, которую морской ветер перекалывал на ее груди так и эдак, — а, главное, не совмещался с той чудесной мелодией, которой никогда не было в жизни Доры.

Доре фотография очень понравилась, но она никак не могла поверить в то, что эта прелестная женщина — ее мать. Такая молоденькая! В старинных одеждах, как из сказок о принцах и принцессах, живших в давние-давние времена.

— А... папина фотография?

— Нет. К сожалению. — У Мики снова был такой голос, будто ему стыдно, что он не может поделиться чем-то с Дорой. — У меня и мамина фотография оказалась случайно. Папа был очень красивый и очень-очень высокий. Я, кажется, больше и не встречал таких.

— Тоже артист?

— Да нет, не знаю, кем он был. Как-то, помню, мама сказала: «Ты ведь медик», а он ответил: «Скорее химик». Вполне возможно, я что-то неправильно понял. Мы собирались куда-то переехать из Италии, это точно. А перед этим он выехал в Россию по каким-то делам... И отсюда пришла телеграмма... Я даже не знаю, что там было написано. Меня сразу увели к хозяйке. Я слышал, как разбилось какое-то стекло, слышал, как кричит мама, но делал вид, что ничего не понимаю...

Мики замолчал, задумался.

Ах, как хотелось Зародышу, чтобы Мики никогда не произносил этих слов! По-рой он начинал метаться, как осужденный, которому неизвестен день казни. Чуть раньше, чуть позже — но весь этот ужас неизбежно должен был навалиться на него. Весь этот звон и крик ему предстояло услышать. Его не могли увести к хозяйке, как маленького Мики. Но хотя бы не знать заранее!

— Ну а потом что было? — вежливо спросила Дора.

— Потом мама начала собираться в дорогу. Она без конца повторяла: «Я приеду туда и там все выясню!» Хозяйка и гувернантка пытались ее отговорить. По-моему, она сошла с ума от горя. Она набила чемодан отцовскими вещами, а для меня не взяла ни пальто, ни теплой обуви. Мы очень долго сюда добирались. И в конце октября я ходил в бархатной курточке и белых туфельках.

— А где вы жили?

— У какой-то старухи. Такая странная была... Дом я нашел, но ее там уже нет. Умерла, наверно. Не знаю, кто она — родственница, квартирная хозяйка... Она продавала на рынке наши вещи и готовила еду. Так ужасно было, беспорядочно... Какие-то люди бегали, стреляли... Маму отвезли в роддом, и я носил туда передачи. В Италии, — улыбнулся Мики, — меня и за порог не выпускали без гувернантки. Пока мы добрались сюда, я стал совсем другим. Ничего уже не боялся. Раз прихожу в больницу. Ты уже дня три как родилась. И мне говорят, что мама заболела тифом, и ее увезли в инфекционное отделение. Знаешь, я тогда по-русски так себе говорил... и ведь добрался! Там мне сказали, что мама без сознания и передача не нужна... Ну, а на обратном пути, — он будто испытывал удовольствие, подходя к счастливому концу, — меня случайно вытолкнули из трамвая, и я сломал позвоночник. Это даже к лучшему вышло. Куда бы я делся... Война, власть несколько раз менялась... Эти белые туфельки, истоптанные, они уже малы на меня стали... А мама прожила еще два дня.

— Она меня видела? — спросила Дора.

— Наверное, — сказал он. — Сразу после родов. Она тебя так любила!

Он снова полистал свою записную книжку и вытащил оттуда закладку — шелковую нитку с жемчужной бусинкой.

— Это от мамино ожерелья.

Мики раздумчиво посмотрел на нитку, растянутую между двумя пальцами, и, улыбнувшись, положил на место.

— А фотографию оставь себе. Я все помню, а ты... Как только у меня появятся деньги, я закажу для себя копию.

Несколько раз фальшиво протрубил горн.

— Это на обед, — сказала Дора.

Он встал со скамейки и показался Доре по-новому страшным. Почти нормального роста, он будто весь состоял из двух длинных ног в белых наглаженных брюках. Дора старалась не смотреть ему вслед и все же краешком глаза видела, как он широко шагает по дорожке, как мелькает исчезающим светлым пятном за густой зеленой дымкой деревьев.

Уже подходя к столовой, Дора сообразила, что забыла спросить, как его зовут. И не сказала ему о том, что учится в балетной школе. Даже ей тогдашней показалось странным, что она совсем не рада его появлению. Что же до Зародыша, то его просто переворачивало от раздражения, от досады на Дору, а отчасти и на Мики, поспешившего отдать ей свою главную драгоценность.

Но заслуживала ли Дора такой неприязни? Ведь что, собственно, она приобрела в тот день? Странного брата с двумя горбами. С дурацкой планшеткой... Уже в столовой детдомовские хулиганы, которых Дора утром отчитывала на пионерском сборе, бегали вокруг нее, вытягивая руками рубашки на груди и спине и вжимая в плечи голову. А вокруг смеялись, и ясно было, что на объявившегося брата все успели тайком посмотреть.

И вовсе непросто было освоиться даже с тем, что она узнала о родителях. Конечно, Дора понимала, что не выросла из земли, что были когда-то и отец, и мать. Она часто думала о них, пыталась себе их представить. И они менялись с годами — по ее желанию, по ее выбору. И при этом становились все реальнее. Отец — командир на гражданской войне, мать — бесстрашная боевая подруга... И вдруг — вдобавок к горбуну-брату, с барским видом сидящему на лавке, она получает буржуев-родителей, с горничной, гувернанткой, служанкой. С жемчужным ожерельем! Впрочем, как раз пропавшего ожерелья было почему-то жаль... А главное — появилась какая-то непонятная растерянность. Так мог бы чувствовать себя приемный ребенок, вдруг узнавший, что он в семье чужой, что были когда-то другие отец и мать, но давно умерли. Как жить ему теперь с этим знанием? А между тем прежнее привычное существование непоправимо осложнено и испорчено...

Выходило, что Дора больше не имеет права мечтать об отце-командире и героине-матери. Новые родители, внезапно обретенные, никак не заполняли образовавшейся пустоты. Что означало: «скорее химик, чем медик»? Аптекарь? Аптекарь в представлении Доры был персонажем просто комическим. А богатство, о котором можно было судить по рассказам брата, вызывало у Доры чувство стыда и гадливости. Такое же, как огромная записная книжка, засушенные листики, мелькнувшие между ее страницами. Может быть, единственным, что вызвало в ней живое чувство, была бусина на нитке, которую брат явно собирался ей отдать, но передумал в последнюю минуту. Она чувствовала себя обделенной, и фотография, доставшаяся ей, нисколько не избавляла от этого неприятного ощущения.

Глядя в тот день, Зародыш пытался смягчить свою досаду на Дору — и не мог, хотя все понимал. Обед оказался еще хуже, чем завтрак. Голод только начинался, детдомовские не успели к нему приспособиться. И вечером того же дня Дора выменяла фотографию матери на горбушку липкого серого хлеба, надкушенного в двух местах. Перед этим фотография успела постоять на подоконнике возле Дориной кровати, и Дора, осторожно подправляя рассказ брата подробностями по собственному вкусу, поведала подружкам, что мать ее, оказывается, была знаменитой певицей и выступала во всех оперных театрах мира, заодно перевоза

среди своих нарядов большевистскую газету «Искра», за что была схвачена царской охранкой и убита в тюрьме. Она говорила с обычным детдомовским пылом — и верили ее рассказам точно так же, как вчерашним рассказам об отце-командире. Фотография ничего не доказывала. Женщина на ней была слишком молоденькой, какой-то волшебной-милой. Эта роза во лбу... эти дымчатые рюши, колечки локонов, кусты олеандров за спинкой белого кресла, море с дальним пароходом и небо с накренившейся чайкой... Казалось, что это фея, нарисованная сто лет назад. К тому же на обороте фотографии были напечатаны такие же линейки и цифирки, какие делались на почтовых открытках. И у каждой девочки в палате стояла на тумбочке своя безумноглазая красавица, о которой рассказывались такие же истории.

На следующее утро Дора не стала есть свой хлеб и понесла его в школу вместе с давно припрятанным кусочком рафинада. Нина, с которой она так глупо поменялась накануне, была старше на год. Дора нашла ее на первой же перемене. Нина стояла с другими девочками у высокого окна, распахнутого в сад, и, восторженно захлебываясь, рассказывала: «Она была певицей! А папа танцевал в балете! Меня тоже брали выступать, когда я была маленькая. Мы вообще-то по нации итальянцы, жили в Риме...»

Заметив Дору, она сунула фотографию за спину и даже слушать не захотела о хлебе и сахаре.

После обеда Дора снова подошла к ней, теперь уже с двумя кусками хлеба, и пообещала отдать еще и вечернюю пайку, но Нина заявила, что фотографию украла у нее из парты... А когда Дора кинулась за помощью к подружкам, все оказались против нее. Даже Галя, самая верная, самая справедливая, сказала, что Дора не имеет права приставать. Что когда она, Галя, выменяла фотографию своей мамы за слоника от брошки, а тот оказался поломанным, она не стала требовать фотографию назад...

— Так ведь то артистка была! Аэлита из кино! — нарушая основы детдомовского этикета, закричала Дора.

После этого случая Нина стала избегать ее. И не только Нина. Похоже было, что фотография ходит по рукам, и тому имелось косвенное подтверждение. Как раз в это время к ним в швейную мастерскую привезли несколько огромных рулонов марли. Девочки сшили себе нарядные платья с пышными юбками, причем оказалось вдруг, что все платья украшены рюшами вокруг шеи и пышными, до пояса, жабо... Дора тоже сшила себе такое платье.

За неделю Дора успокоилась. Ей стало казаться, что не было никакой фотографии, что не было и брата... И все-таки в воскресенье она наряжалась особо тщательно. Ее марлевое платье хрустело от крахмала. Хрустел на затылке огромный бант. Дора боялась, как бы ветер не сломал его, и все касалась озабоченными кончиками пальцев. Свои черные волнистые волосы она причесала по-новому, так что воспитательница Марья Ивановна сказала: «Все девочки сегодня хорошенькие, а Дора — лучше всех». Еще бы, у нее у одной были белые носки — подарок аккомпаниаторши из балетной студии. И галоши у нее были совершенно новые, без единой царапинки! Недаром Дора берегла их всю зиму, почти не носила.

В то утро она как бы не думала о брате. А вместе с тем вся эта красота создавалась отчасти и для него. Дора знала, что ей будет неприятно, если он больше не придет, хотя так было бы проще: не хотелось рассказывать о потерянной фотографии. Но он явился в то же время, что и неделю назад, с той же планшеткой — почему-то она вызвала у Доры отвращение еще большее, чем его горб. Раздражали его хозяйственные движения, то, как он щелкает замком... Но со дна планшетки он вынул сверток, и это оказался кусок пирога из темной муки с редкими

изюминками. Дора переломила его пополам, но не стала спорить, когда Мики отказался от своей половинки.

— Не надо, — улыбнулся он. — Знала бы ты, сколько всего этого было у меня в детстве!

Мики слегка откинулся назад и уставился в даль, не видимую Доре. Сидел, свесив эту свою руку — так, будто сидит не на проходной детдома номер семь, а в той самой Италии, которая была в его жизни точкой сравнения и отсчета.

Странно, но Зародышу, когда он вглядывался в свое Будущее, казалось, что Мики никогда и не уезжал из Италии. Легкий прищур его глаз, умиротворенная, благодарная задумчивость... Он как бы не просто сидел на лавке — он пребывал в щедро дарящем мире. И облупленная гипсовая ваза за его спиной казалась античной амфорой, а гнилые столбы у въезда — римской колоннадой.

Зародыш знал об Италии ровно столько, сколько впоследствии удосужилась узнать Дора. Не много. Но... Как он понимал Мики! Как старался хоть что-нибудь сохранить для Доры из этого чудесного дня! Втискивал, вколачивал в свою непонятно устроенную память плавное беззвучие теплого воздуха между двумя порывами ветра, молчание спокойного моря, его редкие неожиданные всплески, едва уловимое сопение мириад обсыхающих на солнце ракушек, лопотание крыльев двух бабочек, летающих рядом, изгиб и наклон берега, глубину парка, толщину и высоту стволов, хрипение дырявого аккордеона, старческий голос, широко и фальшиво длящий высокую ноту: «O sole mio, o sole mio». Удивленный и недоверчивый голос: «Где ты взял эти деньги, малыш?» — «Мне папа дал, синьор». — «Благослови тебя бог, малыш, твоего папу и твою маму». — «Спасибо, синьор. Вы знаете, синьор, у меня скоро родится сестричка». — «Правда? Вот хорошо, малыш! Ты, конечно, не будешь обижать ее?» — «Что вы, синьор, я буду ее очень любить! Я всегда буду защищать ее!» — «Конечно, малыш, дай бог тебе хорошую сестренку, такую, как ты сам».

Зародыш печально сморщился и помотал головкой. Ах, Мики, Мики! Так оно и было: любил всю жизнь, защищал. Всё-то он видел лишь какую-то собственную реальность, всё-то был сыт пирожными, съеденными в детстве! Он вел себя как счастливцев, вечно виноватый перед обделенной Дорой. У него были пирожные, дом с портретами, родители, бонна, белый костюмчик, пять плюшевых медведей... И он полагал, что Дора, ничего этого не зная, должна страдать больше, чем он, утративший. У него то и дело вырывалось что-нибудь вроде: «Бедная ты моя!» Она! Самая красивая девочка в классе! Отличница в школе и в балетной студии! Председатель совета отряда! У нее платье! У нее галоши блестят ярче, чем любые лакировки! Такая независимая в своем сиротстве. А он все смотрит, все отыскивает в ее лице черты неведомых ей людей: раскосые глаза матери, отцовскую трещинку на нижней губе — все, что хранил с пяти лет, лежа в гипсовом саркофаге, воскрешая и заучивая наизусть свое прошлое. Он, сохранивший под уголком матраца старую записную книжку, бусинку и фотографию матери — оправдывал Дору, себя винил в пропаже фотографии, винил свою торопливость — так что в конце концов и Дора поверила в его вину. Он только спрашивал с этой своей заботливой жалостью: «Ты хоть успела запомнить мамино лицо?» — «Да», — лгала Дора, — «Вот и прекрасно, — радовался он, вглядываясь в ее черные глаза, будто надеясь найти отпечаток фотографии в окружности зрачка. — Это главное! А я-то что! Я маму прекрасно помню! Как она говорила, улыбалась, ходила... Как она шляпку на ветру придерживала. А эта фотография... Я знаю на ней каждую тень! каждую точку! Если бы можно было фотографировать прямо из человеческой памяти! Жаль, что я не умею рисовать! Так ты запомнила?» — «Да», — терпеливо повторяла Дора, видя, как ее попытки вспомнить делают фотографию матери все более нечеткой, и даже блузка ее понемногу превращается в марлеву, и вытягиваются

ноги, которых на фотографии не было, а на ногах этих — белые носки и галоши. И ни разу он не обиделся ни на одну из ее выходок, на эту вечную ее спешку — то репетиция, то совет отряда, то уроки — только подхватывался виновато: «Да, да. У меня тоже срочные дела. Я тут засиделся, извини». Он понимал, чего стоят все эти небольшие хитрости и уловки девочки, привыкшей всегда говорить правду своим высоким, негнувшимся голосом. Знал, как трудно ей преодолевать страх перед его болезнью, и терпеливо объяснял: «Это называется хубус, это не больно и не заразно...»

О том, что болезнь его незаразная, сообщил при первой же встрече. Имя свое назвать забыл, а это нет. Он потом бил себя тонкой кистью по лбу и смеялся: «Как же я, дурак, не подумал! Я-то всегда знал о том, что ты есть и что зовут тебя — Дора!»

Двенадцать лет лежал, постепенно и спокойно осозная, что чуда не будет, что гипсовая оболочка не спасает его, а изменяется вместе с ним, из года в год, повторяя форму все более уродливого тела. Лежал и ждал, когда — все равно уже какой! — встанет и отправится на поиски.

И обнаружит, что не очень-то он ей и нужен.

Впрочем... Надо сказать, что Дора ничего такого не думала. Она была уверена, что защищает брата, когда в своем марлевом платье гонялась за старшими мальчишками, изображавшими горбунов, била кулаками по плечам и царапучим затылкам. Это Зародыш видел многое по-другому и понимал, на кого она злится. Понимал, что не так уж ей необходимо присутствовать на репетиции первомайского концерта с самого начала, если ее номер — коронный — идет почти в конце. Понимал, почему именно в те дни, когда приходит Мики, у нее оказывается слишком много уроков.

Возможно, и Дора поняла бы это — если бы Мики хоть раз показал, что он обижен, что он мог бы и не прийти, что и у него есть свои дела — куда более важные, чем у Доры. Но он всегда был на страже, всегда готов был защитить сестру от любой неловкости, от угрызений совести.

В сознании Зародыша не укладывалось, что между этим днем — днем, когда Мики узнал, что у него скоро родится сестричка, — и тем, когда он впервые увидел ее, прошло всего тринадцать лет. Казалось, между ними лежит провал в целый век. Целый век — между черными галошами Доры и лайковыми ботиночками ее матери. И напрасно Мики пытался приблизить их друг к другу. Дора была сломанной веточкой, воткнутой в землю и пустившей в нее свои прямые крепкие корешки. Так сказал о ней однажды Бронек, в один из дней, когда они ездили вдвоем на остров.

Но Мики не видел этого. Сам-то он в одинаковой степени принадлежал и ушедшему, и наступившему времени, не чувствовал никакого провала. Ему казалась совершенно естественной вся эта цепь событий и превращений. Он не восхищался переродившимся миром, но прекрасно ориентировался в нем. Его практичность порой даже раздражала Дору. Спокойные рассуждения о ремесленном училище, которое он тогда как раз заканчивал. О необходимости продолжать образование. «При моем здоровье нельзя будет долго работать физически. К точным наукам я не способен. Я хотел бы преподавать в школе, но... Горбатый учитель — это нехорошо...» И морщился, будто речь шла не о нем, а о каком-то общем принципе. «Медицина... Есть, конечно, такое предубеждение, что из больных людей получают особо внимательные, знающие врачи... Но боюсь, что это не распространяется на горбатых... Итак, остаются только юриспруденция, нотариат...»

Он знал, что сестре неинтересны все эти мудреные выкладки, а упоминания о горбе просто неприятны, но продолжал надеяться, что таким образом приучит Дору не смущаться, не краснеть так тяжело, едва лишь речь заходит о его болез-

ни. Тщетно. Даже в старости, в аэропорту, когда таможенники стали небрежно осматривать содержимое его сумки и карманов, она ощущала тот же угрюмый прилив крови к щекам, те же стыд и раздражение. Так же краснела она в детдоме, когда по воскресеньям он появлялся на центральной аллее со своей планшеткой... В театре, когда в паузах, скользя взглядом вдоль передних рядов, замечала острое, бледное лицо, очарованно уставленное на нее, будто она главная, будто она единственная...

Конечно, она боролась с собой, конечно, старалась не подавать вида. Терпела комплименты подружек по труппе, считая их лицемерными. «Сразу видно, что твой брат очень умный!» Или еще хуже: «Твой брат такой симпатичный!» И восторги Бронека: «Ну что это за человек такой! Какая во всем порода!»

Впрочем, нет, с Бронек было по-другому. Она очень быстро поняла, что он восхищается Мики вовсе не в угоду ей. Поняла — и смутилась. Она была готова уделить брату кусочек от своего огромного счастья, но выходило, что достается ему гораздо больше, чем она собиралась дать! Слишком велика оказалась роль Мики во всех этих бесконечных разговорах над стаканом коричневого чая в длинной полутемной комнате Бронека. Или под вербами на острове, куда они выезжали по выходным с едой, с одеялами, а позднее — и с маленькой Лизонькой на руках.

Ах, какие это были счастливые воскресенья! Похожие друг на друга, как листья на ветке, как бусинки в ожерелье.

Бронек будил ее на рассвете. Она поднималась с трудом, хмурая собиралась, хмурая ехала в трамвае. И лишь оказавшись у желтенькой лестницы, круто спускающейся к пристани, оживала. Уже на первой деревянной площадочке начинала радоваться, что все-таки проснулась рано. Спускаясь вниз, все больше возбуждалась от запаха реки и гладко расчесанных прибрежных водорослей, от бряцания металлических цепей, от буханья воды между дебаркадером и катером.

Мики всегда ждал их внизу, в самом начале очереди. Плыли они недолго, на давно облюбованный островок, а потом шли вдоль воды по жирному, уползающему из-под босых ног песку — подальше, куда ленились заходить другие пляжники. Сворачивали, брали немного вверх, где за густыми зарослями невысоких верб начинался широкий луг. Там, под деревьями, набрасывали на траву одеяло и падали с наслаждением в прохладную тень. Мики не раздевался, только расстегивал рубаху, удобно откидывался на раздвоенный ствол дерева. Блаженно щурясь, водил глазами вдоль горизонта, и Дора, может быть, не осознавая этого, смотрела на него победоносно. «Ну как? Неужели это не лучше, чем твоя Италия?» И он, тоже взглядом, как бы отвечал ей: «Да, тут прекрасно, прекрасно! Но Италия...» Дора снисходительно усмехалась.

Так весело, так жадно хотелось есть! Дора резала овощи, чистила яйца, разливала по бумажным стаканчикам лимонад... Газовые шарики кололи небо. На зубах поскрипывал песок.

Любая, самая простая еда так навсегда и осталась для Доры праздником. Готовила она как попало, не изошрялась, и ее смешило, когда Мики, запрокинув голову свой острый подбородок и щурясь на голубые бреши среди негустой листвы, разглагольствовал об итальянских пирожных, и казалось, что они плывут над ним по небу вместо облаков. А Бронек слушал внимательно и отзывчиво, будто Мики читал стихи.

Случалось, расходился и сам Бронек, начинал рассказывать о том, как его мать готовила жаркое — то в томате, то с черносливом. Как, возвращаясь из школы, он за полквартала различал среди других запахов запах ее стряпни.

Чуткий Мики, видя Дорино безразличие к этим блужданиям по утраченному прошлому, начинал оправдываться за нее перед Бронек. «Ты понимаешь... Она ведь росла без семьи, без своего дома! Я помню, в детстве для меня даже пере-

езд на новое место был травмой. Только привыкнешь, привяжешься — снова собираем вещи. А у нее ведь и собственных вещей не было!» И они обращали на Дору свои такие разные глаза и смотрели с совершенно одинаковой нежной жалостью. Будто Дора больная или увечная...

Нет, она не обижалась. Разве что где-то внутри шевельнется смешливая досада. Особенно на Мики. Уж кому бы так смотреть на тоненькую, крепко сколоченную Дору! С ее пышными волнистыми волосами, золотистым загаром, длинными, чуть раскосыми глазами, похожими на два листика. Они жалели ее! Мики, понапрасну пролежавший полжизни в гипсе со своими жалкими драгоценностями, спрятанными под матрац... Да ведь это было чудо — то, что он нашел Дору! И чем бы он жил, не свершись это чудо?

А Бронек? Разве не бросил он свою семью со скандалом, с юной жестокостью — ради искусства, ради своих убеждений? Разве не висели у него за спиной тяжким горбом сомнения, угрызения совести? Дора видела один надрыв в этих его воспоминаниях, в бесконечных письмах, которые он с любой оказией отправлял в Польшу.

На письма никто не отвечал, и для Доры так было даже спокойнее: ей не хотелось делить Бронек с какими-то неведомыми родственниками. Они не вызывали в ней ни особого тепла, ни особого любопытства. Иногда Дора пыталась представить себе его родителей, его смешную старенькую бабу, его дом — что-то такое... чопорное, золотисто-коричневое, где Бронек однажды раскружился в блистательном шенэ, широко раскинув свои стремительные руки, и понесся волчком прочь — в Париж, в Берлин, в Лейпциг, в Ригу — и прямо к ней, к Доре, из-за угла, по темному коридору — споткнулся и застыл... с этими руками, будто готовыми для объятий, чуть запыхавшийся, чуть смущенный...

Дора увидела его всего сразу. Он ни на кого не был похож. Как-то по-нездешнему собранный, серьезный... Почти мрачный. Точнее, так: у него было лицо мрачного человека, который, открыв дверь, внезапно обнаружил, что на улице теплая солнечная погода. Станным было все: его кожаная курточка со стоячим воротником и множеством пряжек и ремешков, стальная челка, прикрывающая лоб, которая не только не старила лицо, но прибавляла ему что-то мальчишечье... Дора никогда не встречала таких пристально-светлых глаз. Припухшие подбровья скрывали веки, и от этого казалось, что глаза не моргают.

— Вам куда? — спросил он с легким, очень милым акцентом.

— К Марии Анатольевне.

Он вежливо указал рукой направление. Она благодарно закивала, хотя прекрасно знала, куда ей идти.

У Марии Анатольевны Дора посидела недолго: все беспокоила нелепая мысль, что он еще стоит за дверью с этими своими раскинутыми руками. Наскоро рассказала о том, что жаль было бросать работу в Чугуеве. «Там есть такие девочки — прелесть! Если бы их сюда, к вам! Я, конечно, пыталась работать с ними по вашей системе, не спешила ставить на пуанты... Но эта ужасная директриса... Она во все вмешивалась! Если бы не она, я бы осталась. А так — пошла в обком комсомола и сказала: «Хватит! Я и так отработала два года вместо одного, а теперь хочу перевестись на дневное отделение!» — «Конечно! — подхватила Мария Анатольевна. — Ты способная, ты должна получить полноценное образование! К тому же у тебя брат — больной человек, ты обязана быть рядом. Кстати, как он?» — «Ничего. Закончил институт. Работает юристом в какой-то важной организации». — «Очень, очень милый человек! Ты ему кланяйся».

Дора вышла из кабинета и изумилась: в коридоре никого не было. Правда, когда она зашла к девочкам, там сразу заговорили о нем. «Жаль, что ты ушла! У нас сейчас так интересно! Приняли нового балетмейстера! Он родом из Польши.

Такой талантливый, необычный! Совсем молодой — и уже поседел. Это когда он бежал от фашистов. Он будет ставить «Жизель». А где твой брат? Он совсем перестал ходить в театр. Передай ему привет, скажи, что мы скучаем, что откидной стульчик его ждет!»

Она вышла от девочек, закрыла спиной дверь и замерла. Он снова стоял перед ней — разве что руки не раскинуты. Дора и не видела рук, видела только серые глаза и небрежную россыпь волос, падающих на лоб.

Зародыш так любил этот день — самый странный и, наверное, самый красивый в жизни Доры! К нему все сходилось, от него все разбегалось лучами, как от серединки цветка: цепь немыслимых ощущений и поступков, смена восхитительных картин...

Ах, если бы можно было показать все это Матери! Зародыш напрягался, мучительно и вдохновенно, пытаясь пробиться к ее воображению, вмешаться в ее сны. Но то ли это было невозможно, то ли для Матери настолько обычен был вид пустого темного театра, закулисной мишуры, всех этих фанерных замков и фанерных лебедей, что она все равно приняла бы свои видения за смутное воспоминание об одном из тех театров, где ей доводилось выступать.

Пожалуй что наряд Доры должен был привлечь ее внимание. Такого она, разумеется, не видела нигде — да просто не поверила бы, что девушка может ходить по улице в трикотажной футболочке, белой с синим, и в юбке, едва прикрывающей колени.

Но главное было даже не в юбке. В чем-то другом. Весь облик Доры... Это был облик другого мира, другого времени — чуждый и неприемлемый для Зародыша, который ощущал себя принадлежащим к изящному, утонченному веку своих родителей — пусть и знал он его большей частью по звукам. Нежное и густое шуршание складок, оборок и кружев дорогого белья, шелковистый скрип корсета, все эти шорохи, вздохи, полыхания, скольжения, присвисты хорошо сшитых платьев, тонко звенящих и постукивающих своими пуговками, крючками, украшениями, — говорили Зародышу куда больше, чем фотография, которую он прекрасно знал и всегда мог увидеть. В саду, на растопыренной Дориной ручке. На подоконнике — прислоненную к стакану...

Зародышу было так забавно наблюдать за Дориным восприятием! И в тринадцать, и в восемьдесят лет ей казалось, что это глубокая древность — годы, на которые пришлось недолгая жизнь ее отца и матери. Впрочем, чему тут удивляться, если и Зародыш, который знал куда больше, ощущал почти то же самое. Ему приходилось делать над собой усилие, чтобы принять простую данность: вовсе не сто лет разделяло двух женщин. Ту, что шла по набережной, придерживая нежной ручкой шляпку, с которой морской ветер норовил сдуть газовую пенку — и ту, которая широко ступала по другой набережной, не итальянской, но тоже очень красивой.

Дорога поднималась круто вверх. Зародыша устраивало то, что решили не брать извозчика: тряска в экипаже была одним из самых неприятных для него ощущений. Конечно, ходьба по плохо вымощенным тротуарам тоже не доставляла радости, но Зародыш знал, что скоро они свернут налево, на широкую ровную улицу. Он хорошо ориентировался. В этих местах ему был знаком и приятен голос каждого квартала. Зародыш с удовольствием слушал, как воздух стремится спокойно стечь вниз, к морю, как сырой встречный ветер лениво разворачивает его назад, рассовывает по тесным сонным дворам. Каждый дом по-приятельски здоровался с ним дыханием распахнувшейся двери или открытого окна.

Впрочем, и в незнакомых местах он не чувствовал себя затерявшимся. Уже по разноголосым сквознякам на перекрестке мгновенно определял длину и ширину

квартала, высоту и массивность окружающих зданий. Достаточно было легчайшему ветерку скользнуть вдоль стены — и Зародыш уже знал все о ее форме и фактуре, как если бы прошелся по ней рукой. Тут срабатывало еще нечто, кроме слуха... Все окружающее как бы касалось его издали, чуть-чуть давило. Может быть, поэтому он предпочитал просторные, широко открытые небу улицы. И недолюбливал подъезды и арки, сжимался в комок, ощущая неустойчивость, неуравновешенность нависающих глыб. Или это страх Матери передавался ему?

Конечно, он очень зависел от настроения Матери, от малейших его перепадов. Вот и сейчас, у поворота на площадь, Мать лишь чуть замедлила шаг — а Зародыш уже понял, что она увидела кого-то, с кем не хотела бы встречаться. Это были двое мужчин и молодая женщина. Их шумная радость показалась Зародышу вполне искренней.

Дальше пошли вместе. Дама держала Мать под руку и весело рассказывала ей о какой-то своей неудаче. Один из мужчин приставал к Мики с глупыми расспросами взрослого, не знающего, о чем говорить с ребенком. «Так что же, Мики, это правда, что у тебя скоро будет братик?» — «Сестричка», — уточнил Мики, неуверенный, что это следует обсуждать с посторонним человеком. Но, помолчав, не выдержал и добавил: «Вот. Мы ей обруч уже купили». — «Отличный обруч! — искренне растрогался мужчина. — Я уверен, что ей понравится!» — «Красный — самый красивый! — оживился Мики. — Она будет спать в моей кровати. Там пока медведи спят. А я сплю на большой кровати без сетки». — «Ну вот и прекрасно!» Тут мужчина оказался рядом с Матерью и сказал: «У вас просто эльф, а не ребенок! Я надеюсь как-нибудь написать его портрет. Вот так, как он сейчас стоит: на солнце, в кремовой матросочке. На фоне старого дома. Эти глазки в легкой тени...» — «Для такой картины, — перебила его дама, — нужен хотя бы Эдуард Мане! А ты изуродуешь его своими углами и загогулинами!» Мужчина расхохотался, очень довольный. Чуть позади гудел мягкий голос Отца. «Нет-нет! Мне неудобно вам отказывать... любое одолжение, но не это... Вы же знаете, как я далек от политики! И от всего такого вообще...» — «Мне больше не к кому обратиться, — настаивал другой, тоже низкий, голос. — Это совершенно безопасно! Буквально несколько листов... Никто и не взглянет на них! Выручайте, Яков Михалыч! Вам совершенно нечего бояться!»

Зародыш весь напрягся и дернулся — да так неловко, что Мать весело ойкнула. Как он досадовал на себя за то, что пропустил начало разговора! Не эта ли навязчивая просьба стала причиной краха их семьи? Но разобраться было уже невозможно. Да и зачем, раз все равно ничего нельзя исправить? Какая, собственно, разница, что именно погубило отца: опасная бумажка или сердечный приступ в дороге?

И все-таки... И все-таки Зародыш испытал некоторое облегчение, услышав твердый ответ: «Ничего я не боюсь, но это против всех моих принципов!»

Наконец-то они распрощались. Казалось, что на улице стало тише и покойнее, чем до этой встречи.

— Давай зайдем к синьору Виани. Уже должны быть готовы фотографии.

— Подождите здесь, я сам зайду...

Хлопнула старая, плохо пригнанная дверь. Мики подтянулся поближе к Матери. В отсутствие Отца он чувствовал себя обязанным оберегать ее от всех возможных неприятностей.

— Знаешь, что я еще придумал... — начал Мики. — То ожерелье... Помнишь, оно на балконе порвалось и потом стало коротеньким... Может, оно будет впору сестричке?

— Пожалуй.

Звонкий и легкий голос вился высоко над ними, отдельный, как птичка.

— Я дам тебе свою шкатулку, ты выберешь оттуда все бусинки, а мадам Ларок их нанизает на новую нитку.

— Я сам нанижу, — предложил Мики. — Как раз сегодня вечером, пока вы будете в гостях, я смогу этим заняться. Мадам Ларок вденет мне нитку в иглоку.

— Ну вот видишь, как хорошо. И тебе не будет скучно.

Дверь снова проскрипела.

— Очень удачные снимки! — сказал Отец. — Я заказал таких еще четыре.

— Действительно! Хорошо получилось, — отозвалась Мать. — Надо будет послать такие Фанечке и Шуре.

— Мне тоже нужна такая, — попросил Мики. — Мне тоже подари одну.

— Зачем? — удивилась Мать. — Они у нас общие, как и все остальное. Разве нет?

— Да, конечно, — согласился Мики. — Но я хочу, чтобы одна была только моя.

— Ладно, — сказала Мать удивленно. — Пусть вот эта будут твоя. Только до дома я отнесу ее в сумочке.

— Нет-нет, мама, я сам ее понесу!

— Тогда вот что, — предложил Отец. — Я тоже сделаю тебе подарок.

Он вытащил из кармана совсем новый дорогой блокнот в кожаном переплете с серебряной чайкой, врезанной в верхний угол.

— Положи сюда фотографию, и она у тебя не помнется. А потом сможешь записывать сюда разные вещи.

— Ну что это сегодня за день такой... — воскликнул дрогнувшим голосом Мики. — Счастливый...

Нет! Все-таки не было в Дориной жизни такого дня! Даже в те ее самые лучшие три года, с Бронексом. Не хватало в их любви светлого благоговения, которым был так полон весенний день в Италии. И не этого ли с тайной грустью искал и не находил в их отношениях Мики? Легкая тень разочарования мелькала порой в его взгляде, когда Бронек небрежно обнимал Дору за плечи. Или говорил что-нибудь такое... вроде: «Ты у нас, Дорка, правильная! Как сталинская конституция!» Или еще хуже: «Нет, Миша! Ну какая же Дорка балерина!»

Тут уж Мики начинал горячиться и спорить. «Да ведь ты не видел ее на сцене, Бронек! Ни разу не видел, как она танцует! Если бы комсомол не направил ее в этот дурацкий Чугуев, она уже была бы солисткой! Ты посмотри: кто больше подходит на роль Жизели — она или твоя Соколова?!» «Еще и Жизель! — хохотал Бронек. — Зачем мне видеть, как она танцует? Я вижу, как она огурец режет! как она сарафан снимает! Она у нас прелесть, красotka, но у нее нет мелодии внутри. Понимаешь, Миша, она звенит, как жестяное ведро! Она педагог, Миша, начальник, директор! А ты говоришь — Жизель!»

Мики смотрел на сестру испуганно, будто боялся, что она обидится на Бронекса. А Дора и не думала обижаться. Ну, не нравилась она ему как балерина... Так ведь о себе он говорил и того хуже! И ноги у него не такие, и руки не такие, и голова слишком большая... А Дора смотрела на него и ничего этого не видела. Напротив, она находила, что все в нем необыкновенно складно и обаятельно, и совершенно не понимала, почему он ушел со сцены.

Привычка Бронекса рассуждать о себе как о человеке постороннем — насмешливо, почти язвительно — нравилась Доре, и она эту привычку быстро переняла. Могла с удовольствием заявить, не щадя возвышенных чувств Мики, что-нибудь вроде: «Ой! Я ходила в балетную студию только потому, что там давали дополнительный паек!»

Кстати, о том, что она бросила балет, Дора действительно не жалела. Да, она любила музыку, праздничное сияние спектаклей, но не скучала по театру, по тягомотине репетиций — тем более по ежедневной изнурительной работе у станка.

«Дора, тяни подъем! Дора, прямее спину! Дора, выше подбородок!..» Было ясно, что представляй она для театра существенную ценность, ее не отпустили бы так просто, отстояли бы. Самолюбие ее тоже не было уязвлено: стать в ее возрасте директором детского дома, пусть и небольшого... Такое случалось нечасто. Здесь она чувствовала себя уверенно и на месте. А главное — как бы ни подтрунивал над нею Бронек, Дора знала, что он всегда любит ее. Хотя и было в его странном взгляде столько всего намешано! И восхищение, и жалость, и удивление иностранца — все-таки иностранца, все-таки немножко чужака!

Кстати, Мики пугался еще больше, когда Дора начинала посмеиваться над Бронекком. Ее сместила растерянность, в которую порой повергали Бронекка самые обычные житейские обстоятельства. Вообще-то привыкший к советскому быту, он мог вдруг прийти в негодование от какого-нибудь крючка, сорванного с двери уличной уборной, или от картонной подошвы, протершейся за один вечер. При этом у него появлялся акцент, и голос, вообще-то низкий, к концу каждого предложения доходил до фальцета, взвизывался каким-то забавным вензельком. Дора называла это «гордые польские крендели»... Иногда она выражалась и посильнее. Бронек неизменно хохотал, а Мики искоса поглядывал на него, пытаясь понять, насколько искренен этот смех.

Бедный, бедный Мики, готовый чем угодно пожертвовать ради нее и Бронекки! Но только не их обществом.

Нет-нет, ни разу Дора не подумала, что Мики стесняет их! И вряд ли замечала в себе приятное чувство свободы, которое возникало, когда они с Бронекком уходили к реке вдвоем. Или, позднее, втроем, с Лизочкой.

Мики в воду никогда не заходил. Даже не спускался на пляж. Он оставался «сторожить вещи». Сидел, откинувшись на свою раздвоенную вербу, блаженно уставясь взглядом в прошлое. Дора не спешила возвращаться. Да и Бронек, пожалуй. Купались... Обсыхали прямо на песке, снова шли в воду... И только Лизонька, если была с ними, тащила назад, к Мики. Издали бросалась к нему, прикивала, мокренькая, к неприятной птичьей груди. С самого рождения Лизоньки Дора готовилась прививать ей любовь к уроду-дяде, но это не понадобилось. Вид Мики был привычен ей и ничуть не смущал. Даже наоборот: когда посторонние люди от нечего делать спрашивали хорошенького ребенка: «Кого ты больше любишь: маму или папу?», Лизонька отвечала: «Мишу». И тут же обнимала его, бережно и как-то очень складно.

Доре было известно, что Мики не заразен, но что-то внутри ее опасливо напрягалось. Она бросала тайный вопросительный взгляд на Бронекка, хотя знала, что тот ответит ей демонстративным спокойствием. И поскольку ничего тут нельзя было изменить, раздражалась на ребенка. «Видишь, что ты наделала? Теперь у Миши мокрая рубашка! И будет пятно!» А Мики смотрел виновато... Он-то все понимал и не осуждал ее. Как, впрочем, и в тех случаях, когда она бывала с ним действительно бестактной.

Взять хоть эти ее насмешки по поводу блокнота. Зародыш понимал, что Дора не шутила бы так, если бы Мики объяснил, откуда у него блокнот. И все-таки просто корчился от всех этих неуклюжих острот... «Что вы! Этот блокнот не для адресов! Миша носит его для солидности...» «Это Мишина мебель!» «Вам нужны лавровые листья? Попросите у Миши, у него всегда с собой...» Мики смеялся, очень добродушно, как бы нарочно показывая Бронекку, что тот чего-то здесь просто недопонимает.

Но что понимал сам Мики? Будь он о себе более высокого мнения, он догадался бы, что дело тут в элементарной ревности. Да, Дора ревновала, когда видела, как Бронек смотрит, сощурился, на Мики, сидящего под деревом в одной из своих странных поз, с улыбкой, обращенной к невидимым горизонтам, к вечной своей

Италии, воздух которой он вдохнул когда-то так глубоко, что уже не смог, не захотел выдохнуть, оставил навсегда в своем птичьем горбу, так что хватило на всю жизнь.

«Нет, ты только посмотри на него, Дорка! Откуда столько красоты в каждом движении?» — говорил Бронек с азартным восхищением, глядя, как Мики несколькими четкими рывками поднимается с земли или как ловко взбирается по осыпающемуся склону реки, пронизанному темными волокнами корней, как широко ступает по солнечному лугу, весь в белом, похожий на аиста, ломко нагибается за цветком и протягивает его преданно семяющему рядом ребенку.

Никогда Бронек не смотрел так на Дору.

Господи, как она любила его глаза! Светло-серые, с веками, всегда припухшими, как бывает у человека после долгого сна, и при этом лишенные малейшего налета сонной мути.

Как бы рано ни проснулась Дора, она всегда обнаруживала, что муж лежит, уставясь в потолок, будто созерцает там движущиеся картины.

Собственно, эти картины преследовали его везде и постоянно. Случалось, Дора невольно оборачивалась туда, куда смотрел Бронек, и удивлялась, ничего там не обнаружив. При этом ей казалось, что, в отличие от нее, Мики способен проникать в фантазии Бронек. Может быть, потому, что лицо у Мики становилось такое же, какое она различала когда-то в темноте зрительного зала.

Конечно, ее не могло не задевать и то, что Бронек обсуждает свои замыслы не с нею, пусть даже очень посредственной балериной, а с Мики, который не имел к балету вовсе никакого отношения. Если, разумеется, не считать балетом эти ужасные санаторские танцы. С некоторых пор они стали вызывать у Бронек напряженное любопытство.

Бронек буквально вытягивал из Мики все новые и новые подробности. А Дору почти выворачивало, когда она представляла себе концерты в залах, заставленных кроватями. Закованные в гипс дети, читающие стихи, поющие хором и поодиночке — это еще ничего... Но балет... Можно ли вообразить себе что-то безумнее? Танцы под баян одними руками... Как будто из чего-то мертвого вылезло и закачалось, задергалось что-то живое...

Между тем Мики уверял, что зрелище было просто захватывающее. Одна из воспитательниц собиралась даже поставить целиком «Лебединое озеро»... Затея сорвалась только потому, что у «Одетты» началось осложнение, и ее перевели в больницу.

Мики вспоминал о санаторском «балете» как бы слегка посмеиваясь, но при этом всегда восхищался руками той девочки: «Никогда больше не видел рук таких красивых и выразительных! Действительно, лебеди! Настоящих два лебедя!»

Бронек внимательно слушал. Он лежал, вытянувшись на спине, в тени вербы. Рядом, под хрусткой, заглаженной квадратами простынкой, засыпала Лизонька. С веток падали редкие чистые капли. Лизонька вздрагивала и говорила: «Дождик!»

Пока она спала, все лежали, замерев в случайных позах, будто кем-то оброненные на краю огромного зеленого луга, и тишина стояла такая необыкновенная, что казалось — ее исполняет оркестр.

Потом что-то начинало постепенно меняться. То ли в воздухе, то ли в самой Доре. Она срывала длинную травинку и издала касалась ею тела Бронек, забавляясь тем, как он досадливо смахивает несуществующую муху.

Весь он был такой стройный, ладный. Ветер лениво перебирал темно-серебряную россыпь его волос. Эта ранняя седина так нравилась Доре, так волновала ее! Хотя она уже знала, что переезд Бронек в Россию произошел без всякой романтики. А поседел он неизвестно от чего в четырнадцать лет.

Ужасно хотелось подойти к нему, прижаться, приласкать! Но рядом был Мики, и она просто начинала хлестать Бронек травинкой, чтобы привлечь к себе его внимание. А он, занятый своими мыслями, не отзывался.

Однажды она рассердилась и спросила:

— Что, прикидываешь, как воплотить в театре идею этой сумасшедшей воспитательницы?

Бронек вскинулся и посмотрел на нее удивленно. А потом усмехнулся и сказал:

— Не так это глупо, как ты думаешь. Только ведь никто не даст.

— «Лебединое озеро»? — заинтересовался Мики.

— Нет-нет! Что-нибудь Шопена... Может быть, второй концерт...

Он напел три-четыре ноты, но Дора перебила его.

— Шопен! Шопен! Нет, что ли, других композиторов?

— Есть, конечно. Но это же так естественно! Sam jestem Polakiem i kocham Chopina.²

— Ну какой же ты поляк! — пожала плечами Дора. — Мать у тебя — еврейка, отец — серб, уехал ты из Польши сто лет назад...

— Ну и что? — удивился Бронек. — У Шопена отец — француз. И с матерью его не совсем ясно. Он тоже рано уехал из Польши. И все-таки он — поляк. Он дух Польши! Я думаю, главное — это детство. Вот ты, Мики — ты кто? Итальянец?

Мики задумался как-то очень серьезно.

— Не знаю, поймешь ли ты... Я — горбун. Иногда мне кажется, что это нация.

— Он помолчал и добавил со смехом. — А может быть, даже раса...

Дора закатила глаза и хотела что-то сказать, но Мики тут же перевел разговор на другую тему.

Зародыш слегка сердился на Мики, который поспешил перебить сестру. Было так интересно: что же она могла бы сказать об этом... Она ведь не то что произнести — она еще и подумать ничего не успела, а Мики уже испугался, заранее уверенный, что слова ее обязательно покоробят Броника.

Мики считал, что Бронек не вполне понимает Дору, какое-то ее глубинное изящество и тонкость. Он часто спорил с Броником. Иногда терпеливо, даже чуть свысока, а иногда с горячностью — когда Бронек заводил свое о «мелодии», о прекрасной скрипке без резонатора, или в который раз начинал досадовать из-за утерянной фотографии.

— Это я виноват! — оправдывался Мики. — Надо было снять копию, прежде чем отдать фотографию ребенку.

— Тринадцать лет — не такой уж ребенок! Ты-то сумел сохранить ее! А ведь тебе было всего пять!

— Что же ты сравниваешь! У меня ведь все сложилось совсем по-другому!

Тут Мики начинал разводить уже полную ахинею. О своем необычайном везении, о тепличных условиях, в которых он оказался, угодив в туберкулезный санаторий. О старого типа врачах и учителях, счастливо уцелевших в закутке, не тронутым новыми временами. Он, Мики, попал в естественную для него атмосферу мягкой интеллигентности. А вот Доре, бедненькой, не повезло: ее с самого рождения жестокая судьба втолкнула в жизнь, суровую и бездушную, на неумолимо движущийся конвейер...

— Ты можешь себе представить? — волновался Мики. — Ребенка изо дня в день будит горн! Или горластая тетка открывает дверь и орет «Подъем!» Или «Отбой!» А у ребенка нет даже воспоминаний, не с чем сравнивать!

Доре было смешно. Она знала, что Броника именно это и привлекает в ней: звонкая пустота без воспоминаний. Дора работала в детдоме и сама кричала по утрам «подъем», а по вечерам «отбой». Так же она будила и Лизоньку, сознательно сопротивляясь размягчающему влиянию Мики и Броника.

² Я сам поляк и люблю Шопена. (польск.)

Дора считала себя хорошим педагогом. Она не могла бы сказать, что любит свою работу, потому что это была не работа, а продолжение ее прежней жизни, существующей параллельно с ее жизнью новой. Дора никогда не упоминала при своих воспитанниках о том, что у нее есть ребенок и муж — но не потому, что умышленно избегала этого. Она просто... как бы забывала на время об их существовании. Забывала о том, что у нее есть своя комната, уютные обжитые вещи. Она была абсолютно искренна, когда гордо говорила своим воспитанникам: «Я тоже детдомовка!»

Своим домом, своей семьей она гордилась — и не так, как гордится этим обычная женщина, а как-то именно по-детдомовски, по-сиротски — победно. Как человек, добившийся в жизни чего-то, на что не мог рассчитывать. Почему не мог? Да она просто не поняла бы, если бы кто-то спросил ее об этом. Никогда она не чувствовала себя бедной, обделенной. Да, у нее не было родителей — но она не жалела об этом всерьез. И совершенно искренне недоумевала, когда Мики спешил объяснить любой ее промах тем, что в детстве ее не баловали, не закармливали пирожными, не укачивали под оперные арии. Уж ей-то было хорошо известно, насколько легче живется в детдоме тем, кто не помнит своей семьи.

Однажды к ней в детдом привезли мальчика лет восьми... Это было вскоре после того, как ее назначили директором. Ухоженный ребенок из благополучного дома. Нет, не просто благополучного. Как-то особенно любовно был наглажен воротничок его рубашки, начищены ботиночки... Светлые волосики были зачесаны набок, и казалось, что их мыли по одному.

Он плакал, когда его ввели в кабинет Доры. Плакал, садясь на стул, плакал навзрыд и не отвечал ни на один ее вопрос. Дора, и не заглядывая в документы, знала, что произошло с мальчиком этой ночью... Он был не первый, у кого арестовали родителей, но первый, кто так откровенно и смело предавался своему горю, не принимал ни помощи, ни утешения.

Дора сама принесла ему с кухни обед. Он даже не посмотрел на еду. Тогда она сходила на склад за бельем и постелила тут же, на коротеньком кожаном диване. Он не ложился, так и уснул сидя. Впервые в жизни Дора видела, как плачет спящий человек: всхлипывает, стонет и не просыпается. Она решила, что не пойдет ночевать домой. Бронек уже три дня как уехал на гастроли, с Лизонькой оставалась няня.

Дора села так, чтобы загородить от мальчика свет лампы, и стала разбирать накопившиеся бумаги. В те годы к канцелярской работе стали относиться гораздо серьезнее. Теперь уже нельзя было просто так назваться французом или Дорой Копперфилд.

Заполнив «личное дело» мальчика, Дора заперла его в шкаф. Ключ от этого шкафа она никогда никому не передавала. И не поощряла любопытство своих сотрудников. «Нас не касается, погибли их родители, арестованы или спились. Для нас они все одинаковы, все — сироты».

Она так и не заснула в ту ночь. Глядя в темноту, на завалившегося в угол ребенка, на личико, начинающее остывать и привыкать во сне, Дора думала о том, что вот так же плакал когда-то маленький Мики, возвращаясь из больницы с узелком не принятой еды — пока не выпал спиной на рельсы из переполненного трамвая. Она впервые поняла, что имел в виду Мики, постоянно твердивший: «Мне тогда очень повезло!» Это была конкретная боль, перекрывшая нечто другое, более страшное. То, с чем мальчик, спящий на казенном диванчике, остался наедине.

Доре было неловко смотреть на него. Казалось, вокруг ребенка стоит облачко чьей-то любви, заботы, какого-то неведомого уюта. Она говорила себе, что все это вздор и блажь, а вместе с тем почти видела, как облачко медленно тает, и

думала, что это, наверно, очень больно, и что, слава богу, ей не пришлось такого пережить.

То был один из немногих дней, когда Дора ни одним своим словом, ни одним поступком не разочаровала Зародыша.

И все же чего-то в ней не хватало. Вот этого самого облачка. Зародыш чувствовал точно такое же вокруг себя — оно защищало, грело, ласкало, оно казалось незыблемо надежным. И так грустно было знать, что оно растает, что его никак нельзя сохранить для Доры! И Дора даже не поймет никогда, чего именно была лишена от самого своего рождения.

Зародыш развернулся и замер, напряженно впитывая, вписывая в себя звуки дома. Рядом, за неплотно прикрытой дверью, чуть слышно посапывая, спал Мики. Отец, полулежа на диване, читал газету, стараясь не шуметь хрусткими листами. Кряхтела курица в сарае на заднем дворе... Кухарка чистила толченым кирпичом кофейник. Всхлипывала мадам Ларок, растроганная теплой надписью на подаренной фотографии. Били колокола на Санта-Тринита, били часы в гостиной, били часы на первом этаже, били часы в домах напротив, чуть не совпадая в своем представлении о времени. Неподвижные листья терпеливо ждали ветерка.

Мать стояла у окна, глядя на яркий солнечный свет, насквозь пронизывающий дворик, и счастье, осязаемое и материальное, как звон или жар, разрасталось в ней, искало выхода, вибрировало в груди, напрягало горло щемящей мелодией. Вроде бы несложной, вроде бы не грустной...

Зародыш знал, что эта мелодия ни разу не прозвучит в длинной Дориной жизни. Ее не будет ни на одной из пластинок Бронек, ни в одном из «радиоконцертов по заявкам», которые Дора Яковлевна так любила до глубокой старости. Эта мелодия ни разу не донесется из окон музучилища, мимо которого Дора Яковлевна ходила на работу.

Зародыш страшно напрягся в еще одной безнадежной попытке вынести эту мелодию в будущее, в сознание маленькой Доры, засыпающей под блеклым одеяльцем с черной печатью «Детдом N 1». Попытка пробиться к ней изнутри и снаружи, уверенный, что в личике этого ребенка сразу прибавилось бы рассеянной мягкости, добродушной неуверенности, ироничной несерьезности, которых так недоставало Доре взрослой. Но пробиться не удавалось. Возможно, из-за ночного буханья и воя, из-за грохота идущих навстречу друг другу поездов, из-за вокзального крика — всего, что взметнул над Дориной жизнью первый год войны. Все это стояло над ее восьмьюдесятью двумя годами, заглушая, делая почти неслышными детскую песенку, сладкий полет оркестра, скороговорку невыключаемого телевизора — так что Дора Яковлевна всю жизнь казалась глуховатой при своих совершенно здоровых ушах. А, может, людей вводил в заблуждение ровный негнущийся голос. Или неумение расслышать чью-то недосказанную мысль. «Да не мямлите же, — требовала Дора Яковлевна, — говорите прямо!»

Больше всего доставалось от нее Мики. Он-то как раз и не умел прямо. Всегда и во всем сомневался. Боялся быть назойливым, вмешиваться в чужие дела. Да и что он мог сказать ясно? Что он знал такого, чего бы не знали все? Он тоже полагал, что если война и начнется, то где-то далеко, как это было с Финляндией. А неясные предчувствия... Так именно Доре он и не мог сказать: «Мне как-то тяжело. Не хочется, чтобы Бронек ехал во Львов. Да еще с ребенком». Будь Дора другой, она бы все это увидела на его лице, услышала в голосе, как ясно видел и слышал это Зародыш.

У Доры были другие проблемы. Она привыкла к тому, что они с Бронек как бы одни в мире. Как бы оба сироты. И вдруг оказывается, что две старухи, о которых столько рассказывал Бронек, живут себе по старому адресу, во Львове, а в этот Львов, хотя он и стал уже советским, нельзя взять да и поехать просто

так, и приходится бегать по разным учреждениям, добиваться какого-то дурацкого пропуска, а беспомощные старухи не понимают, почему Бронек медлит, и забрасывают его письмами на чужом языке, которые Бронек читает как-то отдельно от нее...

Доре не хотелось, чтобы Бронек разглядел в ней эту ревность, и потому она поддерживала его, даже чересчур горячо. Помогала заполнять бумажки, искала подарки... А главное — сама предложила ему взять с собой Лизоньку.

Бронек не просил об этом, и предложение Доры его растрогало и удивило. Не то чтобы до этого Дора не доверяла ему ребенка: просто он сам неуверенно чувствовал себя, оставаясь наедине с Лизонькой. Боялся, что она может ушибиться, простыть, съесть что-нибудь не то.

Сама Дора вела себя с ребенком как-то очень смело, почти легкомысленно. Давала дочке грызть пирожки, купленные на улице, позволяла ей лазить где хочется, не прятала от нее ножницы и вилки. И ничего плохого не случалось. Пирожки не вредили Лизоньке, она редко простужалась. Споткнувшись, с ангельской медлительной мягкостью опускалась на попку и лишь оглядывалась удивленно.

Несомненно, Лизонька была очень легким ребенком. Но Дора не говорила Бронеку: «Не бойся, ты запросто с ней справишься. Она может есть то же, что и ты. Одна ночь — и вы на месте». Она говорила: «Ты представляешь, какая это будет для них радость?!»

Знала, чем пронять! Но даже в самом конце, перед отходом поезда, Бронек был готов отдать ей ребенка. Возможно, из-за Мики: какой-то он был в тот день уклончивый и усталый. Бронек посматривал на Мики вопросительно, будто ждал именно от него окончательного решения.

Мики потом всю жизнь казнил себя за ту неуместную деликатность, вечно жался... «Я должен был прямо сказать: “Сейчас неподходящее время для поездок. Тем более с ребенком... Со дня на день может начаться война...” А я, дурак, боялся вмешиваться...»

Дора, слушая его, неизменно молчала, глядя в пол — хотя и помнила прекрасно тот день, видела его не хуже, чем Зародыш. Пристальный и умоляющий взгляд Мики. Лизоньку, привычно прилипшую к дядиной птичьей груди. Помнила, как с веселым упрямством расцепила ее ручки. Слышала смущенный лепет брата: «Может, не нужно...» Он тогда еще что-то сказал — когда поезд уже дернуло, качнуло с лязгом. Бронек в окошке указывал на них растерявшейся Лизоньке и махал ее крошечной ладошкой.

Дора прошла с ними рядом несколько шагов, пока поезд набирал скорость, и отстала. Странно, что впоследствии именно это вызывало в ней особую, почти невыносимую досаду: ведь могла пробежать еще немного, еще несколько секунд видеть их в окне!

То был чистенький поезд, на веселом солнечном вокзале. Через неделю, на том же месте, в неразберихе, в крике, Дору мотала из стороны в сторону ходящая водоворотами толпа. Дора не сопротивлялась. Поезда с запада прорывались все реже. Никто не знал, на какой путь их примут. Не было уже никакого расписания. Чаще всего составы проходили, не останавливаясь. Дора смотрела в окна, до ломоты напрягала глаза. Зачем-то выкрикивала им вслед имя Бронек. Кому-то помогала перетаскивать вещи, кому-то задавала нелепые вопросы. Говорили, что поезда в дороге страшно бомбят, что во Львове уже хозяйничают немцы. Но она каждый день вырывалась с работы, чтобы забежать домой и прямо оттуда — на вокзал. Трамваев стало меньше, они часто застревали среди улицы. Тогда она шла вдоль колеи, не замечая ни воя сирен, ни тарахтения зениток. Что-то грохотало, жутко и неправдоподобно, как грозовые раскаты в погожий день.

В театре почти никого уже не было. Стараясь не смотреть Доре в лицо, ей предлагали эвакуироваться с очередной группой. Она отвечала, что боится разминуться с Бронексом, что без нее он не справится с ребенком и двумя старухами.

В горно с ней говорили откровенно. Что оставаться здесь бессмысленно, что Бронек, если ему удалось вырваться из Львова, уже на востоке — и что Дора обязана выехать с детьми, как только подадут транспорт. Тем более что ее уже назначили ответственной за эвакуацию восьми детдомов. «Вы справитесь. Вы молодая, энергичная. Знаете свое дело. Да и нет никого больше, кроме вас и Коли Степаненко! Все вывозят свои семьи...» — «А у меня — не семья?!» — выкрикивала в ответ Дора. И Зародыш слышал, как в ее голосе звучит все меньше уверенности.

Что-то менялось в Доре. Ее жизнь, описав фантастическую петлю короткого счастья, возвращалась к точке пересечения, чтобы продолжить прямую линию сиротства. Дора окончательно перебралась в детдом. Она больше не чувствовала себя директором, она была одной из многих, принадлежала единому организму, полному упрямого желания выжить, и делала все, что для этого требовалось, потому что была старше всех и сильнее. Это раньше ей можно было не бояться бомбежек, а теперь нельзя, потому что ее муравейник боялся и вздрагивал в гигантских подвалах туберкулезного санатория. И Дора говорила звонким негнущимся голосом, пробивающимся сквозь все шумы и грохоты, спасительным и отрадным, как свежая вода: «Ничего страшного, ребята! Это только кажется, что бомбы падают рядом! Просто дом стоит на горе. Потерпите! Дошкольников уже увезли! Через два дня нас отправят по Днепру на пароходе».

Бегала по учреждениям, требовала, стучала кулаком, и комсомольский вожак Коля Степаненко носился за ней, преданный, как апостол, пытаясь перенять на ходу ее сиротскую наглость, беззвучно, одними губами, повторяя каждое ее слово. «Мы не можем взять детей без сопровождения врача!» — «Нет врачей! Подберете где-нибудь по дороге!» — «Как это “подберу”?! Что я, увижу его в окошко и остановлю поезд?»

Зародыш с удивлением вслушивался в Дорин уверенный голос. Голос, который перешибал чужой страх, чужое безразличие. Голос, за которым со слепым старанием шаркал, перетекал из переулка в переулок молчаливый поток, теснясь к стенам, прячась в предательских остатках утренней тени, через пустеющий город, безумно огрызающийся последними зенитками, готовый принять свою новую судьбу. Тек с муравьиным упорством Дорин детдом, согнутый под тяжестью рюкзачков, в которых стучали друг о друга, отмечая каждый шаг, миска, кружка и ложка, засунутые поверх белья, зимнего костюма, пальто и ботинок, из которых не следовало вырастать... И по такому же приглушенному рокоту Дора знала, что еще один поток приближается к ним справа, со стороны центра. Громыкали на тележках жестяные короба с нелепыми продуктами, которые в спешке выдали Доре на кондитерской фабрике, и настырные осы ходили роями вокруг них, будто надеялись отбить свое добро. И страшно было, что этот осиный гул помешает вовремя различить дальний гул самолетов... как уже случилось, когда первый раз пытались добраться к пристани. И солнце поднималось как-то быстрее, чем обычно, и досадно было, что не решились разбудить детей еще раньше, и все это напоминало Доре что-то давнее. Какое-то нелепое ожидание радости набегало с порывами ветерка, но у нее не было ни желания, ни возможности разбираться в этом. Она не узнавала привычное место, потому что обычно подходила к нему со стороны трамвая. Да и площадь перед пристанью была неузнаваема: из конца в конец ее заполняла толпа давящих друг друга людей. И упершись в эту толпу, в ее визг, вой и брань, Дорины муравьи остановились,

застыли в тесном переулке. «Пропустите, пропустите детей!» — надрывался сорванный голос где-то слева. «У нас тоже дети!» — отзывались полные обреченной злобы женские голоса. «Ваши дети с вами, а мы везем сирот! Товарищи, проявите сознательность! Сироты! Поймите! Это транспорт для детских домов!»

Дора бросилась назад, в загустевшую мешанину детских лиц, неразличимых из-за общего выражения уверенности в ее могуществе и в своем собственном праве на жизнь... застучала в какие-то двери, завертела твердым пальцем телефонный разболтанный диск, закричала в трубку: «Срочно примите меры! Нам срывают эвакуацию!» Она ненавидела эту толпу на пристани так же, как ее зажатые в переулке сироты, — и почувствовала себя так, будто одержала победу над каким-то чудовищем, когда толпа, теснимая прибывшими на грузовике солдатами, раздалась на две стороны, оставив прямо перед Дорой просторный коридор, через который тут же дохнуло в лицо знакомыми запахами реки, и стали видны перила пристани... вербы, белая полосочка песка на левом берегу, стало слышно буханье дебаркадера, так что на какую-то секунду она удивилась тому, что Мики не стоит на своем обычном месте.

Детские ноги захрустели песком на деревянной лестнице. «Детдом номер восемь! — выкрикивала Дора. — На посадку! Спокойно! Без паники!» Она стояла на квадратной площадке, где обычно стоял контролер, и торопливо проставляла галочки в списке. «Детдом номер двенадцать! Товарищи провожающие, не задерживайтесь на пароходах!»

Зеленые мешочки мелькали перед глазами Доры, подпрыгивая и толкая друг друга, скатывались вниз на причал.

Дора спустилась последней. Звенели цепи, ерзали под ногами скользкие мостки, пахло нагретой смолой и резиной... Пароход попятился от причала, развернулся и поплыл вниз по течению. Дору чуть затошнило, и снова мелькнула в голове какая-то блажь, что вот, мол, снова поздно выехали, по жаре... Но тут же она очнулась — и как-то разом увидела удаляющийся берег: пыльную зелень августа, разбитый чемодан, повисшую на колючих кустах одежду, и на фоне белого неба — людей, все еще напуганных зачем-то на железные перила... Теперь это не была уже враждебная, ненавистная толпа — она распалась на отдельных мужчин и женщин, и ей необычайно четко был виден каждый, со своим страхом, со своим нежеланием смириться. Казалось, за эти несколько минут она запомнила их на всю жизнь. Но Зародыш знал, что уже к вечеру ей начнет мерещиться в этой толпе Бронек, а на следующее утро она точно вспомнит, что разглядела его лицо и услышала его голос: «Пожалуйста! Возьмите хотя бы ребенка!»

Дора говорила себе, что этих людей не бросят, что за ними пришлют дополнительный транспорт. Какие-нибудь баржи... Их много попадалось по дороге. Были даже самодельные плоты.

Где-то на полпути к Днепропетровску они догнали спокойно плывущую по течению цепочку покореженных обломков — доски, обрывки тряпья... По каким-то приметам Коля Степаненко решил, что это один из кораблей, на которых отправляли дошкольников. Он велел Доре увести детей с палубы, да и самой запретил смотреть. Но обломки еще долго тянулись за ними, будто не хотели отставать от низки празднично-белых корабликов.

Зародыш старался не задерживать свое внимание на том августе, лучезарном и солнечном. Из-за Матери. Он все-таки не был вполне уверен в том, что ее сознание надежно защищено от всех этих плывущих обломков, от надрывных воплей поездов, которые несутся с грохотом от лета к осени, от вокзала к вокзалу... Особенно смущали его те мгновения, когда два состава, торопящихся — один на восток, другой на запад, — чиркнув всей своей длиной друг о друга, как бы зависали в остановившемся времени. Ему казалось, что именно в такие мгно-

вения происходят прорывы, выбросы из будущего в прошлое, которые могут омрачить счастливые дни его Матери. Не так их много оставалось.

Наверно, самым страшным на этом пути были временные пристанища. Брошенные и разграбленные здания: школа с выбитыми окнами, дом культуры с огромными картинами по стенам и необозримыми загаженными паркетными полами. И каждый раз они, Дора и ее муравьи, принимались скоблить и скрести, уверенные в том, что уж на этот раз здесь и останутся. Любовно выкладывали вдоль стен ряды соломенных лежанок, сушили на кустах и заборах черные сиротские трусы и голубые майки.

Дольше всего они прожили в шахтерском санатории — белоснежном дворце с огромным парком и виноградником на пологом склоне. Таких сладких, таких драгоценно красивых ягод Дора не видела никогда в жизни, так что даже она ненадолго поддавалась жадному возбуждению этого случайного праздника. И когда через две недели ее разбудил знакомый звук дальнего обстрела, Дора долго не могла заставить себя подняться, не могла поверить, что сейчас все начнется сначала: торопливые сборы, беготня по кабинетам, таким одинаковым, с бумагами под ногами, с вывернутыми ящиками... Но она, конечно же, пошла, храбрая и наглая от отсутствия личной корысти, юная Дора Яковлевна, на которую присмирившая детдомовская вольница возложила обязанность добиваться и спасать, и командовать группкой растерянных помощников. Сами почти дети, эти помощники с изумлением слушали, как Дора Яковлевна отчитывает пожилых неприступных начальников, с восхищением смотрели, как она перепрыгивает широкими легкими прыжками Жизели из вагона в вагон, и бросались за ней, не глядя вниз на мелькающие шпалы. Заглядывали в лицо, как студенты заглядывают в лицо профессору: «Вы считаете, это не корь, Дора Яковлевна? Да, действительно, есть вши, Дора Яковлевна! — И светлели от радости. — А мы, дураки, испугались! Подумали, что корь!»

И всему этому бесконечному эшелону принадлежали ее длинные, чуть раскосые глаза, и волнистые черные волосы, и редкостной белизны зубы, которые она азартно скалила, пролезая, согнувшись, под вагонами, с платформы на платформу. Бежала вдоль составов и, задыхаясь, выкрикивала: «Товарищи бойцы, нам нечем кормить детей!» От одной распахнутой площадки — к другой, под бесшабашный топот солдатских сапог, под хриплые разливы наезжающих друг на друга гармошек, под неуклюжие шутки мужчин, уходящих на смерть. «Товарищи бойцы, помогите, чем можете! Нам нечем кормить детей!»

И будто подтверждая ее слова, смотрели на солдат детские лица, прижавшиеся к десяткам нечистых окон запертых вагонов. Следили за тем, как падают на платформу коричневые бумажные мешки, как набирает скорость внезапно тронувшийся эшелон, как поднятый им ветер рвет на Доре Яковлевне старенькое платье и старается затянуть ее под колеса вместе с прижатыми к груди сухарями.

Хруст сухарей... У Зародыша от него стягивало кожу. Ненавистный звук! Еще более невыносимый, чем крик голодных младенцев — тех, что на одной из станций в суতোлке отступления наспех погрузили в Дорин поезд, как тучки с бьющимся грузом, — без еды, без запасных пеленок — и забрали только через четыре дня.

Но ничего этого Мать не слышала — слава богу, не слышала. Она стояла у окна, выходящего в сад. Треугольник солнечного света с нежным шорохом подбирался к ее руке, лежащей на подоконнике. Было так тихо и спокойно, как бывает днем в доме, где спит ребенок. Тише тишины. А редкий шорох отцовской газеты и тайный ропот диванных пружин под тяжелым телом как-то особо подчеркивали этот покой.

— Может, ты все же прилегла бы? Еще есть время.

Она помотала головой, не покидая взглядом сада.

— Я не устала. Пожалуй, мы выйдем пораньше, чтоб не опаздывать. А до конца оставаться не будем.

— Как хочешь.

— Слушай, — сказала Мать, — не помнишь случайно, что это за мелодия?

И она запела легким приглушенным голосом.

— Н-не знаю... Шуберт? А, может, Шопен?

— Похоже, но как-то не совсем... Я уже просмотрела все мазурки и вальсы...

— Бывает такое. Привяжется мелодия — и ни за что не вспомнишь, откуда она.

— Я думаю, это поет наша девочка, — сказала Мать. — Эта мелодия... она меня все время переполняет, с тех пор, как я забеременела. Особенно утром. Или когда подойдешь к окну. Такое счастье! Никогда раньше такого не было!

Зародыш замер. Он вдруг поверил, что так оно и есть. Что он действительно — источник, центр немыслимого счастья, которое заливает, переполняет окружающий мир. Это противоречило здравому смыслу, противоречило всему, что он знал о себе и об этом мире. Но сейчас для него имело значение только одно. «Мы все живы. Мы все существуем рядом. Я. Моя мать. Мой отец. Мой брат. И даже — о Господи! — Бронек... Он не только уже родился, он — взрослый мальчик, школьник. И как раз в это мгновение что-то делает, с кем-то говорит, ходит, дышит...»

Зародыш не знал точно, где в это время должен находиться Бронек, но ему казалось, что это вовсе не так уж далеко, что он ясно ощущает его присутствие в мире. Чуть ли не его дыхание.

— Какой красивый день! — продолжала Мать. — И свет какой-то необычайный! Будто сегодня все пойдет по-другому! Без ночи, без вечера...

Зародыш даже задохнулся — так хотелось ему хоть на секунду увидеть этот день... Он слышал, как свет, едва заметно меняя направление, проникает все глубже в комнату, соскользая с одних предметов на другие, будто легчайшая ткань. Ничего, ничего подобного в Дориной жизни не было.

Совсем рядом, неуклюже спланировав, упала газета Отца, громко скрипнул диван, опустились на пол ноги и двинулись в разные стороны за домашними туфлями. Отец встал, и дом едва уловимо дрогнул. Скрипнула тяжелая мебель, будто устроилась поудобнее. Зародыш невольно дернулся навстречу Отцу.

— Ты чего дерешься? — с притворной обидой прикрикнула на него Мать.

Зародыш почувствовал ее руку и благодарно потерся о ладонь. Отец приблизился. Приближался весь стройный шум его жизни, величественный, как шум леса и водопада, так красиво сливающийся с нежным шумом жизни Матери и слабеньким тиканьем Зародыша. Отец обнял Мать сзади и стал тихонько покачивать ее, будто баюкал ребенка:

— Ах ты моя фантазерка! Вот увидишь, родится у нас мальчишка-хулиган. Ну и пусть! Какая нам разница!

Она отрицательно помахивала головой и повторяла про себя, одними выдохами и легкой вибрацией нёба: «Не-ет, ты девочка, конечно же, ты девочка... Ты мой звонкий колокольчик! Совсем не такая, как твой братик. Он у нас немножко плакса и трусишка, но ведь ты будешь любить его и защищать, даром что он старше...»

— В чем ты пойдешь? — спросил Отец.

— В синем платье. Если оно еще годится на меня.

Зародышу было жаль, что умолк этот голос, направленный к нему изнутри.

— В крайнем случае надену лиловое. Вообще, боюсь, мне пора заняться своим гардеробом.

Зародыш поморщился. Ему уже довелось побывать у портнихи, и это было одно из самых неприятных его впечатлений. Он вообще не любил близости чужого тела. За исключением Отца и Мики. А портниха к тому же трогала и поворачивала Мать,

что было просто нестерпимо. Все раздражало: и звон булавок, и сиплое от усердия дыхание, и терпкий скрежет мела, тянущего ткань...

Собственно, и сам процесс переодевания был не слишком приятен Зародышу. Его стеснял туго затянутый корсет. Еще хуже были туфли на высоких неустойчивых каблучках, лишаящие чувства покойной надежности.

Впрочем, на этот раз Зародыш был настолько занят своими мыслями, что почти не замечал мелких неудобств. Он все обдумывал слова, сказанные Матерью. Было так грустно и стыдно — оттого, что Дора не оправдала ее надежд. Зародыш лежал, понуро свернувшись, и старался не напоминать о себе. Так нашаливший ребенок, проступок которого еще не обнаружен, избегает матери и страдает от ее ласк и похвал.

И все-таки Зародыш был несправедлив к Доре. Да, она не стала для Мики сестрой-защитницей. Но разве она не сделала в своей жизни гораздо больше? Она вывезла из горящего города сотни сирот, и сколько еще детей подобрала на станциях, заблудившихся, отставших от поездов, брошенных на произвол судьбы! Разве не могла она настоять на своем, проводить до парохода этот молчаливый поток одинаковых коричневых костюмчиков, горбатых рюкзачков — и уйти домой, чтобы ждать там возвращения мужа и ребенка? И спасти их. Или погибнуть с ними вместе. Или не дожидаться их и погибнуть одной. Во всяком случае, быстро. Но Дора была человеком правильным, и математика ее была проста: тысяча детей — это в тысячу раз важнее, чем одно дитя, пусть даже такое дорогое и ненаглядное, как ее Лизонька. И она боролась за каждую из этой тысячи жизней еще и оттого, что любая потеря сделала бы ее жертву менее оправданной.

Возможно, Зародыш не мог оценить эту жертву, поскольку ему с самого начала было известно, что Бронек не вернулся в Киев, что не было его на днепровской пристани, в толпе, теснимой на две стороны солдатами. Не было на бесконечных станциях среди тех, перед кем Дора захлопывала двери своего сиротского поезда. Не было в очередях, покорно пропускавших Дориных сирот в станционные столовые, откуда шел вызывающий слезы нетерпения запах теплой каши.

Но Дора, Дора-то этого не знала! И каждый раз, когда униженная, враждебная толпа оставалась позади, темнела и расплывалась — ложная память с подлой готовностью подставляла в ее гуцу два лица.

Надо сказать, что судьба была к Доре невысказанно добра. За год пути она не похоронила, не потеряла ни одного ребенка. Ее длинный поезд каким-то чудом миновали инфекционные болезни, от которых гибли дети по дороге на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию. Она чувствовала себя победительницей в тот день, когда вела по Ташкенту длинную колонну детдомовцев. Подросших, отвыкших ходить по твердой земле, жалких в своей обветшалой одежде и развалившейся обуви. Дора очень устала, но каждый шаг доставлял ей удовольствие. Волновали незнакомые запахи чужого жилья, теплой пыли, цветущих деревьев. Дору ждали, никто не старался от нее избавиться — наоборот, каждый спешил ей чем-то помочь. Детей накормили и уложили спать прямо на земле, на снесенных со всего города коврах.

Спящие на земле дети... это было зрелище, от которого не веяло ни покоем, ни умиротворением. Двое суток они не просыпались и лежали, как брошенные на поле боя мертвецы, и все двое суток Дора не смыкала глаз, и не отпускала домой врача, который тщетно старался ее успокоить. А потом они стали шевелиться, то в одном, то в другом конце двора, и врач не давал Доре будить спящих, а у нее не было терпения ждать, она боялась, что кто-нибудь из них не проснется, а это было бы просто чудовищно: здесь, на теплой земле, не ведавшей, что такое налет или обстрел, после всех ужасов дороги!

Дора чувствовала себя ответственной за каждого из этих детей даже тогда, когда их разделили на несколько больших групп и развезли по разным городам. И она ничуть не удивилась, когда где-то через год получила письмо из Намангана, от Гали Шаломеевой. Эта девочка, которую Дора не помнила в лицо, обратилась за помощью именно к ней, а не к кому-нибудь из киевских воспитателей, сопровождавших Галин детдом из Ташкента в Наманган. Едва дочитав эти несколько строк, в которых пугающе просто говорилось о немыслимых вещах, Дора привычно ринулась по кабинетам — и уже через пять дней оказалась в Намангане.

Из одиннадцати детей, умерших за зиму в наманганском детском доме, Дориных было двое, но ей почему-то казалось, что все одиннадцать погибли по ее недосмотру, что это она легкомысленно передоверила их всех кому-то чужому, ненадежному. И Доре не было странно, когда с разных концов огромного восточного двора бросились ей навстречу дети, по большей части местные, черноглазые. Своих она узнавала по остаткам одежды, которую получила на складе перед самой эвакуацией. У остальных не было и того. Истертые в паутину трусы не прикрывали наготы, хрупкие восточные косточки выглядели особенно жалко. Тесня друг друга, они протискивались к ней, по-детски страстно жаловались на директора, почему-то уверенные, что теперь его можно не бояться. Она не все понимала в этой смеси налезающих друг на друга русских и узбекских слов — что-то о женах директора, которые ходят сюда за мукой, о русских любовницах, с которыми он пирует по ночам в красном уголке... Ей показывали дырявые тюфяки, набитые соломой и утратившие цвет от грязи, тащили в изолятор, где на сдвинутых вплотную кроватях малярия трясла лежащих валетом желтых, стриженных налысо... то ли мальчиков, то ли девочек. Ее заставили заглянуть в окна директорского кабинета, увешанного и застланного коврами, с посеребренным бюстом Сталина, перед которым лежала на блюде тугая, невиданных размеров виноградная гроздь. Рядом на другом блюде светилась нарезанная длинными ломтями дыня. Ее аромат казался голодной Доре сильным, как запах одеколона. А с другой стороны двора уже тянуло пряным дымком и наглой роскошью спешно затеянного плова.

Все это — и дыня, и плов — предназначалось для нее, для Доры, хотя никто толком не понял, в чем заключается ее миссия и каковы ее полномочия. Ради нее директор гонял суетливых поваров. Он издали поглядывал на Дору с искренней симпатией к ее молодости, обаянию, раскосым глазам. Барственный красавец с парализующе ласковым взглядом, он никак не мог понять, почему Дора в ответ на его гостеприимство стучит своим кулачком по столу, так что ломти дыни съезжают с блюда на скатерть. Почему, запинаясь от ярости, несет какой-то бред о плывущих по реке обломках, о муке, смешанной с водой, о младенцах, для которых жевали сухари, о какой-то площади, застеленной коврами...

— А вы! А вы! — задыхалась Дора. — Уморили голодом! Так и знайте: я вас посажу!

Зародыш чувствовал, как жирный, невыносимо-пряный запах плова густеет, заполняет все вокруг, склеивает легкие.

Нет, не имел он права прервать свою жизнь, оставить Дорин поезд без предводительницы. И не так уж преувеличивала старенькая Дора Яковлевна, утверждая, что без нее этот поезд не дошел бы и до середины пути. Застрял бы где-нибудь под Ростовом, рассеялся и пропал. И уж во всяком случае пропали бы те, кого она избавила от радужного вора, который и не догадывался о том, что он вор, не понимал, за что взъелась на него миловидная девчонка в короткой юбке — ведь он так быстро и споро организовал для нее прием... Не понимал, почему плачут люди в зале суда, выслушивая то, что она уже откричала, отхрипела в его кабинете. Какой Диккенс? Какой Оливер Твист? Не понимал. Хотя на суде она говорила куда

разборчивее. Почти спокойно. Снова обломки, снова младенцы, снова солдаты, бросающие на ходу сухари... «Мы же сутками не выпускали их из вагонов, мучили их в духоте, чтобы ни один не отстал случайно, если тронется поезд! Мы же довозил сюда всех, всех до одного! Мы же думали, что спасли их!»

Директор обводил зал тяжелым от мигрени взглядом и думал, что, по-видимому, слишком слабо владеет русским языком. Ему казалось: Дору больше всего возмущает то, что его детдом не бомбили. На это он и напирал в своем заключительном слове — и еще на то, что почти все умершие дети были местные... А предостерегающие гримасы москвича-адвоката директор оставлял без внимания. Ему хотелось одного: поскорее уйти из этого зала и никогда больше не слышать голоса Доры. Звонкого, с каким-то странным надломным дребезжанием внутри.

Этот голос утомлял и Зародыша. Он напоминал ему другой невыносимый звук — лязганье ведер, которые верный Дорин помощник, незаменимый Коля Степаненко мастерил из жестяных коробок с надписью «патока».

Из душного зала Дора вышла на такую же душную маленькую площадь. Решение суда ее разочаровало. Она была еще слишком молоденькая для того, чтобы понимать, как это много — пять лет. Рядом шел Коля, развернувшись бочком так, чтобы заслонить от нее трех растерянных женщин — по всей вероятности, тех самых жен директора, которые ходили в детдом за мукой. Они что-то робко выговаривали Доре вслед и указывали на своих напуганных детей. Зародыш знал, что Дора их все-таки заметила — и что эти смуглые неяркие лица, эти широкие черные платья с радужными вертикальными полосами будут следовать за Дорой по жизни так же, как обломки парохода, как толпа, напиральная на запертую дверь ее вагона, как отданная за надкушенный хлеб фотография... И все-таки, все-таки считал ее жесткой, нечуткой. Не верил говорящему взгляду Мики, у которого за любой фразой, за любым словом, обращенным к сестре, скрывалась вечная, главная мысль: «Ты все прекрасно понимаешь, ты только зачем-то хочешь казаться такой...»

Почему Дора всю жизнь стремилась противостоять этому взгляду? Что хотела доказать, от чего защищалась? Почему неизменно отвечала притворной непроницаемой ясностью? Конечно же, притворной. Пускай не все, но многое она действительно понимала. Понимала, когда на праздничном летнем вокзале забирала у Мики Лизочку, обеими ручками обнимающую его за шею... Понимала его скромную невысказанную мольбу: «Может, все-таки не посылать ребенка с Бронеком?» И виноватое заверение: «Ты не думай, тебя она любит больше!» И это вечное: «Не волнуйся, ты же знаешь, что я не заразный...»

А уж тогда, когда нашла брата в Ташкенте, в грязной больничной палате — она и сама заговорила глазами не хуже, чем Мики.

Это произошло через несколько месяцев после того, как длинный Дорин поезд прибыл, наконец, к месту назначения и распался на отдельные детдома. И они с верным Николаем остались при своих ста одиннадцати, каждого из которых знали по имени и в лицо, и чем он переболел, и чего от него можно ждать. Сто одиннадцать — было уже почти по силам, почти нормально. Главное — небо не грозило больше бомбежкой, а вместо тяжко вихляющего пола, вместо ревматически лязгающего металла под ногами была твердая и глухая земля. И лишь телу, привыкшему удерживать равновесие, ногам, привыкшим перепрыгивать несущуюся навстречу пустоту, было странно и неловко приспособливаться к наступившему покою. Да еще пространство вокруг казалось излишним — того и гляди унесет куда-то вбок.

Работы было очень много. Дора сама вела бухгалтерию, приводила в порядок обносившуюся за год одежду, воевала со вшами, ходила со старшими мальчиш-

ками ловить черепах (сама она есть их так и не научилась), добивалась разрешения использовать под тетради конторские книги. Целую гору этих книг бросила организация, которую выселили из двух длинных приземистых флигелей, чтобы освободить место для детдома. Там же Доре выделили закуток, гордо названный «кабинетом». В нем она и жила.

Дора как раз стояла у окна, когда принесли письмо от Мики. Почтальонша через калитку отдала его девочке, и Дора видела, как та бежит через переполненный солнцем двор, бежит и машет белым конвертом, похожим издали на маленького голубя. Если бы Дора сама взяла у почтальонши письмо, она сразу узнала бы почерк Мики. Но девочка бежала так долго... и так радостно... А главное — сразу по приезде Дора направила письмо в Бугуруслан³ и каждый день ждала ответа... Она, разумеется, запрашивала данные и о брате, так что при других обстоятельствах была бы рада. Но... девочка так бежала, так махала, что она успела столько всего предположить...

А Мики писал о том, как долго ее разыскивал. Что уже не надеялся найти. Дора, прекрасно знавшая манеру брата никогда не высказываться прямо, прочла это письмо примерно так: «Я уже год посылаю запросы во все инстанции. О Бронке и Лизочке никаких сведений нет. Но ведь и о тебе целый год не было никаких сведений — так что у нас еще остается надежда...»

Снова Мики нашел ее — и снова она была разочарована. Почти без интереса прочла о том, как он эвакуировался со своим главком, и как был поражен, узнав, что сестра, оказывается, живет совсем рядом, в том же Ташкенте, в нескольких кварталах ходьбы... И не прибежал он к ней только потому, что слегка приболел.

Уже через час Дора шла по городу в своем лучшем платье, в том, что было куплено к свадьбе. С лицом почти таким же красивым и решительным, с каким она входила в кабинеты железнодорожного начальства. Однако в общегитии Доре сказали, что накануне вечером Мики отвезли в больницу, потому что у него отнялись ноги. Дора сразу же направилась туда.

Посетителей не принимали, но пожилая медсестра провела ее по темному коридору, велела подождать и исчезла в палате. Узкая щель, оставленная ею, не прибавила в коридоре света, но мгновенно наполнила его горячим воздухом, тяжелым от скисшего мужского пота. Дважды прорвался и смолк режущий ухо длинный вскрик... или визг. Не мужской, не детский. Доре вспомнилось вычитанное где-то: «крик раненого зайца». Почему-то она была уверена, что кричал Мики. Доре захотелось сейчас же уйти, но она пересилила себя и на зов медсестры вошла в палату, спокойная, даже с улыбкой на лице.

Мики лежал в самом дальнем и самом темном углу, и Дора сначала не уловила на той кровати очертаний человеческого тела: ей показалось, что туда в беспорядке свалены какие-то подушки, тряпки... Потом она увидела острый задранный подбородок, запрокинутую голову, сияющую подняться ей навстречу, угол глаза с пристальным говорящим зрачком.

Все так же улыбаясь, Дора пробиравась между кроватями и думала о том, что впервые видит брата лежащим — и как, оказывается, ему неудобно и трудно лежать! Она издали отыскивала, как бы собирала в единое целое его длинные ноги, нелепо торчащую вбок треугольную грудь, облепленную огромной взмокшей больничной рубахой.

Дора вздрогнула. Она вспомнила, как дочь, уточнив деликатно «Лиза любит маму!», соскользала с ее коленей, прикинула к этой самой груди и щурила самозабвенно глазки...

³ В годы войны в Бугуруслане располагалось Центральное справочное бюро по розыску эвакуированных.

Мики все это видел. И хотя говорили они о чем-то совсем другом, приличествующем случаю, — смотрел он на нее так, будто только что она на всю палату сказала: «Теперь ты понимаешь, что не должен был позволять ребенку прижиматься к себе?» — «Но меня уверяли, что я совершенно не заразен! — взглядом оправдывался Мики. — Врачи считают, что этот процесс начался от здешной жары и недоедания. А я больше года не был в контакте с ребенком!» — «Откуда мы знаем, что сейчас с ребенком?» — тоже взглядом перебивала она, будто главной опасностью для ребенка был этот самый злосчастный туберкулез. Поразительно, но она испытывала при этом что-то вроде удовлетворения, какое доставлял ей любой промах Мики, любая его вина, настоящая или кажущаяся.

Впрочем, всё это были даже не мысли. Скорее — какие-то тени мыслей. А слова и действия Доры были правильные. И Мики впоследствии не так уж сильно преувеличивал, повторяя, что спасла его сестра — хотя, конечно, спас его ленинградский профессор Фогель, рискнувший сделать операцию. Но и Дора была на высоте, так что даже Зародышу почти не к чему было придраться. Его корбила лишь спокойная готовность, с которой Дора принимала благодарность Мики. Все-таки в самый тяжелый, в самый ответственный момент ее не было рядом: как раз прибыло письмо из Намангана, и Дора выехала туда. Справедливо ли было винить ее в том, что в Намангане она почти не вспоминала о брате? Но Зародышу стыдно было слышать голос стареющей Доры Яковлевны, из года в год набирающий тайную горечь. «Я вытащила его из могилы...» И за этим всегда маячило некое: «а он...»

Нет, никогда у нее не было ясной мысли, что вот, дескать, Мики предал ее, женившись на Соне. Или предал Лизочку, став отцом... Но эта дребезжащая глубина в голосе, когда она произносила: «Он женился как раз после моего возвращения из Львова...»

У Зародыша мельтешило в мозгу от фразы, повторенной сто раз в учительской, в больничной палате, в купе поезда, на лавочке в парке, в приемной зубного протезиста: «И вот я приезжаю из Львова, где мне сообщили, что мой муж и ребенок погибли, а он меня встречает радостной новостью: “Поздравь меня, я жёнуюсь!”»

Зародыш видел, как с годами эта нескладница обретает все более устойчивую, незыблемую форму, хотя, спроси кто-нибудь Дору, в каком году она ездила во Львов, Дора, несомненно, ответила бы, что в сорок седьмом, что раньше туда попасть было невозможно.

В сорок седьмом... Прошло почти два года после окончания войны, и давно уже не было у них никакой надежды. К тому времени даже Мики перестал посылать свои бессмысленные запросы в Бугуруслан, в Москву, в Международный Красный Крест. Дора надеялась лишь узнать какие-нибудь подробности, взглянуть на дом Бронек.

Дом она нашла. И он не вызвал в ней никаких особых чувств. На лавочке у входа сидели три женщины. Дора подошла к ним. И они очень просто, как о самом обыкновенном деле, рассказали ей о том, что Бронек — с ребенком, больной матерью и выжившей из ума бабкой — не смог вырваться из города. «Когда ваших стали забирать, он договорился тут с одной соседкой, что оставит у нее дочку. Но дите страшно кричало, и пришлось взять ее с собой. Вы не огорчайтесь, все равно бы кто-то донес».

Женщины смотрели на Дору выжидающе: вот сейчас она заплачет, и тогда станет ясно, как себя вести: уговаривать ее, давать воду, валерьянку, усаживать на скамейку... Но Дора стояла перед ними, прямая, с лицом, лишенным всякого выражения, даже вопросов не задавала.

Погода была пасмурная, но ясная. За спиной у Доры, в соседнем доме, кто-то разучивал второй концерт Шопена, без конца повторяя один и тот же пассаж.

Именно тот, который Бронек так часто насвистывал. Казалось, время застряло в одной точке и никак не может переступить в следующую минуту. Дора невольно оглянулась, искала глазами окно.

— Это не ваш рояль, — строго заметила одна из женщин.

По тому, как она сложила губы, было ясно, что женщина не собирается рассказывать, где сейчас находится «Дорин» рояль. Соседки ее явно одобряли.

Дора была чужая, и ее появление всех откровенно тяготило. К ней несколько потеплели лишь тогда, когда поняли, что ее ничуть не заботят ни вещи, ни квартира. И все же настоящего, человеческого сочувствия она в них не вызывала.

Издали Доре показали соседку, которая согласилась взять к себе Лизочку. Сухая, несимпатичная старуха шла куда-то с ведром... Спросили, не хочет ли Дора с ней поговорить. Дора не хотела. Она вдруг испугалась, что услышит что-то такое, с чем станет еще труднее жить дальше. Дора уже смирилась с тем, что Бронек нет, но невыносимо было бы узнать, что перед смертью его как-то унижали. Тащили, толкали, может быть, раздели...

Дора еле заставила себя спросить, где их похоронили.

— Куда свозили с тюрьмы на Лонского? — обратилась к соседкам одна из женщин.

Те переглянулись, пожали плечами.

— Может, в Янов? — предположил кто-то неуверенно.

— Да нет, Яновский — это уже потом...

— Это далеко? — спросила Дора. — Как туда добираться?

— Да чего вам туда ехать? Ничего там нет. Ровная земля, песок серый...

Дора постояла еще немного и уехала на вокзал. На следующий день она вышла на работу.

Что же касается Мики и его женитьбы, то произошло это еще год спустя, о чем Дора тоже, конечно, помнила. Откуда же взялось это несправедливое раздражение? Почему Зародыша просто преследовал тихий недобрый шелест? «И вот возвращаюсь я из Львова...» Так хотелось ему выдрать из Дориной жизни, как страницы из ветхой книги, все эти сцены, разговоры с намеками! «Конечно, у него были свои интересы, свои устремления...»

Дора будто прощала Мики, но введенные в заблуждение попутчицы, соседки по палате, участковые врачи осуждали брата-эгоиста. Как минимум за поспешность.

Поспешность... Да если бы Мики видел, что способен хоть как-то заполнить пустоту Дориной жизни, он никогда не женился бы, не отнял бы у сестры ни крошки своего внимания, своего времени! Но Дора превращала брата — с его болезнью, с постоянной угрозой обострения — в тяжкий долг, в мрачный смысл своего существования. Конечно, у нее была еще работа — но как-то отдельно, сама в себе. А Мики хотелось, чтобы Дора жила, чтобы Дора была счастлива. Он понимал, как трудно ей принять нечто взамен Броньки и Лизоньки. Хуже того, ему самому было почти невыносимо представить себе рядом с Дорой другого мужчину и другого ребенка. Но он надеялся на молодость Доры, на то, что жизнь — хочешь или не хочешь — продолжается, а память слабеет. Оттого и отказался он, вернувшись в Киев, поселиться с Дорой, в ее длинной и темноватой, но сухой комнате. Снял угол — у старика-пьяницы, зато совсем рядом с Дорой, так что каждый вечер, возвращаясь с работы, он забегал к ней. Ненадолго.

Мики даже не раздевался. Садился на диван. Полы его расстегнутого пальто, довольно дорогого по тем временам, резко изламывались какими-то неожиданно изящными складками. Дышал свежестью раздвинутый шарф. Вызывающе красиво выглядели длинные ноги — одна присогнутая, другая выставленная вперед. И бледная кисть, как бы случайно забытая, свисала совсем уж картинно на фоне

темных наутюженных брюк. Доре так и слышался голос Бронек: «Нет! Ну откуда в человеке столько изящества!» И она снова испытывала что-то вроде той давнишней досады на мужа. Что-то такое, непонятное... Будто Бронек, восхищаясь ее братом, подбивает Мики оставаться горбуном и уродом. Будто в угоду Бронек Мики мог бы и переиначить свое прошлое... Не поехать тогда на трамвае, опоздать, к примеру. Или решить добираться домой пешком. И не надвинулся бы лоб на эти чудесные глаза, не заострился бы нос, не растянулись губы. И не было бы этого утомительного множества налагающихся друг на друга смыслов: «Я все вижу. Я знаю, что тебя раздражает даже мое пальто. Но это неважно, это мелочи. Ты совсем другая. Я-то лучше знаю, какая ты на самом деле!»

А Зародыш любовался Мики и думал, что ему вовсе не хочется, чтобы тот был каким-то другим. Высоким стройным красавцем. Или пусть бы их было двое. Еще неизвестно, кого из них предпочла бы Соня, будь у нее выбор.

В отличие от Доры — да и от самого Мики — Зародыш вовсе не считал, что Соня вышла замуж исключительно из-за своего отчаянного положения. Ну да, только что закончилась война. Мужчин осталось мало. Действительно, Соня голодала. И ей было очень трудно жить в одной комнате с отцом, замужней сестрой и племянниками. А Мики к тому времени занимал не по годам высокую должность. Он получил красивую комнатку с балконом в общей квартире. Но напрасно Дора так легко согласилась с точкой зрения брата.

— Меня познакомили с милой девушкой, — начал Мики, глядя на свое колено. — Она очень нуждается и не имеет собственного угла. Разумеется, при других обстоятельствах я не мог бы и мечтать о такой жене. Но что поделаешь... — Он как-то горестно и сочувственно повел головой. — Она согласна. В конце концов, я хороший юрист. И не подлец. Я хотел бы знать твое мнение. — И он посмотрел, наконец, прямо на Дору.

И Дора без труда различила все три не высказанных им мысли.

«Я хочу, чтобы ты была свободна и счастлива». «Эта девушка мне действительно нравится». «Мне стыдно — но я все-таки мужчина, и мне это нужно. Впрочем, если ты против...»

— Почему я должна быть против? — пожала плечами Дора. — Ты взрослый человек. Поступай так, как находишь нужным.

Она не утруждалась придать своему спокойствию доброжелательный вид, изобразить что-то вроде робкой радостной надежды. Дора видела, что решение уже принято, и не обижалась. В конце концов — разве она советовалась с ним, когда встретила Бронек?

На фоне фантастического романа, начавшегося со стремительного шенэ в темном коридоре оперного театра, женитьба Мики выглядела для Доры сделкой, тщательно обдуманной со всех сторон. И все-таки — как это странно! Неужели она не понимала, что Мики не мог говорить о себе иначе? Почему она как бы соглашалась с ним своим молчанием? Ведь ей было прекрасно известно, что есть в нем множество достоинств — и главное вовсе не то, что он «хороший юрист»! Человек, который познакомил Соню с Мики, наверняка перечислил ей по крайней мере часть этих достоинств. Вряд ли Соня согласилась бы знакомиться с мужчиной лишь на том основании, что он обеспечен и «не подлец». Так что Дора была несправедлива и к Соне, и к Мики, полагая, что он «купил себе жену за теплую комнату и тарелку супа».

Если бы Зародыш мог стереть из жизни Доры эту фразу, повторенную вслух! Как она саднила ему совесть! Сводила на нет все лучшее, что сделала в эти годы Дора.

Каждый день она выезжала на работу в половине шестого утра и добиралась туда с тремя пересадками. Детдом, где она работала до войны, был разрушен, и новые Дорины сироты теперь ютились в фанерных летних домиках бывшего пионерлагеря, очень ненадежных, почти игрушечных. Правда, лес вокруг был необычайно красив. Дети, по большей части подростки, пережившие оккупацию, кое-как одетые, вечно голодные, научившиеся побираться и подворовывать в ближних селах и на базарах, не вызывали в Доре привычного теплого чувства. Она больше не была одной из них. Приходилось себя пересиливать. Дни сменяли друг друга, тяжелые и скучные. Дора проживала их с тем же упрямым безразличием, с каким каждый день ела детдомовский гороховый суп — жидкий, отдающий мешковиной и плесенью. Другой еды не было. Не было одежды, постелей, тетрадей. Дора знала, что ничего этого действительно нет, и взять негде, но все равно делала то, что привыкла делать: ходила по кабинетам, стучала кулаком... Уже не такая молоденькая, не такая хорошенькая. Отяжелевшая Жизель... От окошка к окошку, от начальника к начальнику, со склада — в милицию. Вызволяла своих малолетних воришек и шулеров, врывается в полуразваленные халупы, тащила за руки своих полуголых беглецов, давила каблуком их самокрутки, выливая водку — а потом, как ни в чем не бывало, собирала на утреннюю линейку, на урок ручного труда, на репетицию, хлопала в ладоши, отбивая такт гопака... Ах, как они неслись по поляне, Дорины казаки, как грохотали по сухой земле твердыми пятками, выбивая серую пыль! Как, не жалея себя, бросались навзничь! набок! в последнюю секунду успе-вая подставить ловкую ладонь! Даром, что вместо музыки был осипший Дорин голос, а вместо красных шаровар — трусы из когда-то черного сатина. «Ничего-ничего! — азартно кричала Дора Яковлевна, не переставая хлопать в ладоши. — К октябрьским праздникам все достанем! Сорочки! Сапоги! Баян!»

«И думаете, я не добилась? Думаете, мы не заняли первое место на городском смотре?!»

Этот рефрен умилял Зародыша. По нему легко было отыскивать светлые минуты скучной старости Доры Яковлевны.

Концерты, яркие костюмы, роскошные грамоты, скромненькие подарки, яростное соперничество с другими детдомами, репетиции на поляне под соснами, лихое гиканье — только это впоследствии и осталось в памяти Доры Яковлевны, оттесняя назад и делая почти невидимым все другое, нудное, уродливое, чем приходилось жить изо дня в день. И объясняя себе или другим, как это она решилась уйти с привычной работы, Дора Яковлевна напирала исключительно на свои разногласия с начальством.

Разногласия действительно были. Дора Яковлевна считала, что для новых, послевоенных воспитанников прежние методы работы не годятся. И держать взрослых детей и малышей в одном коллективе не только не件лезно, а просто вредно.

Но Зародыш видел одновременно всё и не мог подправлять свое будущее — подобно тому, как Дора Яковлевна с помощью выборочно слабеющей памяти подправляла свое прошлое. Поэтому он знал, что дело обстоит куда прозаичнее. Просто Доре Яковлевне надоело ездить на работу тремя транспортами, а школа, в которую она устроилась преподавательницей русской литературы, находилась в двух шагах от дома.

К тому времени у Доры Яковлевны уже начались проблемы с ногами. Болели стопы, болели тазобедренные суставы. Так она расплачивалась за недолгий блеск сцены, за пуанты неважного качества, за гранд жетэ из вагона в вагон.

Мики возил ее на консультации к известным хирургам, ортопедам, гомеопатам. Он сам платил, сам рассказывал, что беспокоит Дору, особенно напирая на благородное происхождение болезни.

— Видите ли, доктор... — начинал он своим аккуратным, как у диктора, голосом, пока Дора за ширмой спускала чулки. — Моя сестра — балерина, у нее — анкилоз...

Дора молчала, не вносила уточнений. Благодаря этой болезни — мучительной, уродующей ноги — она снова чувствовала себя балериной. Будто над жизнью ее прочертили циркулем полукруг. От юности, от «Лебединого озера» — до содовых ванночек, компрессов и массажа. И втирая в кожу пчелиный яд, она снова испытывала давно забытое артистическое волнение. Морщилась от боли с горделивым аристократизмом. Ничего подобного не воскрешали в ней ни отчаянные детдомовские пляски, ни тем более балетный кружок, который она организовала в школе.

Двадцать рублей дополнительно к зарплате — вот единственное, что давал Доре Яковлевне этот кружок. Мальчики туда ходить стеснялись, да и девочкам быстро надоедал «вальс цветов» или «танец снежинок». Слабенькие домашние дети боялись поцарапаться или ударить коленку. Дора Яковлевна скучала и даже не очень заботилась о том, чтобы это скрывать.

Собственно, и преподавание литературы не доставляло ей особой радости. Из года в год с изнурительным воодушевлением повторять одно и то же — о Базарове, об Онегине... Она несколько приободрилась было в шестидесятые годы, когда вошло в моду высказывать собственные мысли и отступать от истин, изложенных в школьных учебниках. Но оказалось, что особых противоречий с учебниками у нее как бы и нет. И вся вольность, которую она себе позволила, заключалась в том, что Дора Яковлевна стала рассуждать о литературных героях так, будто речь идет о соседях или родственниках. Иногда на уроке она расходилась почти как сплетница на коммунальной кухне. Особенно доставалось от нее Наташе Ростовой — и не столько за историю с Курагиным, сколько за то, что едва потеряв жениха, Наташа тут же вышла замуж за его друга. «Женщина глубокая, действительно благородная, отказала бы Пьеру и была бы всю жизнь верна памяти такого человека, как князь Андрей!»

Слушая Дору Яковлевну, ученики догадывались, что она сравнивает судьбу Наташи со своей собственной судьбой.

Если быть справедливым до конца, то никакому такому Пьеру Безухову она не отказала. Разве что верному, порядочному, невзрачному Николаю — да ведь и тот так никогда и не отважился поговорить с ней напрямик. А те мужчины, с которыми ее неуклюже знакомили сотрудники и соседи, были во всех отношениях хуже Николая. Кстати, никто из них не проявил особой настойчивости. И это странно, поскольку Дора действительно была неглупа и хороша собой.

В любом случае Мики сильно преувеличивал, без конца повторяя с благоговением: «Она столько раз могла устроить свою жизнь, но не захотела...» Зародыш сердился на Мики, ибо видел, как Дора, сперва пропускавшая слова брата мимо ушей, на старости повторяла их без зазрения совести. И вдобавок еще с особым нажимом, будто в укор Мики: дескать, она, Дора, не изменила памяти Броньки, а он, Мики, изменил.

В чем, собственно, она видела измену? Или сам Мики наводил ее на эту мысль? Он постоянно вел себя с сестрой так, будто старался загладить какую-то вину. Точно так же вела себя и Соня. И даже их ребенок...

Каждое воскресенье они проводили вчетвером. Это нисколько не напоминало те веселые выходные с вылазками на остров, которых когда-то ждали всю неделю. О реке, о катерах даже не упоминали. В воскресенье с утра занимались домашними делами, а в час дня Мики с женой и сыном отправлялся в гости к Доре. С трюфельным тортом и какой-нибудь дорогой селедкой или колбасой. А то и с зажаренной дома курицей. Яшеньку, племянника, Дора встречала с неизменно шумной радостью, с ясным, энергичным лицом, какое бывало у нее на работе. Для Мики и Сони существовало другое выражение лица, поверх детской головки. Не

то чтобы неприветливое... «Ну что ж... Вы надеетесь отвлечь меня от моих мрачных мыслей, и я готова вам немного подыграть...»

Она отправлялась на кухню и ставила на огонь начищенную заранее картошку. Соня шла за нею. В кухонных хлопотах напряжение ослабевало. Затем садились за стол. Хвалили селедку. Отчего-то всем было слегка неловко, что она оказалась удачной.

Чай пили подолгу. Обсуждали международное положение. «Может, ты приляжешь? — предлагала брату Дора. — Я достану подушки». И Мики всегда отказывался. Он садился у окна с журналом. Надевал очки. Соня искала, что бы починить, укоротить или удлинить для Доры. Мыть посуду Дора никому не разрешала. В квартире у нее было очень чисто, даже слишком, как в каком-нибудь солидном учреждении. Мальчик часами возил по полу машинку и гудел с монотонным напором.

— Яшенька! Иди сюда! Покажи мне, как ты читаешь.

Малыш поднимался с пола и без раздражения бубнил по складам что-то из сборника сказок, который Дора держала в доме специально для него. Яшенька был покорен и прост, очень под стать этим длинным воскресным дням.

— Жи-ла бы-ла де-воч-ка... Ее зва-ли...

— Обними тетю, — говорила Дора. — Покажи, как ты ее любишь.

И Яшенька со спокойной готовностью обнимал. Мики отрывался от журнала, смотрел поверх очков своими длинными говорящими глазами. «Да. Это не Лизочка. Прости. Но таких ведь и не бывает...» И Дора отвечала ему строгим выражением лица. «А я и не ждала никакой замены Лизочке. Я принимаю этого ребенка таким, каков он есть, ни с кем его не сравниваю. Не смотрю на него, как на неудавшийся пирог. Потому он и любит меня больше, чем тебя».

Зародыш видел, что Дора несколько переоценивает Яшину привязанность к себе. Да, он никогда не обнимал отца, но если бы тот попросил, обнял бы с той же готовностью, что и тетку. Да, он оставался у нее ночевать, но не потому, что она читала ему на ночь, не потому, что специально для него держала в морозилке мороженое и позволяла есть один за другим соленые огурцы. А потому, что так устроен мир: нужно оставаться у Доры на ночь, когда она просит.

И шла эта жизнь, год за годом. Яша рос, не меняя ее распорядка. Ну, разве что вместо мороженого — поздний матч по телевизору. Дора понемножку седела и раздавалась книзу. У Мики углублялись морщины возле рта. А Соня так и вовсе не менялась. Ее миловидное печальное личико всегда выглядело немножко детским. Крошечный носик, крошечный горестный ротик, застенчивые круглые глазки. Издали могло показаться, что это высокая девочка в тяжелой коричневой шубе, с шерстяным ажурным шарфиком на темной курчавой головке, по-взрослому причесанной, идет рядом с длинноногим, хорошо одетым горбуном. Чуть позади плелся мальчик... Поравнявшись с Дориными окнами, они останавливались и махали ей на прощанье. Дора смотрела им вслед, пока они не садились в трамвай. Она видела, как мальчик, взрослея, старается все дальше держаться от родителей. Ей было больно, что Яша стыдится отца, но она не осуждала его: помнила себя в детстве и свои ощущения при появлении Мики.

А вот кого она осуждала — так это Соноу. Постоянно жаловалась на нее. Соседям, сотрудникам в учительской, а позднее — и вовсе незнакомым людям. «Никто не заставляет ее выходить замуж за больного человека! — говорила Дора Яковлевна с невесть откуда взявшейся еврейской горечью в интонации. — Но если уж ты вышла — что ты ходишь с кислой миной, как будто хочешь всем показать, что тебя выдали за него насильно?!»

Тихая мягкая Соня чувствовала Дорино раздражение, но полагала, что всему виной трагедии, которые обрушились на Дору с самого рождения. Она бы не поверила, скажи ей кто-нибудь, что Дора ее недолюбливает. Не поняла бы, за что.

Ведь Соня-то никогда не думала, что «продала себя за тарелку супа». Ее горестная гримаска вовсе не означала, что вот, мол, ей, молодой и красивой, пришлось выйти замуж за калеку. Означала она другое: «мой муж тяжело болен, и я могу в любую минуту остаться вдовой так же, как бедная Дора». Более того: отчасти это вечное выражение Сониного лица относилось лично к Доре, к ее несчастной судьбе, которую Соня считала тесно связанной со своею собственной.

Соня знала историю Дориной жизни со слов Мики. При желании она могла бы составить себе реальное представление о том, что за чем следовало и как все было на самом деле. Но ей это было не нужно. В погибшем прошлом ей мерещились лишь сказочный блеск и обаяние, которые и сам Мики, возможно, несколько приукрашивал в своих воспоминаниях. Соня восхищалась Италией, гордилась родителями мужа, любила Бронек, обожала Лизочку. Скромненькая балетная карьера Доры казалась ей блестящей и прервавшейся исключительно из-за войны. «Понимаете, — вздыхала Соня, — она была прекрасной балериной! Танцевала в оперном театре! Но после гибели мужа не смогла туда вернуться. Он ведь был балетмейстером, и ей там все о нем напоминало!»

Бедная, милая Соня! Как она спешила выключить радио, когда оттуда доносилась музыка Шопена! Что-то видела по Дориному лицу? Улавливала каким-то десятым чувством, что этого нельзя, не надо? Хотя Дора не только ей — никому вообще не рассказывала, что не может слышать Шопена. С годами ее ревность к Польше, ко всему польскому переросла почти что в ненависть. Ей казалось, что с помощью этой музыки, чересчур соблазнительной, чересчур красивой, две полуживые старухи заманили Бронек к себе, в серый, неприветливый город, в неудобный дом — и погубили его, утащили за собой в землю, в гигантскую свалку необмытых, неужоженных тел.

Тяжелее всего было слышать Второй концерт. Тот, который когда-то мечтал поставить Бронек, воодушевленный больничными воспоминаниями Мики. Стоило ей услышать два-три такта — и в воображении возникала ровная земля, серый песок, сквозь который прорастают сотни человеческих рук, танцующих под эту музыку, слаженно и податливо следующих за ней.

Ничего этого не могла знать Соня. Но при первых же звуках какой-нибудь мажурки или вальса вскакивала, переключала программу, а то и вовсе выдергивала штепсель, неумело изображая при этом головную боль.

А Дора до самой смерти толковала про суп, про теплую комнату... Медсестрам из Красного Креста, которые два раза в неделю приносили ей хлеб, молоко и творог. Свидетелям Иеговы, которые просвещали ее относительно приближения конца света.

О своей молодости она рассказывала лишь особо доверенным. И то как-то неохотно — причем пользовалась почему-то словами и выражениями Мики. Это было естественно, когда речь шла об Италии и о родителях. Но точно так же она говорила о балете, о Бронке, о Лизочке, будто и об этом обо всем узнала от брата. Может быть, потому, что в его изложении все выглядело как-то намного значительнее, красивее.

С ней явно происходило нечто странное. Дора Яковлевна помнила каждую мелочь, каждую минуту своего недолгого счастья — и вместе с тем с некоторых пор ей приходилось чуть ли не внушать себе: «да, все это было, все это действительно происходило со мной». Что-то съехало в ней, потеряло устойчивость. Ей стало трудно говорить о муже, о дочери: казалось, люди притворяются, будто верят ей, а на самом деле знают, что это всего лишь сиротская детдомовская байка, вроде отца-комиссара и боевой подружки-матери. Кстати, весь этот вздор, созданный когда-то наивной детской фантазией и вроде бы давно забытый, почему-то вдруг воскрес и засуществовал не менее реально, чем Бронек и Лизонька. И что смущало Дору Яковлевну больше всего: вскрикивая от боли, вздыхая от

одинокости, прося жалости, она мысленно обращалась не к своим настоящим родителям, а к этим, выдуманным.

Иногда, опасаясь, что недоверие слушателей вот-вот прорвется откровенной ухмылкой или даже смехом, — как это случалось с подружками в детдоме, — Дора Яковлевна спешила достать из ящика большую красивую фотографию Броньки, которую Мики разыскал после войны в архивах оперного театра. У нее хранились и два любительских снимка Лизоньки, но их Дора Яковлевна никому не показывала: снимки эти отчего-то покрылись сиреневыми и желтыми пятнами и на них почти ничего нельзя было разобрать.

В театральной программке — единственной, которая сохранилась у Доры — как назло, отвалился угол, где была напечатана ее фамилия. И Дора Яковлевна старалась компенсировать эту утрату, демонстрируя гостям искалеченные пуантами ноги...

Уверенной она становилась лишь тогда, когда речь заходила о войне, о поезде, о плывущих обломках. Хотя обломков становилось все больше, в поезде все прибавлялось вагонов. Дети спали на коврах уже не двое, а трое суток, и росло количество жен и любовниц у директора Наманганского детдома...

Дора Яковлевна не собиралась никому ничего доказывать. И утерянное письмо той самой девочки, Гали Шаломеевой, принималась искать только потому, что вспоминала о нем и надеялась, что на этот раз оно найдется.

Зародыш с грустью наблюдал за тем, как раз за разом Дора Яковлевна вываливает из письменного стола, из комода, из тумбочки кучи старых бумаг и ненужных вещей. И в который раз досадовал, что никак не может ей помочь. Он-то видел, как Дора Яковлевна, на следующий день после отъезда брата, перечитывает Галино письмо в последний раз. Как укладывает его в конверт вместе с фотографиями Мики, Сони, Яши. Как засовывает туда же записную книжку Мики и четыре лавровых листика, которые он когда-то запалял между двух прозрачных пластинок на выставке американской пластмассы. Как заворачивает пакет в голубую клеенку и все это прячет за швейную машину, пылящуюся на шкафу.

Зародыш не мог понять, почему Мики не рассказал сестре, что старая записная книжка — подарок Отца. Почему не объяснил, что это за лавровые листики. Досаднее всего было то, что ничего о них не знал и сам Зародыш.

Можно было лишь удивляться тому, что Дора, совершенно не склонная к сантиментам, отнеслась вполне уважительно к странному наследству брата. Сразу же по возвращении из аэропорта она внимательно пролистала записную книжку. Первые странички кто-то вырвал. Три или четыре были исчерканы крупными цифрами и латинскими буквами, написанными детской рукой. Дальше шла чистая и довольно свежая бумага. Кроме серебряной птички, украшавшей обложку, Дора не обнаружила ничего примечательного. И все-таки не положила ее возле телефона, не засунула в нее кулинарные рецепты, которые неизвестно зачем вырезала из газет. Видно, почувствовала что-то — раз спрятала вместе с главной своей драгоценностью, с этим самым наманганским письмом.

И все эти поиски, вся эта бесполовка для Зародыша происходила одновременно — только халаты на Доре были разные. Да очки. Да сама она была все корявее, седее, строже, обидчивее.

Терпеливее всех слушала Дору одна из патронажных сестричек, Линочка, самая мягкая и советливая. Дора очень привязалась к ней, и для того, чтобы та держивалась подольше, отыскивала всё новые уголки, требующие уборки. А потом и вовсе утратила чувство реальности: стала уговаривать остаться на ночь. «Куда вы пойдете в такую темень, в такой мороз! Я вам постелю на диване, почитаю книжечку». А когда Линочка робко напоминала Доре Яковлевне, что дома ее ждут голодные сыновья и муж, пожимала плечами и бросала угрюмо: «Обойдутся!» Будто

речь шла о каких-то докучливых эгоистах, на которых бедная Линочка должна работать вместо того, чтобы отдыхать под крылышком Доры Яковлевны.

Заперев за усталой Линочкой дверь, Дора Яковлевна на некоторое время застревала в своей крошечной передней, еле освещенной матовым шариком. Стояла, горюя о несчастной женской доле. Потом отставляла в угол клюку и, упершись в стену заклиненным бедром, доставала из-за обувного шкафчика веник и совочек, сметала песок, оставшийся на месте Линочкиных сапожек, высыпала его в ведро, выстеленное газетой. Окружающие вещи недоброжелательно цепляли и толкали Дору Яковлевну, растрavляя и поднимая в ней спрятанную обиду. Лицо ее начинало плаксиво кривиться, но она тут же одергивала себя строгим детдомовским окриком: «Эй, Дорка! Ты что это разнюнилась?» По возможности бодро добиралась до телевизора, щелкала ручкой, пока на экране не появлялось что-нибудь, способное привлечь ее внимание. Но уже через несколько минут по экрану нагретого телевизора начинали бегать черные полосы. И глядя на эти полосы, Дора Яковлевна думала, что вот точно так же прошла вся ее жизнь.

Обида, не пролившаяся слезами, разбухла, разрасталась. Обида на вещи, на тесный коридор, на собственное тело, стареющее быстрее, чем вельветовый халат, на детдомовских подружек, на Линочкиного мужа, на балет, который только зря испортил ей ноги, на Броньку, говорившего, что в ней нет мелодии, на Лизочку, которая, брыкнувшись рыбой, съезжала с ее колен, чтобы прижаться к уродливой груди Мики. Обида на своих муравьев, ни один из которых не вспомнил Дору, не подумал сообщить, как сложилась его судьба. И совершенно уж необъяснимая обида на младенцев, которые четыре дня орали, разложенные рядками поперек полов, а Дора не спала и сторожила их, и ни одному не дала скатиться на пол, хотя вагон так и бросало из стороны в сторону!

И все же самой терпкой была обида на Соню, корыстно втершуюся в их не ахти какую счастливую жизнь и развалившую ее окончательно. Это по Сониной вине Дора осталась совсем одна и дни ее стали неразличимы: каждый день мытье подоконника, каждый день кислый творог, купленный в ближайшем магазине.

Конечно же, Соня! Как всегда, Соня! Хотя не только Зародыш, но и сама Дора прекрасно знала, как все было на самом деле и кто был настоящим виновником этого самого развала. Любимый племянник, Яшенька. Именно он после окончания института взбесился из-за какой-то ерунды с распределением и надумал уехать в Америку.

Дора прекрасно помнила тот вечер, когда Мики с Соней прибежали к ней, пришибленные, и Сонино лицо, никогда не менявшее своего выражения, на этот раз выглядело так, будто она смотрит на крушение поезда.

И вовсе не Соня, а Мики поддался первый. Зародыш ясно видел, в какое мгновение произошел этот переход, этот... щелчок в сознании. Вот он сидит... низко над столом опущенная голова... длинные пальцы, вцепившиеся в нереледующие волосы... И вдруг поднимает глаза, а в них уже — новая мысль, удивленное прозрение... будто свет, отраженный водой, ударил в лицо. Он начинает толковать что-то о Яшином будущем, которое они не имеют права портить, о том, что если какие-то перспективы для них и закроются в связи с Яшиным отъездом — то что это, в сущности, за перспективы? — пока не произносит, наконец, главную ахинею: «А что, собственно, держит здесь НАС? Ты только подумай, Дора! Мы можем увидеть Италию! Хотя на пару месяцев оказаться на родине, Дора!»

— Какая там родина?! — вскипела Дора. — Лично моя родина — здесь!

— Ты же сам говорил, — поддержала золовку Соня, — что не знаешь, в каком вы жили городе!

— Не знаю, но я бы узнал его с одного взгляда!

Тот однажды появившийся свет так и остался в длинных глазах Мики — несмотря на все ссоры с непоколебимой Дорой, несмотря на унижения в ОВИРе, в домоуправлении, в комиссионных магазинах, несмотря на множество других предостоездных мучений... Казалось, он чуть ли не радуется им, будто это необходимые ступени в некоем ритуале...

Дора видела это счастливое возбуждение, видела, что у него даже дыхание изменилось: стало каким-то прерывистым, учащенным. Но мишенью своей она избрала бедную Соню, которая воспринимала происходящее как катастрофу, как неслыханную жертву во имя счастья ребенка.

Вся Сониная сущность покоилась на двух началах: преданная любовь и привычный, раз и навсегда заведенный порядок. Теперь она должна была отодрать, по живому, одно от другого. И возможно, самым страшным для Сони было то, что они бросают «несчастную, одинокую Дору на произвол судьбы». Хотя кто кого бросил на самом деле? Может быть, именно Дора? Ведь она не только отказалась ехать. Она почти перестала встречаться с ними, когда речь всерьез зашла об отъезде. Дошла до того, что не поехала провожать их в аэропорт. Просто легла спать, как ни в чем не бывало. Но уснуть не смогла и под утро, когда стало уже понемножку светать, вдруг села в кровати и сказала себе: «Я же никогда больше их не увижу. И что мне, собственно, могут сделать? Лишить пенсии? Уволить с работы? Ну и пусть увольняют! Разве у меня самой не застрял уже в горле этот Павел Корчагин?»

Она бросилась на улицу ловить такси. Громяхающая частная колыхага довезла ее до аэропорта. Дора вбежала в зал и с облегчением увидела заплаканную Соню. Рядом с ней Яша деловито забрасывал в чемодан раскуроченные таможенником вещи. Завидев в толпе тетку, пусть и делающую вид, что изучает расписание рейсов, он одобрительно вскинул брови и легонько подтолкнул мать. Соня благодарно заморгала, и слезы ее покатились еще быстрее.

Мики разговаривал с таможенником. Он не обернулся к Доре, но сразу засек ее уголок глаза, улыбнулся ей... виском, бледной скулой. Как будто вовсе не удивлен, как будто появление Доры в аэропорту и ее конспиративное поведение были спланированы ими давно и во всех подробностях. Он улыбался сестре, не прерывая разговора. Таможенник сурово крутил в руках старую записную книжку — ту самую.

Было ясно, что Мики пытается уломать его, предлагает разные варианты, но тот ничего не желал понимать. Он не позволил Мики даже взять в карман четыре лавровых листика, запрессованных в пластмассу. Похоже, эти листики его особо насторожили. Мики помешкал растерян — и передал свои «драгоценности» мужу Сониной покойной сестры, который приехал из Кишинева попрощаться. Тот с готовностью сунул их в большой желтый баул, куда укладывал все не пропущенные таможей вещи. «Это — тебе», — скользнули по Дориному лицу глаза брата.

Дора смотрела на Мики и пыталась понять, что же так отличает его, так выделяет в этой толпе? Не горб. Не элегантность одежды — хотя даже безразличная к вещам Дора на этот раз оценила, с каким благородным вкусом подобран костюм песочного цвета, чуть более светлая рубашка того же оттенка, галстук...

Пожалуй, в этой толпе он один был внутренне спокоен и несуетлив. У него был вид человека, который знает, куда едет.

Мики поднимался вверх на эскалаторе, полуобернувшись к Доре, и Дора впервые подумала, что он красив — вот такой, как есть. И что он почти не изменился с того дня, когда она впервые увидела его, сидящего на лавке у ворот детдома.

Ей было очень странно — нет, ей просто не верилось, что брат оставляет ее навсегда с такой легкостью, с такой простой светлой улыбкой! Но какой-то частью существа — не упрямым своим разумом, а чем-то, ему не подвластным — Дора

сознавала, что заслужила это предательство. Что со дня их первой встречи она непрерывно делала все для того, чтобы сейчас он мог вот так уплывать вверх, с тонкой кистью на черном поручне, со светлым плащом, перекинутым через локоть. Казалось, не эскалатор поднимает его, а собственное нетерпение. Он будто уже начинал набирать высоту...

Как жалел ее Зародыш в эти минуты! Он и сам с удивлением вглядывался в лицо Мики. Гадал, откуда такая легкость. Пытался обнаружить на этом лице тень предчувствия. Понять, догадывается ли Мики о том, что в Италии ему суждено умереть, возвратиться на фреску Санта-Тринита. Зародыш полагал, что догадывается. Не просто догадывается — знает, и только потому решился оставить сестру. И еще ему казалось, что взгляд Мики, ласковый и утешающий, устремлен прямо на него, Зародыша. Минута Дору, проходя сквозь нее.

«Господи, да ведь я и есть Дора!» — в который раз повторил про себя Зародыш. И снова не смог смириться с этой мыслью. И снова искал ей подтверждение во множестве других, мимолетных и пристальных, взглядов Мики, несущих в себе некое тайное знание, недоступное Доре. Знание о ней же самой. И в который раз Зародыш задал себе вопрос: неужели тот удар спиной о рельсы что-то сдвинул в естественном порядке вещей? Пробил брешь в перегородке, разделяющей сознание человека до и после рождения? И если это действительно было так, то, Мики, несомненно, знал наперед всю свою жизнь.

Зародыш восхищенно дрогнул: в этом случае Мики должен был помнить, как плавал в мягкой колбочке внутри гибкого подвижного тела Матери. «В этой же» — и он провел ручкой по мягкой, гладенькой оболочке. Ему показалось, что ручка движется как-то по-новому, чуть точнее, чем это было вчера. Он подвигал головой, губами, попытался разомкнуть веки — и почувствовал режущую боль, будто от этого усилия разошлось гладкое место на коже. Дорина жизнь, вечно стоящая перед его глазами, исчезла. Стало совсем-совсем темно.

«Бедная мамочка! Знала бы ты, какую одинокую несчастную старуху вынашиваешь в своем радостном юном теле! Ничего ты во мне не угадала! Разве что одно: я действительно никогда не буду плакать. Буду я сирота. Вдова. Мать убитого ребенка. И никогда не заплачу. Ни о тебе. Ни об Отце. Потому что никогда вас не узнаю. Не заплачу о муже моем, Бронеке, не заплачу о Лизочке. Ибо сначала буду уверена, что они найдутся, а потом пойму, что чудо не случится, — но произойдет это постепенно, почти незаметно. Там, во Львове, будет поздно плакать. Мне даже легче станет, когда я узнаю, что не было Бронека ни на пристани, ни на вокзалах. И поздно будет плакать о Мики, когда придет письмо с известием о том, что он умер одиннадцать лет назад».

Зародыш закрыл глаза, и снова стало светло. Застучали колеса, закричали истерично паровозные гудки. Застегал, будто кнутом, резкий требовательный голос: «Тяни подъем! Тяни подъем! Дора, спину! Дора, подбородок!» Загремел вальс из «Евгения Онегина», зачирикал танец маленьких лебедей, завывли сирены, заплакал спящий мальчик на казенном кожаном диване — так, будто оплакивал не только свою покаленную жизнь, но заодно и Дорину. Хлопнула дверь за патронажной сестрой Линочкой, затрещал поломанный телевизор Доры Яковлевны, захрустели ее больные старческие суставы, зашуршал вскрываемый конверт.

Это было письмо Сониного кишиневского родственника. Коротенькое, неопрятное, корящее обилием ошибок. С выписанным по одной букве нью-йоркским адресом Сони и сообщением о том, что Мики умер вскоре после приезда в Италию, там и похоронен.

Дора Яковлевна сидела на кровати, с мятым листком в руке, и бессмысленно следила за бегущими по экрану полосами. То, что она испытывала, не было потря-

сением, горем. Напротив, сразу будто отпустила, свалилась тяжесть. Оказалось, что она столько лет мучилась угрызениями совести совершенно напрасно! Не беспокоился о ней бедный Мики, не обижался за то, что она запретила ему писать и звонить.

И более того... Она испытывала нечто вроде удовлетворения... Как человек, который предупреждал других о грозящей им опасности — а те его не послушались. И вот, пожалуйста, печальный результат.

Разумеется, победная горечь ее улыбки была обращена в первую очередь к Соне, ибо за эти долгие одиннадцать лет Дора Яковлевна только и делала, что крепла в убеждении: Соня увезла ее брата невесть куда, чтобы избавиться от нее, от Доры.

Дора Яковлевна не знала, как быть. Писать Соне ей не хотелось, но вместе с тем это была единственная возможность наладить связь с племянником.

Пока Дора Яковлевна раздумывала, Соня написала ей первая. Это было длинное письмо, полное благодарности неизвестно за что. Надо думать, что Сонин родственник, получив уклончивое послание Доры, истолковал его очень просто: Дора вышла на пенсию и теперь уже не боится переписываться с границей.

Соня сообщала, что живет одна и устроена неплохо, что, если Дора не против, Соня может ей поемножку помогать деньгами или посылками. Что Яша за это время успел жениться и развестись, а сейчас работает в банке и быстро растет по службе.

В основном же письмо состояло из укоров самой себе. У Сони выходило, что это она халатно относилась к здоровью Мики, чего-то не досмотрела, не доделала, не заставила Мики сходить к профессору, которого рекомендовала Дора, слишком робко вела себя в итальянской больнице... Ясно было, что для Сони эти одиннадцать лет прошли, как один месяц. А для Доры... Она уже и понятия не имела, о каком профессоре речь. Да и болезнь Мики как-то выветрилась из ее памяти. Смутно маячило что-то... Воспаление легких? Вроде бы он задыхался слегка, но не придавал этому значения. Или хорохорился?

Впрочем, как казалось Доре Яковлевне, все это происходило еще тогда, когда Яшенька был ребенком. Из предотъездного же времени в памяти застряли только длинные, неприятные споры с братом. Его настойчивые уговоры. Дошло ведь до того, что Мики начал доказывать сестре, насколько пуста и бессмысленна ее жизнь. Уверял, что любая перемена может привести только к лучшему. И все ссылался на Италию, будто главным во всем этом была Италия. И от этих слов его, от странного возбуждения казалось, что нет на свете никакой Италии, что она давно исчезла, как исчезли родители, — а может, и вовсе была выдумкой Мики.

Дора спорила, не стесняясь в выражениях. Она называла тех, кто покидает родину — предателями, а Мики — дважды предателем, поскольку его, сироту, эта родина растила, лечила, выучила. Дора предсказывала, как горько будет Мики раскаиваться, когда поймет, что такое чужбина.

Нельзя сказать, что Дора Яковлевна за эти годы пересмотрела свои взгляды. У нее как бы не стало взглядов вообще. Что-то съело их, источило. Главным образом одиночество, которое Дора Яковлевна называла словом «неблагодарность». Она имела в виду не Родину — от Родины она не ждала ни наград, ни повышения пенсии. Но кто-нибудь, кто-нибудь из тех, кого она учила танцевать «вальс цветов», кому из года в год рассказывала о непостоянстве Наташи Ростовской, пока артрит не приковал ее к дому, — мог хотя бы позвонить?! Ведь большего и не надо было!

Получалось, что Дора Яковлевна рассорилась, рассталась с братом, не писала ему — ради чего? Ради какого счастья, ради каких таких богатых возможностей? Переходить оледенелую мостовую с бестолковым светофором? Назойливо удерживать усталую молодую женщину, которая рвется к своей семье?

Что же теперь получалось? Кто помнил о ней все эти годы? Кто написал ей? Ведь даже не Яшенька! Соня, главная виновница ее бед, ее одиночества!

Изо дня в день перечитывая это письмо, Дора Яковлевна обнаруживала в нем все новые и новые смыслы. Она вдруг поняла, что Яшенька живет в стороне от Сони, какой-то своей, совершенно отдельной жизнью. Что Соня, пожалуй, не менее одинока, чем сама Дора Яковлевна. Что переписка с ней, с Дорой, возможность помогать — были бы для Сони не широким жестом, не исполнением долга в память о покойном муже. Она хотела о ком-то заботиться, для кого-то стараться и почти откровенно просила Дору о такой милости.

И все-таки Дора Яковлевна с ответом не спешила. Прикидывала, взвешивала... Единственное, что говорило о некотором ее смягчении, — банка варенья, извлеченная из недр захламленной кладовки.

Линочка, обнаружив на столе банку, заполненную чем-то непонятным, ржаво-коричневым с белыми прослойками, хотела ее немедленно выбросить. Но Дора Яковлевна строго ответила, что это подарок жены брата. В тот же вечер она выломала ножом кусочек и попила с ним вприкуску чай. Дора Яковлевна так и не поняла, из чего было сварено варенье, но решила, что на вкус оно не хуже магазинной карамели.

Зародыш знал, что это крыжовник, что никакого вреда от него Доре Яковлевне не будет, и почти с нежностью наблюдал за новым ритуалом: по воскресеньям, прослушав вечерние новости, Дора Яковлевна заваривала крепкий чай и доставала из буфета Сонино варенье. Старательно сопя, била молоточком по отвертке, специально подобранной для этого дела. Особо довольной она бывала, когда осколочек получался удобной формы и не слишком большой.

Где-то очень высоко ударил колокол. И еще раз... Мелодичный незнакомый звук опускался вниз догоняющими друг друга кольцами. Они сливались, не совпада, и создавали почти непереносимый гул.

Зародыш отвлекся от своих невеселых мыслей и обнаружил, что сбился во времени и не знает, где находится. Он предположил, что уже вечер. Пространство утратило свою радостную дневную плотность. Море было спокойно, почти бездыханно. И не далеко внизу, как привык Зародыш, а в одной плоскости с улицей, по которой катила коляска. Это пугало Зародыша: казалось, море способно ненароком слизнуть одним движением все эти улочки, готовые зарыться в ночь.

Лошади остановились на незнакомой площади. Необычно широкая, она очень понравилась Зародышу. Ему хотелось задержаться здесь подольше, запомнить задумчивый, спокойный звук ее дыхания. Но они уже подходили к большому дому, толстые стены которого надежно удерживали царящее внутри возбуждение. Не слышно было ни шума голосов, ни музыки, но окна беспокойно вибрировали, и подрагивала, полязгивала тяжелая дверь, окованная медными украшениями. Зародыш съезжился, когда она распахнулась с капризным скрипом и звоном.

Впрочем, вестибюль, открывшийся за ней, был прекрасен! Он мгновенно захватывал входящего в свое возвышенное и затейливое пространство, накатывающее тремя изломами шелестящей мраморной лестницы. Глыбы воздуха обрушивались через гладкие перила балконов, приветливый сквозняк засасывал в ликующие пасти дверей. Звенела и тревожила стеклянная и фарфоровая дребедень.

Радостные всплески приветствий плавно переходили в спокойное течение бесед. Было ясно, что родителей в этом доме знают и любят. В разных концах зала говорили о Матери. Как она прекрасно выглядит, как идет ей это темно-синее платье. Как восхитительна она была в «Богеме» и как жаль, что она так скоро уезжает. С темы отъезда неотвратимо соскользывали, разумеется, на тему войны.

Зародыш не мог взять в толк, что это за странная война. Не было в ней ни малейшего сходства с тем, что предстояло пережить Доре. Само это слово в понима-

нии Зародыша никак не вязалось ни с праздничным вечером, ни с шелестом дорогой одежды, ни с гулом возбужденных голосов, в которых, независимо от того, что, собственно, произносилось, слышно было удовлетворение собственным умом, глубиной понимания... Та война, которая стояла перед глазами Зародыша, во всей своей боли, нищете и грязи, делала совершенно невозможными такие вот вдохновенные разговоры, любование остроумными округлыми фразами.

Глядя на Дору, на ее будничную, в общем-то безопасную жизнь в далеком от войны Ташкенте, Зародыш и представить себе не мог ее нарядной, расхаживающей в каком-нибудь богатом зале, вот такой же безмятежной. Ему даже стало неловко за всю эту радость, за весь этот свет. Впрочем, он тут же сказал себе, что ничего не понимает ни в этой жизни, ни в этой войне, и что ему, который знает, как скоро кончится все это счастье и вся эта безмятежность, грех даже на секунду ощутить стыд за своих родителей. И будто в наказание за этот стыд где-то внизу на лестнице послышался голос человека, который утром уговаривал Отца перевезти в Россию какие-то бумаги. Зародыш испугался, что он снова привяжется к Отцу со своими просьбами, хотя и понятно было, как глупо беспокоиться об этом.

Тот человек действительно очень скоро подошел к Отцу — но заговорили они вовсе не о бумагах, а о самых безобидных вещах. Об опере. О раскопках в окрестностях города. О каком-то новом лекарстве, выгоняющем камни из почек...

Зародышу плохо был слышен этот разговор, потому что играла музыка, а Отец находился в другом конце зала. Вообще все выглядело как-то так, будто родители пришли сюда отдельно друг от друга. Это было очень странно. Чужие мужчины один за другим приглашали Мать на танец. И Зародыш нарочно ворочался, чтобы показать, как ему неприятны, а то и вредны ее резкие быстрые движения. Но Мать танцевала с таким самозабвенным удовольствием, что ничего не замечала.

И совсем уж Зародыш расстраивался, когда Мать болтала с молодым человеком по имени Серж. У него был очень приятный ласковый голос, и он все понимал Мать шутливыми признаниями в любви. А она ругала его, делала вид, что сердится — но тоже ласково. Зародыш чувствовал, что в эти минуты Мать начисто забывает о нем. И тем более это было обидно, что в горле у нее все время дрожала мелодия, которую Зародыш считал «своей».

Где-то далеко, за двумя стенами загудел едва различимый отцовский голос. Зародыш прислушался, но слов не разобрал: мешали громкие женские шаги. Странное шуршание платья, сшитого как будто из мокрой ткани, приблизилось почти вплотную.

— Гости ждут, — сказала шуршащая дама. — Я пообещала им, что ты для нас споешь.

— Но... — чуть смутилась Мать, — все пришли сюда послушать Сержа...

— Пойдем, пойдем, — поднялся Серж. — Тряхнем стариной!

Зародыш слышал, как в длинном проходном зале подняли крышку рояля, как нетерпеливо затрепетал над ним воздух. Гости торопились занять последние пустые стулья. Кто-то захлопал. Его поддержали — нестройно, но радушно. Серж взял несколько аккордов, и Мать запела. И то, как складно, привычно это у них получилось, заставило Зародыша ревниво колыхнуться.

Серж играл обольстительно и чуть небрежно — так же, как только что разговаривал. С той же легкой насмешкой, веселым намеком, радуясь и заставляя других радоваться каждому ловкому аккорду, неожиданному скрещению голосов. Он будто сочинял эту музыку на ходу, деликатно отступая, давая дорогу не слишком сильному, но такому обаятельному сопрано Матери.

Этой арии в Дориной жизни не было. А вот другие два романса ей предстояло слышать множество раз. Так же, как и большую пьесу, которую Серж сыграл в самом конце. Это было так странно, так захватывающе: одна и та же музыка

звучала снаружи, в настоящем — и изнутри, в будущем. Причем быстрые, блистательные пассажи задевали, прихватывали с собой еще и стук капель, падающих с мокрого тельца Лизоньки, которую Бронек, вытащив из воды, передавал Доре на пушистое махровое полотенце.

Но полной гармонии не получалось. Может быть, по вине Сержа. Что-то вносил он в эту музыку... какую-то пугающую, гибельную несерьезность.

По дороге домой Зародыш лежал тихо, сложив ручки на груди. Эта ослепительная музыка наобещала столько плохого, так растрожила его... Казалось, она не просто напророчила — накликала то, что ожидало их впереди.

Думать об этом не хотелось. Зародыш стал размышлять о том, что, может быть, Серж, фамилию которого никто так и не назвал в течение всего вечера, — какой-нибудь знаменитый пианист. И, вполне вероятно, Доре было известно его имя. Или еще забавнее: может быть, Мики знал о дружбе родителей с этим музыкантом и собирал пластинки с его записями. А потом, уезжая, оставил их Доре.

Почему-то Зародышу очень хотелось, чтобы это было именно так. Он жадно прислушивался к разговору родителей, надеясь, что кто-нибудь произнесет, наконец, фамилию Сержа. Хотя Дору, которая исправно слушала подаренные братом пластинки (пока не сломался старый проигрыватель), никогда не интересовали имена исполнителей.

И снова Зародыш подсадовал на нее — будто Дора испортила игру, затеянную им и Мики, разорвала какой-то созданный ими круг. «Ну что мне с того? — утешал себя Зародыш. — Неужели для меня было бы так важно обнаружить, что Дора слушала именно его записи в последние годы своей жизни?» И с удивлением чувствовал, что да, почему-то важно. Что, может быть, для того и даровано ему сознание, чтобы объединить в цельные, законченные фигуры события сегодняшнего дня и долгой будущей жизни. И все его существо как бы занялось от возбуждения при мысли о том, что будут, будут еще такие же дни, как сегодняшний, и множество случайных, непонятных штрихов еще соединится и образует замкнутые круги и затейливые арабески. И не только в том дело, что ему предстоит узнать много нового, но и в том, что сам он быстро умнеет. И сейчас, вечером, выделяя усилием внимания любой эпизод из кристалла своего будущего, он замечает и понимает в нем гораздо больше, чем замечал и понимал еще утром.

И совсем по-другому видел он теперь лицо Мики, уезжающего вверх на эскалаторе — странное, нестареющее лицо, с вечной улыбкой горбуна, которая так не нравилась Доре и в которой сейчас Зародыш распознавал ответ на любой свой вопрос. И он задавал, задавал эти вопросы, вздохнув, один за другим, а Мики улыбался, ласково и успокаивающе, пока не оказывался на вершине лестницы, пока не исчезали в чужом пространстве его курчавая голова, птичья грудь, белые пальцы, лежащие на черном поручне.

Бредовая надежда блеснула вдруг и ослепила Зародыша: исчезая навсегда из Дориной жизни, Мики должен появиться здесь, сейчас же, в этом городе, в доме, куда они едут. В своем песочном костюме, в рубашке того же оттенка, с плащом на руке. И Зародыш всей силой своего нетерпения стал торопить извозчика, подгонять лошадь...

Копыта били по остывшему булыжнику с ночной осторожностью.

— Милый Серж, — сказала Мать. — Он не в состоянии поверить, что кто-то может любить не его.

— Он очень талантлив, — сказал Отец.

— Да, конечно, — согласилась Мать и зябко потерлась о рукав мужа.

Коляска мягко покачивалась, будто спешила их убаюкать — последних, кто не спит в этом глубоко уснувшем городе. Ни одно окно не светилось, не шевелились

за оградами листья. Только в небе, необычно черном и высоком, зябко подрагивали звезды.

— Как бы нам всех не перебудить, — сказала Мать. — Открывай тихонько.

Отец кивнул и помог ей выйти из экипажа.

Ключ в двери повернулся почти беззвучно. Не зажигая лампу, они осторожно поднялись по лестнице. Что-то скрипнуло в комнате Мики. И еще раз, чуть громче. Мать приоткрыла дверь.

На фоне окна темнела детская головка. Всклоченные кудряшки торчали во все стороны. Невидимая луна подсвечивала сзади тоненькую шейку, плечико, перекошенный воротничок рубашки...

— Как же это, Мики! — огорченно вскрикнула Мать. — Ты до сих пор не спишь?

— Я ждал вас, — зашептал возбужденно Мики. — Хотел вам показать...

Он повернулся, так что стал виден вдохновенный детский профиль, и что-то потянул со своего столика. Жемчужная низка простучала по дереву, аккуратно проблестев по очереди холодными огоньками. Будто крошечный поезд промелькнул в ночи.

— Мы собрали все бусинки. Застежку приделала мадам Ларок, а нанизывал я сам. Как ты думаешь, Ей будет в пору?

— Я думаю — как раз! — растроганно шепнула Мать.

— Тут потом нашлась еще одна, — ободренный Мики окончательно вывернулся из-под одеяла и зашарил по столу. — Вот.

Одинокая бусина закачалась на длинной нитке.

— Мы решили, что это будет мне на память. Медальон. И вот еще...

Он протянул Матери веточку лавра с четырьмя листьями.

— Видишь: это — папа, это — ты, это — я, а вот эта, совсем маленькая — сестричка. Я хотел их раздать каждому, но мадам Ларок говорит: пусть будут все вместе. Как ты считаешь?

— Я думаю, это правильно.

— Я положу их в свою записную книжку и буду хранить всю жизнь!

Мать ласково повалила его на бочок и укрыла.

— Если бы ты знала, мама, — прерывисто вздохнул Мики, — как я по ней соскучился!

Отец улыбался, глядя на них с порога. Его огромная фигура почти закрывала дверной проем.

1998 — 2000 гг.

ДВА РАССКАЗА

ОТ ЗАРИ ДО ЗЕРО

1

Он встретил свою Смерть, когда ему не было и двадцати шести.

Она была красива какой-то вызывающей, холодной красотой, с глазами-озёрами, точёным носиком и очаровательно оттопыренной попкой.

Ему говорили:

«Она — твоя смерть».

Он не верил.

Твердили:

«Ты у неё не один».

Не допускал даже мысли об этом.

Они бродили по Красношкольной Набережной, он читал ей стихи...

Она недоуменно слушала его и думала, что хорошо бы записаться на холодильник «Днепр» в магазине на Тракторном... Или что у её подружки, Инки Касьяшки, свадьба была в заводской столовке, а лучше бы, конечно, в ресторане. Или хотя бы в приличном кафе, где гостям не пришлось бы гоняться за куском колбасы и спотыкаться об алюминиевые стулья...

Он провожал её до дома № 26, что по улице Танкопия, где жила она с матерью, бабушкой и сестрой. Они заходили в подъезд, поднимались на третий этаж по выщербленным бетонным ступеням. Перед тем как она успевала нажать на кнопку звонка, он умудрялся поцеловать её — упоённо, задыхаясь от ощущения собственной силы. А когда двери за ней захлопывались, он сбегал, едва касаясь ногами ступенек, вниз.

А однажды он встретил её с другим.

От неожиданности он кивнул ей и хотел даже что-то сказать.

Сердце внезапно подпрыгнуло. И вытолкнуло вверх, к горлу, удушающий горячий ком.

И он вдруг понял, что такое случится ещё не раз, и она для него — смерть. Придя домой, стал искать спиртное. Ни вина, ни водки в доме не оказалось. Он выпил стакан рижского бальзама, который отец приберегал для гостей, и только после этого объявил родителям, что собирается жениться.

2

...Являлась ли всесоюзная лотерея ДОСААФ азартной игрой — на фоне напёрстков, железки и грузинской свадьбы, в которую облапошивали доверчивых лохов харьковские шулера в пригородных электричках?

Бывший зубной техник Сёма Кошер, обувающий лохов в очко на Южном вокзале, напоролся на гастролёров и влетел на три штуки деревянных. Дело было в семидесятых.

В проигрыше Сёма винил себя.

Около шести вечера зацепил он в очереди у билетных касс трёх лохов в кирзовых сапогах. И как он сразу не просёк, что пальцы у лохов — холёные и ухоженные, как у шулеров или щипачей?!

Играть согласился только один лох. Сёма начал, как обычно — «с рубчика». Дал штымпу в кирзе пару раз выиграть и минут за пятнадцать раскрутил его, к своему изумлению, на целых три штуки. Бабки у штымпа ещё были и тот пошёл ва-банк. Кошер, естественно, сдал под «банкирское очко». Оставалось дать штымпу слово, раскрыть карты и свинтить с него ещё три штуки деревянных.

И тут лох, не заглядывая в карты, объявил очко втёмную.

Семён, скумекавший, что имеет дело с куклачём, возразил, что, мол, очка втёмную не бывает, и поинтересовался, на всякий случай, что бы это значило.

Штымп ответил, что «очко втёмную» бьёт «банкирское очко», и открыл свою карту.

На руках у штымпа была десятка пик, дама червей и восьмёрка бубён, которыми его только что снабдил незадачливый Сёма.

Кошер попробовал было залупнуться, но на него попёрли кореша штымпа, играть отказавшиеся, но за ходом матча наблюдавшие. Они объяснили одинокому Сёме, что, при любом раскладе, если у объявившего «очко втёмную» на руках действительно очко, выигрывает темнящий. И сдёргивает, в таком разе, не только свою ставку, но и ставку банкующего. То есть банкующий проигрывает в два раза больше той суммы, которую ставил на кон.

Семён понимал, что шутить с ним не собираются, и без базара отдал шесть штук.

На кармане у Сёмы ещё что-то оставалось, и он пошкандыбал в ресторан «Люкс», чтобы в спокойной обстановке, под два пузыря «Столичной», обдумать, как работать дальше.

Когда вся водка была выжрата (а выжрата она была в течение сорока минут), Кошеру резко захотелось баиньки. Бывший зубной техник потребовал у официантки Манюни ещё пузырь, а оркестру велел сыграть «Радионяню».

3

Оркестром в «Люксе» заправлял король харьковского джаза, трубач Рафаил Натанович Пинский, без труда берущий «соль» третьей октавы.

Пару лет назад, когда Рафиком, впервые в истории Харькова, был исполнен «Караван» Д. Эллингтона — с фирменной импровизацией, в мрачных тонах, вся музыкальная общественность Харькова только и делала, что говорила об этом. И случилось в ресторанном тресте чудо: Рафик был назначен руководителем оркестра.

Хотя обычно наоборот: за малейшую импровизацию (не говоря уже о мрачных тонах) руководящие работники высказывали из кресел, как блохи из собачьих подмышек.

Мало того — сын еврейского парикмахера был рекомендован (как муж русской жены) в КПСС.

Через два года Пинский вовсю поддерживал почины, выступал на собраниях и собирал партвзносы.

За «Радионяню» Рафик загадал Семёну трояку.

Сёма имел на этот счёт особое мнение. Он считал, что не должен оркестру вообще ни копыа, ибо вчера, буквально ни за что, выкатил лабухам полсотни.

Рафик принципами не поступался и нашару играть не собирался.

Баиньки Сёме от такого расклада сразу расхотелось.

«Ты что, курва, совсем нюх потерял? — удивлённо осведомился он у Рафика. — Я ж вам, суки, вчера полтинник оставил. Сделай «Няню» по-хорошему, а то пожалеешь, бля буду!»

Коренастый Рафик похлопал каталу по плечу и, нахально усмехаясь, успокоил:

«За бабки, Сёма, не переживай. Как пришло, так и ушло!»

«Радионяню» в тот вечер Семёну так и не сыграли.

4

...На следующий день Сёма развёл, на кругу восьмого троллейбуса, одного лоха из Промкооперации, после чего снова оказался в «Люксе» — один на один с двумя пузырями и цыплагом. К оркестру Кошер из принципа не подходил.

Примерно через час, когда оба пузыря были пусты, Семён почувствовал, что собственный его пузырь наполнен «по самое не могу».

Укушанный зубной техник встал из-за стола и, пробормотав загадочное «Коммунизм есть Советская власть плюс уренизация всей страны!», нетвёрдой походкой направился к эстраде. Рядом с эстрадой из-за бордовой плюшевой портьеры виднелась массивная белая дверь. Со дня основания «Люкса» вела она на кухню и, с того же дня, была заколочена гвоздями.

Туалет располагался в противоположной части ресторана.

Сёма отодвинул портьеру и дёрнул дверь на себя. Дверь не поддавалась. Странное дело — подумал Сёма и попробовал её толкнуть. Глухо, как в танке.

Занято — сообразил картёжник, слывающий среди коллег гигантом комбинаторного мышления. Семён вернулся за столик и начал терпеливо ждать. Шторка не шевелилась. Прошло две минуты, прошло пятнадцать. Никто не выходил. Сёма подошёл к двери и постучал. Никакой реакции.

Гигант комбинаторного мышления упёрся изо всех сил в дверь плечом.

Дверь была неумолима, как не подмазанная секретарша нарсуда.

Сёма понял, что ему уже всё равно.

Он прислонился к двери и расстегнул джинсы...

Импровизация трубы на тему «О ван ду сей» оборвалась на полупфразе.

Рафик как ужаленный сорвался со сцены и бросился, со своей дудкой, к заблудшему. Подхватив гиганта мысли под руку, он отвёл его в другой конец зала.

Выйдя из туалета, Семён буркнул играющему Рафику «мерси», но тот, очевидно, не расслышал.

Размякший Семён отложил в задний карман неприкосновенный запас — полста хрустов, чтобы рассчитаться с официанткой, — и начал пулять оркестру бабки...

...Когда семипудовая Манюня принесла счёт, выяснилось, что заначенного полтинника Сёме не хватает. И что гигант комбинаторного мышления должен официантке ещё восемнадцать рублей. Клиент собрал остатки сознания в железный кулак, попросил меню и пересчитал, вместе с Манюней, свой заказ.

Получилось, как часто бывает в подобных случаях, — Манюня элементарно ошиблась. И что с его полтинника ему положена ещё пятёрка сдачи. И это с учётом того, что Сёма кидает два хруста сверху за культурное обслуживание.

Манюня швырнула Семёну сдачу и, закусив дрожащую губу, побежала к производству Петру Ивановичу, которому ежедневно отстёгивала половину навару.

5

Петр Иванович Шершуков, регулярно собиравший мзду с поваров, официантов и музыкантов, был рано поседевшим молодым человеком с вытянутым, мышинным рыльцем и писклявым голосом.

Уроженец села Близнюки, окончил он, в 67-м, воронежское кулинарное училище №2.

И забрали Петрушу, через полгода, в ряды непобедимой и легендарной. И служил Петя, в соответствии с приобретенной специальностью, кашеваром в Богодуховском танковом училище. И обучился он варить солдатские щи, практически без капусты, и постные кулеши из заплесневелой крупы.

А в 68-м очутился наш Петруша со своей походной кухней в Чехословакии, и довелось ему стряпать свои щи в предместьях Праги.

Жили в танках, в лесу. Боялись каждого куста, каждого дерева. По нужде далеко не ходили — приседали тут же, у танка (лишь только руку протяни — всё тут). Воду пили из ручья. Там, в лесу, и подхватил, видать, Петя желтуху, после чего оказался в лазарете, в тихом украинском городке Чернигове, где закорешевал с Жоркой Скиданом, будущим инструктором Харьковского обкома.

Из армии ефрейтор Шершуков вернулся партийным и был зачислен на работу в ресторан «Люкс». Вскоре кашевар Петруша стал парторгом куста.

6

Войдя в Петрушин кабинет, украшенный кумачовыми вымпелами и переходящим красным знаменем, Манюня сходу покатила бочку на оркестр.

Она-де мотается как угорелая, пробегая с подносом по десять километров за смену, а эти вонючие клезмеры, не отрывая жоп от стульев, распатронивают клиента так, что бедные официанты уже и на копейку ошибиться не могут.

Ну скажите им, наконец, Пётр Иванович, скажите! — причитала Манюня, роняя слёзы на лавсановый Петин пиджак с орденскими планками.

...Оркестранты складывали инструменты.

Рафик протирал дудку и прислушивался, как змееголовый барабанщик Джозя нащупывает что-то саксофонисту Геше. Музыкальное ухо джазмена уловило: «...Раф набарывает на парнус, сегодня снова заныкал колов пятнадцать, как минимум...».

Неплохой, в принципе, барабанщик, подумал Рафаил, но слишком уж скулёжный. До того скулёжный, что придётся с ним расстаться. И буквально очень скоро — как только вернётся из Москвы Костя-Лишай, которого Силантьев, говорят, выхилил за кир из оркестра Гостелерадио.

Петр Иванович запер кабинет, вышел в зал и, низко опустив голову, направился к сцене. Подойдя к Рафику, он провёл пухлой ладошкой по вспотевшему лбу и, глядя куда-то в сторону, промычал: «Рафаил Натанович, ты меня это... конечно, извини, но дальше так продолжаться не может».

Потом подумал и добавил: «Я хочу поговорить с тобой как коммунист с коммунистом»...

7

А сейчас вернёмся к наболевшему вопросу: «Чем всё же рисковал в застойные годы харьковский обыватель, приобретая пятидесятикопеечный лотерейный билет?!»

И тут — ещё одна история.

Анатолий Валентинович Мальцев работал проектировщиком, имел первый разряд по толканию ядра и был женат на учительнице младших классов. Зарабатывал

он, ясное дело, копейки. Но человеком был серьёзным, на музинструментах не играл, в карты тоже. Да что там карты! Даже в лотерею не играл Анатолий Валентинович.

И вот однажды, в обед, в институтской столовке, похвастался Анатолий (вот, мол, какой я находчивый!) перед коллегами — Славиком Поливановым и Витей Юркевичем — из техотдела:

«Представляете, мальчики, звонит мне вчера на работу, где-то в одиннадцать, Стелла из сметного и говорит. Она дома, оформила больничный, её лопух свалил в командировку, и чтобы я срочно приезжал. Я бросаю всё, беру отгул на полдня, и на такси к ней.

Всё в ажуре, прихожу от Стеллы домой как положено, где-то в шесть, — будто с работы».

«Интересно, — думал Юркевич, перепихнувшийся с той же Стеллой неделю назад, — а знает ли об этих вышиваниях её лопух?»

«И тут, — продолжает Мальцев, — моя благоверная начинает допытываться, где это я пропал».

Я говорю — целый день на работе.

Она говорит — неправда. Я звонила в полтретьего, мне ваш Деревяшкин сказал, что тебя нет.

Правильно, говорю. Я на второй этаж, в библиотеку, поднимался. Каталоги просматривал.

А ещё, — говорит мне жена, — он сказал, что ты оформил отгул, оделся и ушёл.

Ерунда, говорю, полная. Никуда я не уходил. И вообще кто из нас, по-твоему, лучше знает, где я был: он или я?

А она говорит, я не знаю, кто из вас лучше знает, где ты был, только ещё он сказал, что слышал, как ты по телефону договаривался. И что поехал ты на такси домой к этой... как там её... Гончаровой... Стелле. Знаешь такую?!

Вздор, говорю, Деревяшкин давно уже головой повредился. Ни к какой твоей Гончаровой я не ездил. Я в технической библиотеке сидел, документацию изучал, чтоб мне с этого места не сойти.

А она: а как ты мне это докажешь?

И тут я ей отвечаю: а никак!»

8

Так вот, уважаемый читатель, повторяю вопрос: «Чем рисковал харьковский обыватель, покупая пятидесятикопеечный лотерейный билет?»

А ничем!

Ничем не рисковал простой советский труженик, приобретая досаафовскую лотерею.

А если и рисковал, то всего лишь жалкими своими пятьюдесятью копейками.

То есть: ни убогий свой скарб, в котором главным достоянием считался приобретённый в кредит телевизор, ни льготную путёвку в занюханный санаторий, ни никчёмную свою жизнь не ставил на кон харьковский обыватель, покупая лотерейный билет Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

И тем не менее — Толик Мальцев лотерею ДОСААФ игнорировал и покупать навязываемые в получку билеты отказывался.

«Я не играю в азартные игры с государством», — ехидно заявлял он распространителям.

Стеллин муж, Саша Гончаров, работал в том же отделе, что и Мальцев.

Сашу называли поэтом-пушкарем.

Пушкарь — не от «Пушкин», а потому, что стихи на заданную тему вылетали из-под его пера, как из пушки. Саша был редактором институтской стенгазеты.

Он знал наизусть «Женщину и море» Евтушенко и без особого труда составлял стихотворные поздравления, в которых рифмовал розы с морозами. Понимающие в литературе считали его рифмоплётом.

В отличие от Мальцева, поэт-пушкарь безропотно покупал все навязываемые лотерейки.

При этом демонстрировал, что никаких надежд на выигрыш он не питает. А чтоб никто не сомневался, Гончаров свои билеты тут же рвал и выбрасывал.

Обращала на себя внимание странная особенность. Перед тем, как порвать лотерейку, Саша аккуратно переписывал в блокнот её серию и номер.

Отдел недоумевал: зачем?

Возможно, рисовался?

Хотел выглядеть эксцентричным?

Ну, порвал, выбросил — и забыл! Это ещё можно понять. Но записывать номера?..

Чтобы потом, в случае выигрыша, кусать себе локти?

Бросаться с моста? Стреляться? Вешаться?

Ну да ладно. Что там думать? Одним словом — поэт...

Когда на выброшенный Сашей билет выпал выигрыш в виде автомобиля ГАЗ-24, он взял отгул на полдня, пришёл домой, взял трёхлитровый эмалированный бидончик и отправился в пивбар «Ветерок», что напротив кинотеатра «Москва». Было ещё рано, на «Ветерке» висел замок. Тогда он сел на трамвай седьмого маршрута и поехал на Москалёвку, до остановки «Кривомазовская», где находился один безымянный пивбар.

Отоварившись, Саша вернулся домой, включил телевизор — как раз передавали футбол, харьковский «Металлист» играл с луганской «Зарёй» (в записи), — и под бидончик слегка подкисшего, разбавленного пива скушал две упаковки димедрола, которым тёща лечилась от хронического насморка. Когда Стелла вернулась с работы, всё уже было кончено...

На его похоронах толкал речь Лазарь Львович Лошак.

Он говорил о Саше как об отличном специалисте. Отличном семьянине. Отличном товарище. Настоящем поэте.

Ибо только настоящий поэт, проникновенно говорил Лазарь Львович, мог банальнейшую досаафовскую лотерею превратить в русскую рулетку. Только поэт мог, с замиранием сердца, рвать в клочки пятидесятикопеечный билет, зная, что сделает с собой в случае немыслимой удачи...

На Сашиной вдове женился Сёма Кошер. Они познакомились в «Люксе». Сёма зашёл туда как обычно — отужинать. Стелла же — в тот вечер отмечала, в тесной компании сотрудников, своё сорокалетие.

Мальцев, Поливанов и Юркевич на том банкете укушались, что называется, в драбадан. Мальцев заехал в морду то ли Поливанову, то ли Юркевичу. Впрочем, сам Мальцев пострадал не меньше и был доставлен во Вторую совбольницу с челюстно-лицевой травмой.

Зубной техник боготворил Стеллу, как и Саша. Только ради неё бросил он играть и дожил до глубокой старости, тягая пальто и шубы в Харьковском оперном театре, куда ему, по великому благу, удалось устроиться гардеробщиком.

ЧАПАЙ И КОНИ

Настоящий политик — это персона, способная заставить колесо истории работать на благо её народа. В какую бы сторону это колесо ни крутилось.

Видя ликующие улыбки только что избранных президентов, я всегда задаю себе вопрос: а понимают ли новоиспеченные кормчие, чего ждёт от них паства?..

Харьков, начало восьмидесятых.

Наши в Афганистане.

Мы бомбим свадьбы в кишке.

Мы — это ансамбль «Рубин», в составе:

Олег Белов — ритм-гитара, вокал;

Вовка Мушник — бас-гитара;

Андрюша Чуйко — клавишные;

Саня Тыщенко — ударные;

я — саксофон, кларнет.

Кишкой — за длиннющий её зал — зовём мы столовку №6, расположенную на пересечении проспекта Ленина и улицы Тобольской.

...Преддверие Дня Победы, только что отгремел Первомай. Цветут липы, яблони. Всё нарядней становятся харьковские кладбища. Вдоль центральных аллей вырастают новые памятники. На гранитных стелах с фотографической точностью запечатлеваются образы павших воинов-интернационалистов.

Судя по газетам, мы помогаем афганским братьям-коммунистам.

По предприятиям ходят лекторы общества «Знание». Они разъясняют то, чего ни в одной газете не найдёшь. Оказывается, алгоритм, которым руководствовалось наше Политбюро, вводя войска, был прост:

1. Либо в Афганистан входим мы;

2. Либо за нас это делает Дядюшка Сэм. И сосредотачивает под южным подбрюшьем СССР свои военные базы.

И всё это — на фоне нарастающей мощи Харьковского бюро добрых услуг. Бюро специализировалось на обслуживании свадеб.

Оба бюро придерживались тактики сдерживания. Политбюро сдерживало империалистов. Бюро добрых услуг — музыкантов.

Если прежде (до Бюро) заказчики платили непосредственно музыкантам, то теперь между заказчиками и музыкантами возник всеотъемлющий посредник.

Щупальца «услужливого» Бюро цепко впились в свадебные котлеты. Полчища контролёров были насланы на точки общественного питания. Играть на семейных торжествах дозволялось только оркестрам Бюро.

Пядь за пядью отвоёвывало Бюро боевые точки, в которых окопались «дикие» оркестры.

По отношению к побеждённым Победитель проявлял чудеса гуманизма. Завоевав точку, он не уничтожал лабухов физически. Он ставил их под свои знамёна, зачисляя в штат Бюро.

Вскоре с «дикими» оркестрами в Харькове было покончено. О чём рапортовано в Киев.

Бюро получало с клиента по полной программе, а взамен предоставляло побеждённый оркестр, которому платило гроши. И не давало ни инструментов, ни усилительной аппаратуры. Всю оснастку (а стоила она немалых денег) побеждённые музыканты покупали за свои. Музицирование на свадьбах становилось дорогим хобби. Как коллекционирование картин или игра на скачках (Бюро было игриво наречено лошадиным именем «Веснянка»).

Но — существовал нюанс, дающий нам шанс отбить свои бабки.

Бюро снесла идеология. Каждый ансамбль представлял на утверждение Репертуарный перечень. Это был список произведений, «разрешённых к исполнению».

В Перечне должны были присутствовать только идейно выдержанные произведения. И только проверенных авторов. Членов Союза композиторов СССР. Членов Союза писателей СССР.

Единственным исключением являлся немец Якоб Мендельсон — с его торжественным (свадебным) маршем, — ни в одном из вышеперечисленных союзов, по многим причинам, не состоявший.

Не охваченные членством леваки типа Юрия Антонова и Игоря Николаева отдыхали. Была запрещена музыка Кутуньо, Мориа, Дасена. Не рекомендованы к исполнению утёсовские шлягеры, тюремный шансон, цыганщина. Существовал запрет на песни с одесско-еврейским уклоном — как на способствующие разжиганию сионистских настроений. Нельзя было играть «Семь-сорок», «Ах, Одесса» и даже «Шаланды, полные кефали» из кинофильма «Два бойца»...

Всё это запрещалось из-за угла — Харьковским обкомом КПУ.

Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и её Ленинский Центральный Комитет!

В Репертуарный перечень мы включали только идейно выдержанные песни. Например, «Смело, товарищи, в ногу» и «Враги сожгли родную хату».

Большинство клиентов об этом знало. И, чтобы не иметь головной боли, рассчитывалось с нами «помимо кассы».

Всего за полсотни «сверх счётчика» (а для нас это — по червонцу на рыло) клиент получал танцы до упаду.

В противном случае приходилось воевать.

Сражение начиналось мирно. Со стороны можно было подумать, что нам дали бабки. Мы играли весело, без пауз, выполняя любые заявки танцующих. Наглядно демонстрируя, как много значит на свадьбе хороший оркестр. Если через полчаса хозяева не раскошеливались, мы вбивали в столовскую стену гвоздь войны. И вывешивали на него наш «Перечень».

Далее всё исполнялось в полном соответствии с репертуаром. После нескольких хитов типа «Наш паровоз, вперёд лети!» или «Вы жертвою пали в борьбе роковой» появлялись парламентарии противника: «Что случилось, хлопцы? Давайте «Ах, мама, люблю цыгана Яна» и «Ты одессит, Мишка!»

Мы отправляли их к «Перечню». Ни цыгана Яна, ни одессита Мишки в «Перечне» не было. А остановка в коммуне и жертвы в борьбе были.

В самом низу документа красовалась заверенная печатью подпись директора «Веснянки» В. Лобасова.

Заплативший «Веснянке» клиент осознавал ошибочность тезиса «Кто платит, тот и заказывает музыку». И начинал понимать: кто платит — музыку не заказывает. А чтобы заказать, нужно забашлять ещё раз.

Обычно это вызывало смятение в стане противника. Враг в панике бежал за деньгами.

Но бывали и поражения.

...На той свадьбе наш Андрюша Чуйко часто вздыхал и с грустью разглядывал клавиши своей «Вирмоны». И не потому, что нас даже не пригласили к столу. И — что две залетевшие от него тёлки (одна из Белгорода, а другая вообще из Семи-палатинска!) требовали с Андрюши бабушки на аборт с уколом. И даже не потому, что Чуйко осточертели кретинские шуточки барабанщика Сани: «Приходите, гомосеки, — Чуйком побалуемся!»

Неделю назад сержанта запаса Чуйко вызвали в военкомат. Поинтересовались, не женился ли, и — живы ли отец с матерью. Отрапортовал: всё в порядке. Слава богу, живы. Слава богу, не женился.

Записали телефон, размер х/б и фуражки. Срочную Андрюша отслужил шесть лет назад, под Чугуевом. За шесть лет на гражданке успел поправиться на два размера. Военная специальность — танкист.

У Андрея отобрали паспорт (сказали, что на неделю) и погнали в актовЫй зал — слушать лекцию о международном положении. Затем вручили розоватую брошюру, дали расписаться в какой-то бумаженции и велели ждать повторного вызова.

В трамвае Андрей раскрыл брошюрку. На титульном листке было начертано: «БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ НАРОДУ АФГАНИСТАНА — СВЯЩЕННЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ВОИНА».

Так что настроение у Андрюши — из рук вон плохое.

...Бабок хозяйева не приносили.

Командовала мама жениха, широкобёдрая гусыня в пёстром платье.

Мы пошли по наработанной схеме и славно отлабали первые полчаса. Разгорячённые гости вернулись за стол.

Нести бабки хозяйка и не думала.

«Скоро восемь, а парнуса нету...», — пропел себе под нос остроумный барабанщик Санёк, констатируя факт отсутствия блюдечка с голубой каёмочкой.

Кормёжки, судя по ускользающим взглядам гусыни, тоже не предвиделось.

Мы скинулись по два кола и бросили на пальцах. Бежать в гастроном выпало мне. Я взял футляр от аккордеона, служивший нам продовольственной сумкой, и пустился в путь...

Ветер играл шевелюрой тополей, мимо прошмыгивали троллейбусы, шелестя шершавыми шинами.

В душном гастрономе с прогрессивным названием «Спутник» я добросовестно отстоял в четырёх очередях. В результате на дно аккордеонного футляра легли:

три бутылки «плодово-выгодного»,
банка салата «Закусочный-Южный»,
одна тысяча сто граммов любительской колбасы,
две пачки сибирских пельменей,
десяток сырых яиц,
пять плавленых сырков,
две сырые луковицы.

Из гастронома я вернулся через час.

Столовский зал опустел. Несколько человек сидели на подоконниках в предбаннике. Ещё несколько — изучали служебную стенгазету «За здоровое питание». Мрачные новобрачные укладывали подарки в фанерный ларец, напоминающий носилки богдыхана.

У раздаточного окошка наш руководитель Олег Белов выяснял отношения с хозяйкой.

«Как же вам не стыдно?! — услышал я грудной голос гусыни. — Я буду жаловаться Лобасову! Уже целый час, как груши околачиваετε! Я вам не какая-нибудь обывательница! У меня шурин в наробразе!»

«Мы не имеем права выступать неполным составом, а саксофониста я откомандировал за едой», — с достоинством ответил Олег.

«За какой ещё едой?» — недовольно прошипела гусыня, почухивая подмышку наманикюренной лапой.

«Во всём должен быть порядок, — укоризненно сказал Олег. — Я должен накормить народ».

Народ (то есть, мы) гуськом проследовал на кухню. Гусыня стояла как оплёванная. Браво, шеф! — подумал я. — Навести порядок и накормить народ всегда являлось священной обязанностью советского руководства!

Санёк налил в кастрюльку кипятка, поставил на огонь и забросил пельмешки. Я жарил омлет. Андрюша увивался вокруг задастой поварахи Зои. Он хотел от неё отбивных, томившихся в жарочном шкафу. Вскоре мы вышли в зал — с тарелками, полными закусона. Зал был по-прежнему пуст.

...Сочные пельмешки услаждали душу, омлет и отбивные вторили им. Ели мы минут двадцать пять. Гневные взгляды гусыни симфонию не нарушали.

«Наша харьковская прима лучше Византа и Кима!» — выдал дежурную остроту Санёк и вынул из кармана пачку «Примы». Мы закурили.

Один Володя ещё не отвалился от стола. Он обрабатывал косточку, оставшуюся от отбивной. Володя шлифовал её зубами так, будто собирался отправить на выставку народных достижений.

Подошёл жених: «Ребята, сколько можно перекуривать? Я скоро помру со скуки!»

«Ничего, не помрёшь, — проворчал Володя. — Ты что, не видишь, что я закусываю?» И мрачно добавил: «За свой счёт».

Посрамлённый жених заткнулся и пошёл прочь.

Володя отшлифовал кость до лунного блеска и задумчиво установил на подоконник. Перерыв закончился.

Мы вышли на эстраду и, для начала, врезали им «Семь-сорок». Это произвело эффект магнита для рассыпанного металлическогохлама.

Из-под лестниц, из туалетов и коридоров, из тёмных закутков и кухонных недр повыскакивали люди. В мгновение ока танцплощадка была облеплена дружно скачущими гостями, тяжело подбрасывающими ноги и упирающимися большими пальцами рук себе в подмышки.

Публика дружно раструживала жиры. Стучали каблучки, мерно подрагивал пол. Сошедшие с дистанции обмахивались салфетками.

Последний аккорд прогремел прощальным салютом.

Мы приступили к похоронам свадьбы и заиграли «Вы жертвою пали».

Разгорячённые дамы, ещё не осознавшие, что произошло, схватили кавалеров и попытались превратить этот реквием в страстное танго, иногда, впрочем, сбиваясь на чечётку. Потом мы врезали танец с саблями из балета «Гаянэ» — советского композитора Арама Хачатуряна. Кавалеры растерянно смотрели на дам, дамы — на кавалеров. Когда же Олег запел «Враги сожгли...», к позеленевшей от гнева хозяйке подрулила моложавая тётка жениха: «Да что ж они тут вытворяют? Что ж они только устраивают? — По заплаканным щекам тётки струилась тушь. — Мы... каждый божий день... по восемь часов... у станка... на производстве... А эти гниды... тут... над нами... из-мыи-ва-аюут-ся!».

«Измываются?» — осторожно переспросила гусыня.

«Измываются!» — продолжала стоять на своём тётка.

«И пусть! Пусть себе измываются, — отвечала хозяйка, — а денег им я всё равно не дам».

Тётка стрельнула сигаретку у паренька в синем свитере и резко устремила на выход.

К эстраде подвалил рыжий парняга в серой тройке, с красной лентой через плечо. «Нет тебя прекрасней, — негромко поинтересовался он, — играете?»

«Мы играем всё, ты только скомандуй», — боясь спугнуть удачу, отвечал ему Санёк.

«Сколько?» — поинтересовался рыжий.

«Пять рублей денег», — вздохнув, сообщил барабанщик.

«А это не много?» — усомнился парняга.

«Не много. Водка тоже теперь по пять», — осторожно заметил Санёк.

И тогда Свидетель скомандовал: он разжал кулак с помятым трёшником, добавил ещё два целковых и протянул Саньку.

Здесь следует заметить, что пару месяцев назад мы перешли с троичной системы счисления на пятеричную. То есть заказать нам песню стоило уже пятёрку.

Принесённые бабки тут же перекочевали в длинные музыкальные пальцы барабанщика, оттуда — в жестяную банку из-под кофе, служащую оркестровой казной. Санёк преобразился. Он подмигнул гусине, сделал глубокую затяжку и, трубно отрывнув в микрофон, обдал его сизым, преловатым дымком. Динамики разнесли по залу дежурную Санину заморочку:

«Дорогие гости! А сейчас по просьбе свидетеля молодых Юры ансамбль приглашает всех дружно подрыгать конечностями, короче, потанцевать». И продолжил: «Звучит танец. Для молодёжи. Деянадцатого века. До нашей эры! Шуточная песня: “Для меня нет тебя прекрасней”».

Несколько парней призывного возраста понимающе переглянулись. Публика любила шутки Санька. Мы заиграли. Олег спел. Несколько юных дам поаплодировали. Свидетель показал большой палец — правда, издадала. Было ясно: больше он не подойдёт.

Олег принялся долго и нудно настраивать гитару. Поднимался ропот. Я сделал вид, будто недоволен звучанием саксофона, и начал методично гонять октавные интервалы.

Это был полный облом.

«Хлопцы, а про коней вы, часом, не играете?» — к эстраде подошёл кургузый мужичонка с застывшим взглядом и чапаевскими усами, в кителе без погон и в армейских ботинках. Усатый заметно прихрамывал, левая его рука чуть подрагивала.

После нескольких наводящих вопросов удалось выяснить, что «про коней» — это песня «Старый фаэтон», записанная когда-то Вахтангом Кикабидзе. В ней есть слова: «...пыль из-под копыт / вороных моих коней...»

«Давайте, братцы, пожалуйста...», — просил усатый. Он был пьян, но не шибко — как передовик-комбайнёр в разгар уборочной страды.

«Пожалуйста» на хлеб не намажешь, в газетку не завернёшь, домой детям не принесёшь, — прозрочно намекнул Санёк. — Скомандуй, тогда сыграем».

Глаза Чапая блеснули, он лихо вскочил на эстраду, распрямил плечи и что было мочи скомандовал: «А-аркестр! Ка-аней!» (карету мне, карету...)

...«Кровь, пот и слёзы».

Групповая истерика.

Братская могила.

За такую потеху можно было бы и сыграть...

Давящийся от смеха Санёк стал объяснять Чапая, что скомандовать — означает заказать. Другими словами — дать нам «пять рублей денег».

«Пять?! Рублей?! Денег?! — заорал вдруг Чапай и затрясся ещё сильнее. — А этого, сучара, не хотел? — Он задрал штанину и показал ногу, искорёженную рва-

ными фиолетовыми рубцами. — Такого ты не хотел, падла, я тебя спрашиваю! Да пока вы тут себе хари отъедали, я в Афгане душманов бил! Понял, сука?»

«Шуровские» микрофоны разносили его крик по залу.

Кураж у нас сняло, как рукой.

Володя щёлкнул тумблером. Динамики оглушительно цокнули и вырубилась.

Чапай не останавливался. Он продолжал орать, колотя себя кулаками в грудь: «И за таких, как вы, падлы, я сражался? И за таких душман меня чуть не грохнул — из засады под Джелалабадом?! И за таких у меня, сучара, вторая степень контузии?! Из-за таких, как вы, остались на минном поле тридцать семь лучших моих дружанов?! Генка Покормяхо! Ванька Дубинин! Сашка Рукас! Яшка Погребец! Женька Селевко! Валерка Дементьев! Вовка Николенко! Толька Лапцун! Шурка Зелинский!»...

Смолк застольный гомон. Внимание зала переключилось на нас.

Гусыня переливала в бутылки самогон из алюминиевого чайника. Лейки у гусыни не было, часть напитка текла мимо.

«Молодец, Степан! — слова её были обращены к нам. — Это вам не кто-нибудь. Это воин-интернационалист. Инвалид, между прочим. Дай им, Стёпа, по мозгам так, чтоб мало не показалось! Отбей охоту — раз и навсегда — залазить в чужой карман!» — радостно провозгласила она.

...«Мишка Скрипка! Тимур Чихоев! Петька Вовк! Славка Ковалёв! Ромка Кальницкий! Витька Пахомов! Серёжка Мовчан! Мишка Трицкий! Венька Сотник!»...

Чапай всё кричал. Это был конец всему. Лицо Санька покрылось коричневыми пятнами. Он стоял, опустив руки и втянув голову в плечи. Я мечтал провалиться сквозь землю.

И вдруг раздался негромкий голос Олега:

«Послушай, брат!

Не мы посылали тебя на минное поле.

Не мы стреляли в тебя из засады.

Мы здесь — ни при чём.

Мы — люди третьи.

Я хочу, чтобы ты это понял».

Как гром средь ясного неба: мы — люди третьи!

Не кто-нибудь, а именно мы, живущие в советской стране, дышащие её воздухом, обласканные её теплом, едящие её хлеб, строящие БАМ и поддерживающие демократические режимы в братских странах, — и вдруг люди третьи!

Я испугался. Оттого, что понял: Олег прав.

Он сказал это не сейчас, а тогда — в начале восьмидесятых.

— Ты по гражданской профессии, вообще, кто? — продолжил Олег беседу с Чапаем.

— Вообще? — переспросил тот.

— Да, вообще. Именно вообще. Меня интересует, кто ты, вообще, по специальности, — перефразировал Олег свой вопрос.

— Слесарь... по газу, — был ответ ошарашенного Чапая.

— И работал, наверно, в Харгазе? Или где-нибудь в ЖЭКе?

— В Харгазе... Сейчас в артели...

«Пойми меня правильно, брат — продолжил Олег начатый монолог. — Моя мама вот уже двадцать пять лет хирург. Сейчас она режет раненых солдат в госпитале под номером три, на Шатиловке. Она спасает их жизни, не покладая своих золотых хирургических рук. У неё по шесть тяжелейших операций в день. Ампутации, осколочные ранения... Она штопает таких, как ты, сотнями и никакого навару, кроме жуткой головной боли по ночам, от этого не имеет. Она падает с ног прямо в операционной. Теперь представь себе на минуточку: у моей бедной мамы в ванной, к примеру, из-за пустяшной резиновой прокладки потекла газовая колонка...»

Чапай растерянно моргал.

«И ещё, — продолжал Олег. — Опять-таки... Попробуй себе представить. На войну тебя пока ещё не загребли, ты пока ещё не ранен, и пока ещё (Олег старательно подчёркивал «пока ещё») работаешь в Харгазе. И по вызову к моей маме присылают тебя. Именно тебя. Теперь ответь: ты поменял бы ей эту вшивую прокладку за красивые глаза? Или начал бы отравлять ей жизнь разговорами, что у тебя такой прокладки нет, и это страшный дефицит? И чтоб её достать, тебе нужно от моей мамы пять рублей денег?»

Чапай молчал.

Олег продолжал: «Пойми, мы пришли сюда не для того, чтобы портить вам настроение. Просто дома нас ждут дети, которые не ложатся спать. Дети ждут: что же принесёт в клюве отец?»

Чапай с шумом вздохнул, отвернулся и, прихрамывая, направился к выходу.

Олег был моим приятелем. Я знал: его мать умерла два года назад. Работала она учительницей музыки.

Мы запели «И на Марсе будут яблони цвести». Гусыня затеяла игру в платочек. Башлей нам было не видать, как копчёной кильке своих ушей.

Минут через двадцать Чапай появился снова — с пятью рублями в дрожащей клешне: «Вот... Командую... Про коней...».

Санёк принял у него бабки, мы сыграли вступление. Олег запел, перебирая струны своего самопального стратакастера:

«...Старый фаэтон
Для меня хранит
Память тех далёких дней:
Фаэтон лихой,
Пыль из-под копыт
Вороних моих коней...»

Публика вывалила на танцевальную площадку и пустилась, парами, вскачь.

«...Ах, подружка нежная,
Потерял надежду я...»

Андрюша лупил по диззам и бекарам своей старенькой «Вирмоны» так, что, казалось, из неё сейчас посыплется опилки.

«...Как же ты средь бела дня
Упорхнула от меня?..»

Чапай сиротливо сидел в конце свадебного стола — прямо напротив нас — и кивал в такт музыке. По щеке Чапая катилась скупая мужская слеза крупного помола.

Он встал из-за стола, засунул руки в карманы брюк и начал с пристрастием ощупывать свои ноги. Затем выудил из кармана сморщенный бычок и вышел в предбанник.

Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего!

В этом отделении он заказал нам «Фаэтон» ещё четыре раза.

Потом опять был стол. Подавали свиные рёбрышки с капустой. Андрюша разжился на кухне пузырьём самогона. Мы накатали по сотне капель и уговорили целое блюдо капусты. Чапай снова ненадолго исчез.

В следующем отделении он принёс ещё пять раз по пятёрке. В общей сложности за «Фаэтон» он уже выкатил полтинник — ровно столько, сколько обычно платили нам хозяева за целый вечер.

Потом у них был сладкий стол и кофе глясе.

Мы начали последнее отделение.

Он подошёл к нам — уже в куртке: «Ну... мне... пора...». Чапай был пьян в стельку, вывалившись из ботинка ужравшегося в дымину сапожника. Протянул три пятьдесят: «Давайте ещё раз... на прощание... про коней!».

Мы не стали мелочиться из-за полутора рублей и сыграли ему коротенько — без проигрыша и последнего куплета.

Чапай сидел рядом с эстрадой и рыдал. Когда мы закончили, он встал и, с тупейшей мордой, начал выворачивать карманы. На пол выпала коробка спичек, расчёска, удостоверение инвалида.

Не найдя денег, Чапай заканючил: «Ну всё, хлопцы. Больше нету. Прошу вас... последний раз! Самый... последний... и уйду!».

«Без бабок оркестр не играет», — бесстрастно возразил восставший из пепла Санёк.

«Хлопцы, я ж вам... всё... отдал, — растерялся Чапай. — Очень... прошу!».

Стоп, читатель!

Мы подошли к главному.

Как поступил бы в такой ситуации любой из нас? То есть в ситуации заведомо бесперспективной — когда бабки нам и не светили?

Позже мы провели «конвульсиум».

На конвульсиуме выяснилось следующее.

Ожидающий повестки Чуйко сыграл бы.

Санёк, Мушник и я — не сыграли бы. Сыграешь разок нашару — потом не отцепится.

Точно так же, как и Андрюша, — я, Мушник и Санёк, в результате, ни копы не поймали бы.

Так или иначе — речь о каком-либо наваре не шла.

Но тут снова вмешался Олег.

На растерянное чапаевское «у меня больше нет» Олег ответил:

«Говоришь, нет? А мы тебе сдачи дадим».

У мужичонки глаза — на лоб:

— Да?

И задирает тут наш Чапай рубашонку, лезет рукой куда-то очень глубоко (скорей всего, в трусы) и достаёт аккуратно сложенную двадцатипятирублёвку.

Олег ему — как положено, двадцать колов сдачи, его же пятёрками. Сыграли. Он опять просит. Короче, минут за пятнадцать спускает он ещё один четвертак. Потом ещё три раза по четвертаку. Свадьба уже разошлась, нам посудомойки розетку отключают — им по домам пора, так мы ему без микрофонов, без аппаратуры:

«...Старый фаэтон

Для меня хранит

Память тех далёких дней...»

Короче, после того, как Олег сказал ему про сдачу, Чапай оставил нам ещё полторы сотни. Таких бабок мы больше ни на одной свадьбе не видали.

Под конец пожал он нам руки — и свалил.

В тот вечер я понял, что значит — быть настоящим политиком...

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Ты белкой в России была,
доверчиво-дикой была ты,
была ты ручной и крылатой,
крылатой, не зная крыла;
летела в лесные палаты,
где рдели сквозные закаты
и молча сгорали дотла.

Пушистый комочек тепла,
ты жалась во мраке дупла,
когда октябри моросили,
не знача ни бедной России,
ни боли сознанья, ни зла.

Я знаю: теперь и когда-то
ни в чем не была виновата, —
за что и откуда расплата,
зачем с пепелища заката
летит золотая зола?

Россия, Россия, Россия...
Постой, надвигается мгла;
я сна не увижу красивей,
чем тот, когда в бедной России
ты белкой лесною была.

Откуда удары набата,
чья это беда и утрата,
по ком это — колокола?
По веткам горящим бежала,
сквозь пламя — живая стрела...

В глазах твоих отблеск пожара,
неведомой боли игла.

* * *

От границы до границы
не объять отчизну-мать,
и со всем, что в ней творится
ум не в силах совладать,
и таких пространств, как эти,
без концов и без начал,

ни один народ на свете
никогда не получал.
От подобного размаха
в доме качка и сквозняк,
эхо праздника и страха,
слева свет, а справа мрак.

Удалой играя силой
на Днепре и на Оби,
ты сынов своих, Россия,
одиноких не губи;
хоть сбиваешься со счета,
всех учти до одного,
всех вбери в свою заботу,
а не только большинство:
кто вдали, а кто под боком —
взор в просторах не топи
и пророка ненароком,
как младенца, не заспи!

* * *

Люби, пока не отозвали
меня. Люби меня, пока
по косточкам не разобрали
и не откомандировали,
как ангела, за облака.
Люби, пока на вечной вилле
не прописали, и Господь
не повелел, чтоб раздвоили
меня на душу и на плоть.
Люби, пока земным созданием
живу я здесь, недалеко,
пока не стал воспоминаньем,
любить которое легко...

ГОЛУБЬ ГОРОДСКОЙ

Между дышащей угаром
мостовую и толпой
по бордюру тротуара
ходит голубь городской.

Ходит голубь городской
тупо, словно заводной,
и глаза его слезятся
деловитою тоской.

Он на крошки, на окурки
смотрит косо, как придурак,
он не видит и не слышит
ни колес, ни каблуков, —

перегаром дымным дышит,
существует, будь здоров.

Я, спешащий на автобус,
так на голубя гляжу,
как Господь на этот глобус,
где, как голубь, я хожу
на краю планеты ломкой,
ах, по лезвию, по кромке,
по черте, по рубежу...

* * *

У России свой путь. Роковые вопросы
возвращают на круги своя...
На границе вагоны меняют колеса —
у России не та колея.

МИНИАТЮРЫ

ПОБЕДА

Никуда не ведущий обрыв раскинулся рядом с наклонной плоскостью, ступить на которую нельзя, не потому что такой закон, а потому что нельзя, и неожиданно открывается ступеньками — так вещь, измучившая предсказуемостью, радуется до сего дня скрытыми достоинствами. Солнце вынуждено научиться играть роль сауны, выводя лишнее из зашлакованного мыслями организма — ничего более не выжать из солнца.

Арабский сезамовый соус — не что иное, как сильно разбавленный израильский хумус — своего рода запоздалое садистское торжество победителя, не насытившегося сто миллионов лет назад сделкой по отторжению полуострова, сродни жесту доблестного майора: выплеснуть кофе из старинной фарфоровой чашечки, сервированной для воинов-освободителей хрестоматийной старушкой (такие бывают только в многосерийном кино — и ах, как не хватает кружевного передничка! — но ведь город берут, черт возьми!), водки налить за победу — бедному фикусу плечочек: «расти будет лучше», а параллельным звукорядом для уравнивания добра со злом, голос Геббельса: «мой фюрер, русские уже на Вильгельмштрассе».

Главная достопримечательность Вильгельмштрассе — магазин, название которого, навязчиво сходное с именем известного когда-то издательства, вкупе с зависшей неподалеку — вместо того, чтобы просвистеть ослепительным бликом и выкупаться в ближайшем океане, — лунной неизменно возвращает к мысли «ничего нового давно не существует» и к вопросу «кому бы рукопись продать». Сегодня Вильгельмштрассе одинаково хорошо простреливается со всех сторон, включая здание совета местной федерации, и оставляет лишь подслеповатые глазницы квартир для среднеобеспеченных слоев на ближних подступах к вечно осажденному британскому посольству. Бывшие союзники погорячились с выбором места дислокации и теперь в одиночку расхлебывают скуку латентной опасности.

Реактивная торпеда, выпущенная с оптимальной скоростью, одинаково успешно взрежет водную гладь, чужую улицу на нейтральной полосе и сливную яму, какой непременно становится душа, если, избалованная красками и контурами, снова запаматовала привести в действие противоракетную защиту. Разворошив поверхность, перемешав слои психологических фекалий, внешнее вторжение подтвердит идентичность слежавшихся, нижних, и новых, наслаивающихся выше, а проще говоря, то, что все плохо, даже когда хорошо, и маленькое случайное счастье доступно исключительно захравшемуся индивиду и есть лишь наказуемый слом системы и факт отступничества от вечных ценностей вселенской скорби.

С началом прилива всегда легче плыть, правда, острее становится неожиданный вопрос о смысле целенаправленного перемешивания воды — ведь тот же прилив смывает берег, забытый на нем зонтик-грибок падает, приближая смерть тени, и кончаются сами границы пространства, пригодного к повседневному существованию, и так уже достаточно размытые временем и взглядом сквозь стекла маски для подводного плавания, благодаря тонированной кубокилометрами голубизне превративших реальность в нереальность: ведь не краски и

контуры, но плотность давно стала определяющим фактором восприятия, а потому прозрачные рыбы кажутся существующими на самом деле — ровно, впрочем, до момента удара хвостом электрического ската — зато попытка определить направление «к берегу» обречена изначально, потому что берега, с его устоявшейся для кого-то посторонней материей, в прицеле глубоководной маски не существует вообще. Зато можно придумать другой. Разве не правда, что для того чтобы встретить новое, достаточно просто не помнить прежнего? Как правда и то, что и эта мысль не нова.

Все зависит от точки отсчета, как писал старик Ньютон, да и я, кажется, тоже. Открывавшаяся наконец-то обрывом поверхность земли, видением дилетанта, которому неведом пока успех, оборачивается беспощадным медленным, как ампутация, сползанием в сливную яму давно придуманных мыслей. Луна висит так высоко над горами, что ее власти не помешает даже восход солнца, одновременно почти соприкасаясь с морским горизонтом, наверное, потому, что ее видят разные люди, ненавистно противоречащие друг другу всеми до единой молекулами накануне даты извечного семилетнего перерождения организма. Над Вильгельмштрассе она, с наивностью гения считающая себя светилом, неполная, как германский бюджет, зависла на одной и той же высоте вроде зараженного вирусом файла на фоне трехцветного, вопреки явлению плотности, флага и встречает проходящего случайно под порталом бундесрата совсем ненемецким обещанием: «Я буду всех победить.»

9 мая 2003, а потом еще немножко.

ВЕЧНА

Еще не было восьми, когда навстречу мне, прямо из главной двери редакции журнала «Вторые руки» или откуда-то по соседству вышел дождевой червяк. Огромный и как будто грозящий прорваться от переполняющего его жира, он мог бы казаться розовым, если бы не хлябь, столь нетипичная для текущего сезона и в результате ожесточенных уличных боев добравшаяся уже до центра города.

Встретить дождевого червяка еще до того, как церковные часы начали бить восемь — примета, явно перечеркивающая благотворное действие трех подряд сошедшихся утром пасьянсов, подумала я и остановилась. Впрочем, сначала остановилась, потом — подумала. Червяк остановился тоже.

Не зря мы показались друг другу знакомыми. Случайный встречный был, как брат-двойняшка, похож на с недавних пор появившуюся в моей жизни нежно-розовую крысу — обитательницу заброшенного аристократического района. Только ее наркотическим происхождением, спровоцированным непродуманной смесью гашиша, чистой травы и итальянского вина, можно объяснить действительную пушистую нежность окраски, по сравнению с которой сегодняшний червяк способен удостоиться только скромного эпитета — цвета «увядшей розы».

Остается надежда, что он, гипнотизирующий меня взглядом невидимых глаз, не знаком с другой крысой — скомканно-грязной, а потому несомненно реальной, ее я видела через мутное окно аргентинского ресторана, когда многоногое создание нагло прогуливалось в ту сторону, откуда мне поочередно выносили заказанные блюда, только — своим, внешним, застекольным путем, и суетливо бежало в непрозрачный вечнозеленый куст, сжимая в одной из миллиона конечностей что-то определенно съедобное, оплаченное из моих налогов в счет вечной жизни сограждан нечеловеческого происхождения.

Эта славная троица безусловно намерена собраться где-нибудь на вершине смены времен года и извести меня своей схожестью с прототипами, встреча с которыми так же неизбежна, как наступление следующего утра.

Дождевой червяк, выходящий навстречу из засады, где просидел, наверное, целую вечность, ждет награды. Съедобного жертвоприношения или элементарной беседы, в ходе которой смогли бы быть озвученными годы терпеливого молчания. Поддаться на его провокацию значило бы — отказаться от напечатанного ранее, от придуманного и только обещающего быть придуманным, разлететься в куски бесполезных споров и звона колокольни, предназначенной единственно для звона, созывающего к началу экскурсии по давно потерявшим тайну закоулкам бытия. Наверное, в этой ситуации надо скорее бежать — ведь продлился пауза еще миг — к месту преступного свидания начнут сползаться крысы, одержимые грехом чревоугодия. Но пошевелиться невозможно под взглядом невидимых глаз.

Появление крыс не будет неожиданным — они предупреждают о своем маршруте, высылая впереди потоки грязи, ничем не напоминающей недавний снег. Вчерашняя мнимая красота жадно обволакивает непристойными языками все, что находится ниже траектории случайной пули — куда же останется упасть, когда начнется пальба без разбора и каждый обломок выстроенных вопреки здравому смыслу небоскребов станет очередной каплей, которая переполнит чашу зловонной лужи, выплескивающейся и выплескивающейся через край жалкими остатками терпения, — а черно-бесцветные капли летят, летят во все стороны, так и не в состоянии долететь до прорезающих воздух бомбардировщиков, чтобы нанести ответный удар?

Только крысы умеют плавать не дыша.

Бежим, червяк, бежим вместе!

Наши пути все равно недолго будут параллельными. Переполняющий тебя жир утянет грязно-розовое тельце на дно бывшего военного канала, и все же это будет лучше, чем дожидаться карательного отряда: крысы сожрут тебя быстрее, чем ты сожрешь меня — тебе еще нужно успеть выйти из собственного гипнотического оцепенения мнимой власти. Только если сильно повезет — а для этого надо иметь опыт беспроектных игр в лотерею с миллионным джек-потом — можно будет уцепиться за краешек последней плывущей против движения армады льдины. О весна, без конца и без края!..

Март 2003

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ

Рыбы, живущие под неровной поверхностью пруда, не скрывают своей неприязни. В их вывороченных от боли глазах я неизменно читаю слово «страх» — потому ли, что генетическая память не дает им забыть обкусанного бутерброда с тунцом, потому ли, что самим фактом прохождения мимо я напоминаю им, насколько неуместен пруд в коробке задумчивых в ожидании своего 11 сентября небоскребов.

Когда погода хорошая, раздраженные рыбы лица перемешаны с отражениями усталых детей, развлекающихся мамаш и новобрачных гомосексуалистов, отчего всем им тесно и мучительно хочется выпрыгнуть из своей зоны мира в «другую сторону», разогнать волну, которая — всего лишь иллюзия от пущенной кем-то шутихи, и лететь, не зная преград в виде осатаневшего от безделья мусорщика и прозрачных, как мороженое, водорослей. При плохой погоде пруд выходит из берегов прямо к пустым скамеечкам, и тогда ноги одинокого рыцаря скрываются под водой вслед за его уже плывущим по дождевой ряби портфелем.

Когда-нибудь я приду в этом пруду топиться. Что будет особо бездарно хотя бы потому, что я умею плавать, а глубина его вряд ли предназначена для полно-

ценного передвижения по вертикали существа, по размеру чуть большего, чем бутерброд с тунцом. Но как же не прийти?

Графиня изменившимся лицом. На пути у нее — стражи порядка, закон, оцепление в честь подпараграфа 3 параграфа 8-прим, горящие флаги, летняя распродажа, которая отвлекает от основной цели, и симпатичный рыцарь с подмокшим портфелем. Обуреваемый желанием рассказать, почему он расположился на неудобном причале, вместо того чтобы нырнуть в кафе, где столики заняты его загорелыми близнецами разного цвета волос. Так они и будут понимающе молчать, пока звонок мобильного телефона не напомнит рыцарю о необходимости продолжить обсуждение подпараграфа 4, а графиня, словно очнувшись от ежегодно повторяющегося сна, не подхватит шлейф за секунду до того, как тот попадет под гусеницы танка, и не заспешит к прилавкам летней распродажи, пропустить которую — грех сильнее самоубийства.

Потом они, конечно, встретятся. Но не узнав друг друга — сильно меняющихся по наступлении каждого из времен года — отпразднуют радостное свидание топорливым сексом на согретой телами гомосексуалистов скамейке.

Улыбка крупной рыбы, только что в экстазе обсасывавшей каменный парапет, отвратительна ровно до тех пор, пока я не помашу ей рукой. Как она завоет тогда, шокированная необходимостью давать мне объяснения: зачем оказалась здесь? кто научил подслушивать чужие мысли? в глаза смотреть — тут неизбежна паника, и вывернутость глаз по одну сторону лица заставит метнуться наискосок, сквозь толпу, сшибая телохранителей и столики уличного кафе. Я опять останусь победителем, потому что ничего не успела спросить, а раз так — избежала уничтожающего ответа.

Я все время думаю, где были рыбы до того, как появился пруд, неестественный на проклятом месте ничейной зоны между двумя линиями фронтов, как попытка построить соразмеренный мир в щели, образовавшейся после разрыва времен. Из прошлой жизни здесь — одуванчики, которые стремительно пробиваются сквозь трещины в асфальте на проезжей части проспекта, декорированного домами-мертвецами. В следующей — трещины забетонированы, хотя это и не населило живыми существами пустые и от этого еще более стремительные автомобили. Как на картине, где силуэты рыб плывут навстречу симметричным скелетам самих себя. Но остается вопрос, откуда они плыли до этого. И воды не хватит, чтобы потушить горящие флаги. Может быть, именно в предвкушении невозможности спастись пруд выкопали таким мелким.

Каждый раз, когда в городе начинается весна, обреченная на то, чтобы стать осенью, юный рыцарь возвещает о ее ненужном наступлении залпом динамита. Графиня, окна которой выходят на берег, вздрагивает, вспоминая об оставленных в прошлом году гостях. Но громкость взрыва, измеряемая ее тонким слухом в тротиловом эквиваленте, позволяет нежно улыбнуться одними глазами и удовлетворенно поставить галочку в списке продуктов, необходимых для приема гостей нынешних. Улов удался. Спасибо, милый, а если в твоих сетях случайно окажется что-то, не предусмотренное меню, то это только оживит давно и безнадежно текущий по кругу разговор в саду. В последний раз его удавалось пустить в нужное русло, когда я перепутала гармонию взрывчатки со стуком неуместно задевшего за соседний небоскреб пропеллера.

Как просто не умирать, правда, любимый? Одуванчики отнеси к другому берегу — завтра там начнется война, им нужно будет чем прикрыться. Я не обижусь, если ты останешься там. В конце концов, ты придумал свой подпараграф, и он так же нужен тебе, как мне — рыбий оскал, в котором я в следующий раз узнаю патологический ход мысли случайного современника.

А ЕСЛИ ЗАВТРА

Первый день войны кажется на удивление спокойным и почти не отличающимся от дней мира. За исключением, пожалуй, того, что я промерзаю буквально до костного мозга после двадцати минут ожидания автобуса, пока не выясняется, что средства наземного транспорта лишены права свободного передвижения из-за демонстрирующих в центре города безнадежных пацифистов, в результате чего я не попадаю в одно место, где одинаково не ждут ни меня, ни моей просьбы. Жертва ничтожно мала — неотправленное из третьих рук письмо, всего какая-то одна человеческая жизнь.

Наиболее напуганными выглядят полицейские, стайками бороздящие бастующий город и проявляющие отмеченную законами военного времени бдительность в сосредоточенности на жестах: за чем таким могла потянуться в недра дамской сумочки рука, поравнявшаяся с синагогой и на уровне этого выравнивания замедлившая перемещение в пространстве. Из-за мартовских морозов запотевают стекла очков, и мне не доведется видеть их рыбьего взгляда, от которого потом так долго болит голова у Любы, лишь десятью минутами позже оказавшейся у входа все в тот же еврейский храм Божий и вооруженной мобильным телефоном — куда более серьезным снарядом, чем моя пачка сигарет.

В дни войны, особенно если она так далеко, что никак не может задеть, а потому дает определенную свободу волеизъявления, чреватую потерей пунктов в профессиональной и психологической табели о рангах, очень удобно и выгодно делиться. Не обязательно на своих и чужих, а — как одноклеточные, которым испокон века успешно удается умножать самих себя за счет физиологического плюрализма, отращая новые и новые проявления собственной личности, чтобы потом без сожалений отторгнуть их, гордо сказав: и это тоже — я. Хороший, непопулярный музыкант и честный, в сущности, человек, вынужден отказаться от давно запланированного куша — благотворительный вечер в зеркальном дворце общим голосованием решает отдать все оставшиеся после подтирания винных луж средства в фонд помощи детям войны. Возможно, рыдая в подушку телохранителя, он успокоит себя потом на миллиметр повысившимся рейтингом в радиопередачах, в противном случае утешится остатками непролитого стоимостью, на порядок превышающей размер бюджетных дыр. Отпировавшие во время чумы потом не забудут пожать ему руку на следующих вечнопродолжающихся шоу — если узнают, конечно, потому что шоу должно продолжаться во имя сохранения общественного дисбаланса, даже если из-за него или вследствие которого принцессы подносят вам суп, практически не интересуясь содержимым вашего кошелька.

А влюбленные продолжают говорить о войне вместо того, чтобы говорить о любви. Это более безопасно.

Каждое следующее утро начнет измерение последовательностью построения новостей, реальность в которых будет просвечивать только хронологическим месторасположением прогноза погоды.

Кстати, может быть, потепление приблизит конец кошмара, столь же вожделенный, как отпуск за свой счет, чистая стоимость которого тем ниже, чем выше ртутный столбик в рамках климатической зоны «старой Европы».

Хотя еще быстрее будет взят далекий город.

И мы отдохнем.

Человек с большой буквы Че поет Бродского, слегка опираясь на заставленный пустыми бутылками стол во внутреннем зале синагоги. Мы с Любой курим и бросаем бычки на головы ничего не подозревающих полицейских, скрываясь в тени балкона. Начинается второй день войны.

Нынешней весной я опять не куплю себе велосипед — искомая сумма уйдет на стерилизацию кошки. За некоторую исчисляемую во всемирном эквиваленте жертву с моей стороны живое существо лишится несчастья безнадежно любить.

До сих пор она не любила — и все же так лучше. Зачем ей знать?

Дорого можно отдать за то, чтобы одним взмахом скальпеля — впрочем, может, он далеко не один, может, там, на блестящем столе в лучших традициях телевизионной вивисекции творится рубка, резка, разрыв, расчленение — оставить в реальном или только намечающемся прошлом боль запретного, бывшего когда-то твоим, отнятого и переданного в законное владение по строю дальше. Холодное лезвие приятно щекочет переполненный наркотическим восторгом живот, по добрым окровавленным рукам стекают остатки надежды, игла, тонкая и длинная, как недосказанная фраза, аккуратно скрепляет разорванное, создавая видимость невмешательства, за которым — все, что было раньше, только освобожденное от ненужной мечты.

Ночью все кошки серы, а весной все мечты — ненужные.

Толстая, черная и далеко не исключительно визуально лишняя точка на совершенной поверхности кожи не оставляет сомнений в том, что с ней надлежит проделать. Выдавленная легким прикосновением идеальных ногтей, она разольется мерзким жирным червяком, найдет свое последнее местообитание в сливном бачке, а вслед хлынет живая, очищающая от остатков скорби кровь — и будет приговорена к быстрому свертыванию, чтобы потом засохнуть и оставить на месте недавней раны лишь крохотное пятнышко, символ того, что не забывается, даже пережитое. Но странно видеть, когда мешающий целостному восприятию червяк оставляет после себя бескровную, наполненную пустотой дыру, пугающую своей чистотой и полной невозможностью сомкнуть края — границы несоприкасаемого. Попытка забыть не проваливается, но оборачивается другой формой напоминания — напоминания о чем-то, чего как бы не было, но которое от этого не менее реально.

Не бывает исцеления без возвращения.

Отпусти меня, отпусти.

Сколько я еще должна просить?

Я думала, я научилась прощать. Как бы назло не допустившему меня к исповеди священнику. Научилась. До такой степени, что каждое следующее прощение дается мне легче прежнего, а потребность в них одинаково невыносима каждой весной.

Только я опять ошиблась. Как ошибаюсь всегда при попытке отличить настоящее — пустую дыру — от желаемой, пусть кровавой, но цельной выдумки. Соразмерить степень вины ушедшего с собственной болью потери.

Зачем-то все уходит. Пропадают в огромных, похожих на свежий московский снег и различных только с той стороны сферы, из иллюминатора самолета, облаках — чтобы выплыть из них на другой стороне океана и начать отсчет в обратном направлении или чтобы раствориться еще выше, там, где нет белого и голубого, а есть только тонкий трепет колокольчиков, обещающий ждать и меня. Но нить слишком непрочна, она не в состоянии одной своей силой оторвать от привычно-мелочного и вознести, позвать, заставить — потому что велика сила любви к воспоминанию, нуждающемуся в ритуальной подпитке отработанными символами, но и их мощи не хватит для освободительного разрыва, значит, опять туман и зависимость и неумение нанести прицельный ножевой удар по приговору зависти-

ливых богов, не важно, в чей адрес — разлюбить или научиться не любить заново. Как это умеют кошки, сами или с посторонней помощью.

Каждую весну я мечтаю купить себе велосипед.

*Первый абзац — 7 апреля 2004,
остальное — август.*

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

РАССКАЗ

У подъезда четырёхэтажного блочного дома, который в провинции называется секцией, сидит старик и сторожит помойные ведра. Он, конечно, мог бы и не сторожить их. Кому нужны отбросы? Тогда и его самого нужно бы сторожить.

Впрочем, ведра-то — никелированные. Может, кто из хулиганства их и возьмет. Всякий народ шляется.

Если подумать, Соня, внучка, могла бы вынести ведра, когда машина подъедет.

«А вы бы в садик пока пошли», — до чего же глупа невестка! Может, ещё и в домино сыграть с бездельниками! Почему нужно объяснять элементарные вещи? И вообще, нужно ли объяснять?

Вот сейчас загудит машина, и он встанет и пойдёт. А может, и не встанет. И его отнесут и положат на стол. Господь знает, когда кого прибирать.

Жил долго, не сказать, что очень счастливо. А кому сейчас хорошо! Но спину ни перед кем не гнул. «Чтоб нам так жить и получать его пенсию», — скажет невестка. Наградил же бабой Господь сына!

Вот, вышел на пенсию, а всё дел невпроворот: не проследи он за машиной, так и будут стоять переполненные ведра с помоями неделю. А этим что не скажи, всё им некогда.

С того света уже ничего не подскажешь. Как они будут без него!? Всю жизнь — всё в дом.

Для семьи старался. В могилу с собой всё не заберёшь. Но кто это оценит? Меньше всего дети. Уж он-то, Лев Ноевич, хорошо это знает: никогда молодые не поймут забот стариков. И если этого вовремя не усвоить, можно сойти с ума.

Жил в семье сына. Заплесневелое слово «иждивенец» к нему никак не подходило. Сам определил свой пай — плата за квартиру. Квартира трёхкомнатная, полпенсии на оплату уходит. Пенсия у него, слава богу, по максимуму. Всю отдавать — потерять независимость.

Да и что толку. Всё равно невестка на тряпки пустит. Раньше смеялся над пресловутыми словами «на чёрный день». Жил широко. Это ещё при жене, покойнице. А тут вдруг стало тревожно. Тайно от сына завел сберкнижку. Не дай бог, что-нибудь случится. Старый Лев привык решать проблемы сам.

Нет. На похороны — перетопчутся. Похоронить отца — это их обязанность. А что касается просьб — до этого ещё не унижался. Вот пальто себе справил. Наверное, последнее. Воротник купил, когда ещё меха были дешёвые. Пальто добротное. Может, ещё и внуку перешьют. А из воротника, по нынешним временам, и шапка выйдет.

Нет, надо сказать сыну, чтобы продал пальто. Нехорошо внуку носить после покойника.

Не забыть бы наказать. Чтоб без лишней суеты. А то приспичит: одно не успел, другое недоделал.

Вот Сергей Спиридонович с третьего этажа занял пятнадцать рублей — и помер. Суетливый был старикашка, ничего не успевал. Лев Ноевич не любит суеты.

— Отдыхаете, Лев Ноевич? Как здоровьечко?

Вот, тоже старуха. Всё мельтешит и мельтешит. Уже под семьдесят, а всё мельтешит.

— Здравствуйте, Прасковья Ивановна. На здоровье не жалуюсь, — сухо, но вежливо отзывается Лев Ноевич.

Прасковья Ивановна кутается в демисезонное дочкино пальто. Для дочки — пальто вышло из моды. Пальто велико худенькой Прасковье Ивановне. Его продувает насквозь холодный осенний ветер.

— А у меня вот — совсем никуда, — жалуется Прасковья Ивановна. — Сердце болит и болит. Сердечная недостатка. Мне бы санаторию какую, может, полегчает. Да всё недолга. Хоть погибай. На завод ходила: путёвку какую бы дали. Да куда там! Разве найдут для старухи. Всё молодым, молодым. Старых-то и врачи не лечат.

Голос Прасковьи Ивановны журчит где-то рядом. Это знакомо, и потому не раздражает старика:

— У меня сердечно-сосудистая болезнь. Мне бы работу какую бы полегче. Говорю бригадишке, Клавке, чтоб перевела меня коридоры убирать. Тяжело мне в цехе ящики с железом двигать. А бригадирша, баба здоровая, молодая ещё, пятидесяти нет, говорит: «Вам тяжело — увольняйтесь. Мы тоже не лошади». Разве они, молодые, чего понимают? Бывало, стоишь за чем, так всё норовят без очереди. Совести у них нет. Вот и Валька моя...

— Да-да, — отзывается Лев Ноевич.

Прасковья Ивановна сбивается с мысли. Трудно вспоминает, что же она хотела сказать. Что же её всё время мучает?

— Ох, тяжело, так тяжело, что и сказать не можно. Не дождусь, когда этот год, последний до пенсии, пройдёт. В колхозе-то всю жизнь горбатилась, а пенсии не заработала. И что это за жизнь окающая.

Прасковья Ивановна хотела спросить ещё у Льва Ноевича, как ей на Вальку, дочку, управу найти. Они, евреи, умные. Может, что посоветует дельное. Но в это время с улицы, непрерывно сигнала, въезжает машина, собирающая мусор. Лев Ноевич поднимается. Говорит серьёзно: «Извините, у меня дела». Стучит палкой в переплёт окна и сердито кричит: «Соня, Соня!»

Из парадной выбегает худенькая чернявая девочка. Хватает вёдра, стоящие возле старика. Спешит к машине. Старик следует за ней. Останавливается среди женщин. Сосредоточенно смотрит, как машина с глухим урчаньем пережёвывает содержимое вёдер. Потом молча возвращается к своему месту.

Монументальной глыбой возвышается его тело у входа в дом. И где-то в глубине этой глыбы работает тонкий и хрупкий механизм, который слабеющей пружиной неуверенно раскачивает маятник.

«Кабы знал, где упадёшь, соломой бы подложил».

Вот остановится маятник, и уйдёт Лев Ноевич, провожаемый вежливыми слезами невестки и сдержанным молчанием сына. Он уйдёт с достоинством, без долгов. Соберутся у гроба старые знакомые и прежние друзья, которые уже и встречаются только на похоронах. Помолчат значительно. Потом кто-нибудь скажет о нём: «Если уж такой дуб свалился»... И тогда каждый подумает о себе, но постарается побыстрее отогнать эту неуместную мысль. На похоронах — только о вечном. Но кто-то обязательно бестактно ляпнет:

— Вы слышали, и Залман тоже.

Тему с оживлением подхватят:

— Да, да. Такой молодой. С десятого года.

А дальше пойдёт:

— У Петра Васильевича жена от рака...

— У Когана сын разбился на машине. Совсем ещё мальчик. Сорок лет.

И ни слова о Льве Ноевиче. Лев Ноевич раздражённо подожмёт губы. Но никто этого не заметит.

Будничная затрещит:

— Я ни за что не разрешу мужу покупать машину. Он такой рассеянный. Всю посуду перебил. Уже до китайского сервиса добрался.

— Ой, я недавно видела в комиссионке у Марковича чудесный английский сервиз. Нежной благородной расцветки. Расписан картинками из времён Диккенса. Фазтоны, гончие, всадницы в Булонском лесу. — Это, конечно, невестка. Только она может не знать, что Булонский лес под Парижем.

— Очаровательный сервиз, но ужасно дорого, — невестка бросит долгий взгляд на мужа.

Тот отведёт глаза. Посмотрит неуверенно на отца.

Лев Ноевич зажмёт глаза ещё плотнее. Зажал бы и уши, если бы это было прилично в его положении.

— Подумаем, — пробормочет сын. — Надо же отцу на памятник.

— Ну, дорогой, не всем же ставят памятники. Можно и так сделать что-нибудь приличное.

Сыну бы одёрнуть жену. Не время заниматься мелочными счётами. Но он промолчит. И этого стерпеть Лев Ноевич уже не сможет.

— По ветру всё пустите! — воскликнет он в гневе.

Все удивлённо повернутся к нему. Наконец-то вспомнили. А невестка спросит:

— Папочка, разве вы не умерли?

Удивительно бестактная особа! Лев Ноевич не удостоит её взглядом.

— Соня, Соня, — закричит он сердито внучке. — Слышишь, машина приехала. Неси вёдра!

Не поздоровавшись с гостями, пойдет во двор. Что ляссы точить, коли дело есть.

Сын нерешительно бросит вслед отцу:

— Папа, оделись бы. Холодно на улице.

И уже за дверью Лев Ноевич услышит, как кто-то, сочувствуя невестке, скажет:

— Какой, однако, тяжёлый человек. Даже в такой день...

Сказать, что Лев Ноевич не боится смерти, было бы неправдой. Но это не животный, панический страх. Он всё осмыслил, трезво взвесил свои шансы. Конечно, диагноз врача — ещё не смертный приговор. Можно сделать поправку на его некомпетентность или просто лень. Но сбрасывать со счетов неизбежный печальный исход нет оснований.

Когда ты никому не нужен. И меньше всего самому себе. Когда нет никаких желаний, кроме неуверенного желания жить. Но ведь желание жить само по себе для мыслящего человека довольно бессмысленное занятие: поддерживать процесс, единственное назначение которого — ощущать боль...

Машина-«мусорщик» давно уехала. А Прасковья Ивановна всё ещё стоит потерянно и никак не может вспомнить, зачем она вышла во двор.

— Артур, Артур! Где ты? Иди немедленно домой! — зовет она внука, который должен гулять где-то во дворе. Дочкино пальто совсем не греет. Да и кровь-то — как вода студёная. На Покров выпал снег: зима будет лютая. Не умереть бы в эту зиму. Холодно будет умирать. А сейчас всё льёт и льёт. Как из ведра...

«Вёдра-то я не вынесла! — вдруг спохватывается Прасковья Ивановна. — Ах, беда какая! Ведь и вышла-то за этим. Совсем старая выжила из ума».

Она спешит домой, будто ждёт её там какое важное дело. Мысли беспокойные, суетливые одолевают её.

«Вот надо бы опять бежать за внуком, да ноги не идут. Надо бы постирать, да рук не поднять. Намахалась шваброй, накрутила тряпок. Спины не разогнуть. Вон бригадирша, Клавка, успевает ещё с Кукушкиным из охраны полюбезничать. Ох, жизнь какая окаянная! А Кукушкин — мужчина видный, хоть и инвалид без ноги. Машину как инвалид получил. На работу на ней гоголем ездит. А председатель Пал Палыч с портфелем вон по трамваям мыкается. Раньше Кукушкин банщиком работал, а теперь вот в охрану определился. Работа непыльная. День да ночь, сутки прочь. Клавка знает, с кем любезничать.

Где же этот паршивец Артур? Ушёл и не идёт. На улице сырость и темень. Не докричишься. Совсем отбился от рук мальчишка. И Валька непутёвая, совсем им не занимается. Ох, наказал Бог дочерью... Вроде открывается дверь. Пришли, поди».

— Это ты, Валя?! Артур, негодник! Ноги, поди, промочил? Пальто сырое? — Прасковья Ивановна хочет говорить строго, но голос её срывается от волнения. — Валентина, сымай с него всё. Взопрел он весь. Сажай скорее его в ванну. Да одежду-то хорошо положи, чтоб сохло.

— Да ладно, мама, — лениво отзывается дочь. — Что вы всё командуете? Сидели бы тихо.

— Я бы рада сидеть, да головы у тебя своей нет. Застудишь ребёнка.

— Баба, а в ванной у меня рыбки, — говорит внук.

— Какие ещё рыбки?

— Вчера купила живых карпов на обед. Так мы пустили с Артуром их в ванну. Пусть поплавают. Артур захотел, — поясняет дочь.

— Вот голова! И что учудила! — возмущается Прасковья Ивановна. — А если он завтра корову захочет привести в дом?

— Не-е, корову не надо. Я хомячков хочу, — говорит Артур.

— Ещё чего не хватало! Валентина, перекладывай рыб в таз. Я их пожарю.

— Не жарь! А-а-а, — ревёт Артур.

— Да не реви ты, окаанный! — Прасковья Ивановна гладит внука по голове.

— Мама, что вы ребёнка нервируете?

Ещё Валька голос подаёт. Как устала, как устала Прасковья Ивановна:

— Да мой ты, Валька, ванну скорей. Вон Артур весь дрожит.

«Ох, жизнь какая! И за что это наказание Божье!»

— И ты, леший, не лезь под ноги, — Прасковья Ивановна в сердцах пинает кота, вертящегося рядом.

— Баба, не бей кота, — ревёт внук.

У Вальки муж спортсменом был. Всё бегал куда-то. А хулиган был, что и сказать не можно. Бил её боем. Думала, уйдёт он, будет лучше. Да куда там. Было горе, стало несчастье. Ходит дочь, как чумная. Всё из рук валится.

А ещё кота завела. Всё Артура ублажает. Вонь от этого кота. В ванную не войти. Никто не ходит за котом. Песок сменить не допросишься. И такой кот обжорный. Как поросёнок. Всё поест. И на что он нужен? От них, от котов, одна зараза. И на языке у них зараза. И на рту зараза.

— Кыш, ты, окаанный! Куда залез?

Кот грациозно потягивается, сидя на телевизоре. Тянется лапой к вазе с цветком.

Прасковья Ивановна волнуется: «Сейчас уронит вазу, жеребец нестриженный».

Кот презрительно смотрит на старуху и нагло зевает, широко раскрывая розовую пасть.

Прасковья Ивановна возмущённо замахивается на него тряпкой. Кот лениво прыгает на пол. Подняв трубой дрожащий хвост, степенно вышагивает к двери кухни.

— Ты погоди, погоди. Я на тебя управу найду, — говорит Прасковья Ивановна след коту.

На кухонном полу остатки пиршества: куски колбасы и обглоданная рыба.

— Ах разбойник, — расстроенная Прасковья Ивановна спешит в комнату. А там кот развалился на кровати. Белое покрывало украшено следами его грязных лап. Увидев Прасковью Ивановну, кот ныряет под диван. Прасковья Ивановна шваброй пытается достать кота, но тот забивается в самый дальний угол и начинает выводить такие жалобные рулады, будто пришёл его смертный час. Но до его смертного часа ещё далеко. Но старуху он таки загонит в гроб.

— Выходи немедленно, — кричит Прасковья Ивановна.

— Не хочу, — воет кот.

Прасковья Ивановна не удивляется. Да и чему удивляться. Такое уж время настало. Это он, кот, у Вальки научился. Ему слово — а он два поперёк. Заставляет, шельмец, на колени вставать. Прасковья Ивановна заглядывает под диван:

— У-у, зверюга... Ох, спину-то не разогнуть. Ты зачем слопал колбасу?

— Это не я, — нагло врёт кот.

— Не дури мне голову! Я, что ли? — возмущается Прасковья Ивановна.

Кот молчит. Не всю ещё совесть на чердаке оставил.

Вечером судили кота. Прокурором вызвалась стать Прасковья Ивановна. Защищником стал Артур. А Вальку, поскольку ей было всё равно, назначили судьёй. Несмотря на протесты обвиняемого и его требование отвода прокурора, его признали виновным. Суд был скорый, но справедливый. Хотя кот грязно намекал, что колбаса была протухшей, а рыба костлявой.

Прасковья Ивановна была довольна. Артур тоже. Экзекуцию поручили ему.

«Ах, дети-дети. Не ведают, что творят», — с грустью размышлял кот, когда его шнурком привязывали к двери.

Артур стегал кота галстуком. Галстук был шёлковый, небесно-голубого цвета. Как глаза Артура. С тех пор, как «этот хулиган» бросил Вальку, Прасковья Ивановна этим галстуком подвязывала фартук.

— Ремнём его, ремнём, — настаивала Прасковья Ивановна. Но ремень не могли найти.

Кот подобрался весь, прижал плотно уши к голове и собрался было умирать. Но увидев радостную физиономию хозяйкиного внука, передумал: зачем огорчать мальчишку. Кот всё-таки, что бы ни говорила Прасковья Ивановна, имел доброе сердце. Да и само по себе «умирать» представлялось коту довольно скучным занятием. Наблюдая сквозь щелки глаз за старухой, он осторожно хватал лапой галстук, чем доставлял себе и Артуру несказанное удовольствие.

— Что ты его гладишь-то галстуком! Ремнём бы его надо, — суетится Прасковья Ивановна.

— Не надо, баба, — солидно отвечает Артур. — Он и так уже, наверное, умер. Видишь, глаза закрыл.

— Вы что мне голову дурите? Ему совсем не больно, — сердится бабка.

— Больно, больно, — кричит внук.

— Тебе же больно? — спрашивает он у кота.

— Ещё как! — нагло врёт кот.

— Баба, может, простим его. Он больше не будет, — просит Артур.

— Как же! Он меня за палец оцарапал, а я его прощать! — возмущается, но не очень уверенно, Прасковья Ивановна, помня, что палец она порезала, когда чистила этих треклятых рыб.

— Не царапал я её! — у кота от негодования шерсть встаёт дыбом. Он сам привык обманывать, а тут на него напраслину хотят возвести.

— Бесстыжие! — наступает Прасковья Ивановна. — Вот пойду в школу, скажу учительше про всё. Кота завели мне на погибель... Всё учительше расскажу... Да уберись ты от меня, хамская порода! Ишь, боксер какой. Ишь, боксёр. Сейчас заплачешь, как ремнём огрею.

— Не огреешь. Я ремень ещё вчера спрятал, — Артур колотит кулаками по бабкиным бокам. И слёзы текут по его лицу.

— Ну ладно, — миролюбиво говорит бабка. — Иди ешь немедленно. Чтоб весь суп съел.

Внук покорно садится за стол.

— Не съешь суп, так и знай, всё расскажу учительше. «Господи, наконец-то полчаса покой будет!»

Вечер. Прасковья Ивановна ворчит: «Чего это Валька застряла в комнате постояльца? Только мешает человеку».

А Валька совсем не мешает постояльцу. Это постоялец какой-то недогадливый. Валька всё собиралась десятый класс закончить в вечерней школе. А тут постоялец подвернулся, весь из себя шибко умный. Говорит: «Давай, Валя, я тебя по геометрии натаסקаю». Вальке не понравилось слово «натаסקаю», но она вдруг вспомнила своего «бывшего муженька», и у неё почему-то сладко заныло сердце.

На коленях у Валентины лежит книга. Постоялец часто кладёт руку на книгу, да так, что каждый раз прижимает локтем Валькино бедро. А Валька делает вид, что ничего не понимает.

Другое дело кот. Он сидит напротив, и ему не надо притворяться дураком.

А Валентина только водит наманикюренным пальчиком по книжке — и ничего. У постояльца уже руки дрожат от напряжения и глаза будто жирным супом залиты.

А сама-то Валентина, точно лужа после дождя. Вся расплылась.

— Нет-нет, — говорит Валька. — Я ничего не понимаю.

Ясно, пора откладывать книжку. А постоялец точно как кастрированный кот из соседнего подъезда. Сделал постную рожу и стал чертить формулы на бумаге.

Так и проболтали зря. Постоялец уже с квартиры съезжает. Кончился срок его командировки. Валька стоит в дверях, ласково смотрит на постояльца. Постоялец возится с чемоданом. И кот тут же. Где же ему ещё быть. Сидит, ждёт другого постояльца. А Валька еще не ждёт другого постояльца. Она от прежнего постояльца ещё не отошла. Всё вздыхает.

— Ой, вы уезжаете. А мы так привыкли к вам, — говорит она.

А на физиономии постояльца суконное выражение. Злитесь, наверное, что Вальку по геометрии натаскивал, и всё без толку. Конечно уж, не о Валькиных знаниях он печётся. Жалко! Уж больно хороша Валька!

Постоялец давит коленом на чемодан. Чемодан, наконец, закрылся, переполненный, как брюхо обжоры.

— Всё, поди, подарки жене везёте, — Валька осторожно вздыхает.

— Да нет. Всё книги, — врёт постоялец.

— Ну? Целоваться не будем? — постоялец облизывает жирные губы.

— Можно деньгами, — подсказывает кот, но никто, кроме Прасковьи Ивановны, его не услышал.

— Кыш, ты, проклятый, — Прасковья Ивановна пинает кота, но не сильно.

— Почему же?! — Валька подставляет свой полный яркий рот. И уже ресницы томно опустила.

Но постояльцу почему-то расхотелось целовать Вальку. Такую сдобную Вальку! Он только слегка приложился губами к розовой Валькиной щёчке.

Не нужна постояльцу Валька. Постоялец, поди, уже о своей жене мечтает. Это всем ясно. Только Вальке не ясно. Она ещё долго в ласковой задумчивости будет глядеть на дверь, за которой скрылся постоялец.

Прибирается в пустой комнате Прасковья Ивановна. А Валька всё сидит, опустив руки между колен, и по лицу её блуждает любовная дурь.

Спустя несколько дней появился новый постоялец. Что пропадать комнате? Всё деньги в дом. Вот Вальке надо бы платье новое справить. Много ли Прасковья Ивановна зарабатывает!

Новый постоялец — обходительный молодой человек. Вежливый. Как бухгалтер, всё рассчитал, всё уточнил: через сколько дней бельё меняют, полотенце даёт ли хозяйка или он своё повесит. Нужно ли за свет платить и за газ — другой раз чайку согреть или что... Надо же заранее обо всём договориться. Ему квартирные не ахти какие платят.

Прасковья Ивановна про квартирные и слыхом не слыхала, но со всеми постояльцами всегда договаривалась. А этот — умник какой выискался.

Постоялец и про жену свою рассказал: такая она у него красавица. И дочка отличница. И сам он — начальник. И потом он сказал, что у него много дел и чтоб Артур в его комнату не заходил. И кошек он не любит.

Не понравился новый постоялец Прасковье Ивановне. И чем ему ещё кот не угодил!? Но виду Прасковья Ивановна не подала. Вежливо с постояльцем разговаривала. Даже пожаловалась ему:

— Понаехал тут народ. Круговерть какая-то. Толкутся всё. Муравейник точно. Позасели в клетушки. Ходят рядом, и не знаешь, кто ходит. Бывало, дома-то, из-под Ельца мы, все знатные, все знакомые. Каждый уважительно: «Здравствуй, Прасковья».

Пришла Валька. Постоялец размазал улыбку по своему лицу. Скучно посмотрел на Прасковью Ивановну: мол, кончай, старая. Прасковья Ивановна поджала губы, ушла на кухню.

Постоялец достал бутылку вина:

— За знакомство, Валентина...Как вас по батюшке?

— Зовите меня просто Валя, — кокетничает Валентина.

Кот, несмотря на запрет постояльца, уселся на самое видное место, посреди комнаты.

Постоялец, как увидел Вальку, так и про кота забыл. У Вальки рот намазан невкусной красной помадой. И следы её остаются на стакане. Включили радиолу и стали танцевать.

Постоялец что-то говорил Вальке на ухо, та громко хохотала:

— Ой, что Вы. Мы с Вами совсем не знакомы.

Коту стало скучно, и он залез под диван. Оттуда были видны только ноги танцующих. Валька танцевала без туфель, в чулках. Партнёр её не вышел ростом.

Иногда Валькины пятки отрывались от пола, и тогда черные штилеты постояльца скрипели особенно пронзительно под двойной тяжестью. От Валькиных пяток пахло сыром. Кот морщил нос и чихал. Впрочем, он мог чихать и от пыли.

Прасковья Ивановна укладывалась спать. Радиолка орала во всю мощь: девка долдонила, чтоб её кто-то разлюбил да порог не обивал. И что за бабы нынче: «не приходи», а принимают.

Прасковья Ивановна так и не дослушала, что у этой девки с пластинки ещё приключилось. Заснула.

Всё зиму проболела Прасковья Ивановна. Встала, когда на дворе повеяло весной. Ветер принёс издали запах сырой земли, леса и ещё чего-то знакомого и волнующего, но совсем забытого здесь, в городе.

Третий день кота нет. Прасковья Ивановна вышла во двор посмотреть: не сидит ли где. Во дворе сидел только Лев Ноевич. «Тоже пережил зиму», — радостно подумала Прасковья Ивановна.

Загудела машина, въезжая с улицы.

— Соня, Соня! Неси вёдра! — слышится требовательный голос старика.

Ну, всё хорошо. Всё по-прежнему.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

ОТ ПУБЛИКАТОРА

Кирилл Дмитриевич Померанцев (1906 — 1991) был одним из замечательных поэтов русского зарубежья, фигурой колоритной и неординарной, последним из могижан парижской эмиграции. Его предельно простая по форме, почти разговорная по интонации поэзия глубоко философична, исполнена неизменного стремления к высшему знанию, к прорыву в область вневременных ценностных ориентиров, слабые отблески которых поэт чутко улавливал в явлениях повседневного ряда, в блоковской Радости-Страданье каждого невозвратимого Божьего дня.

Мне довелось работать с ним в парижском еженедельнике «Русская мысль» и удостоиться его личной дружбы — начиная с весны 1983 года и до весеннего дня его смерти.

К. Померанцев родился в Москве в 1906 году. Его отец был известным нотариусом, иногда сочинявшим шуточные стихотворения и даже поэмы. Детство Померанцева прошло в Полтаве, где семья пережила «февраль» и «гетманщину». В 1919 году родители эвакуировались с мальчиком в Новороссийск, откуда переправились в Константинополь. Там Померанцев закончил Британскую школу для русских мальчиков, работавшую по системе российских реальных училищ. В 1927 году он отправился в Париж, где и провёл всю оставшуюся жизнь.

Получив американскую стипендию «Уитмора», Померанцев поступает в техникум. Но вскоре бросает учебу, работает на бензоколонке, на заводе грампластинок и т.д. Во Франции это были годы тяжелейшего экономического кризиса.

С началом войны он отправляется в Лион, где участвует в Сопротивлении. После освобождения Парижа работает в мастерской по модной тогда росписи шёлка — «пошурном ателье», как говорили в эмиграции.

С 1946 года в квартире Померанцева регулярно устраивались литературные вечера, постоянными участниками которых были Иван Бунин, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Борис Зайцев, Юрий Одарченко, Владимир Смоленский и другие поэты и писатели.

С характерной для него скромностью Померанцев говорил в поздние годы: «Я простой журналист, которому посчастливилось познакомиться со всеми русскими писателями и поэтами, жившими в Париже. Со многими из них меня связывала тесная многолетняя дружба».

С начала 1950-х годов стихи, философские статьи, критические отзывы и проза Померанцева широко публиковались во всей эмигрантской периодике, включая «Новый журнал», «Возрождение», «Мосты», «Опыты», «Континент», «Русскую мысль», «Новое русское слово» и другие. В альманахе «Мосты», в частности, увидела свет его повесть «Итальянские негативы» (№10, 1963 и №11, 1965), иллюстрированная Юрием Анненковым.

Стихи К. Померанцева входят в наиболее представительные антологии эмигрантской поэзии. Но до сих пор появился лишь один крошечный сборник его стихов, вышедший в парижском издательстве «Ритм». Книжку эту Кирилл Дмитриевич не любил, даже стеснялся её и изымал у своих друзей и знакомых, поскольку составитель её позволил себе ничтоже сумняшеся «поправить» многие стихотворения на свой вкус (мне пришлось назвать это в тогдашней рецензии «досадными опечатками»).

Первой публикацией поэта на Родине стала большая подборка в журнале «Октябрь» (№8, 1989), составленная давним московским корреспондентом К. Померанцева журналистом Игорем Васильевым. Померанцев писал ему в своё время: «Моим учителем был замечательный поэт Георгий Иванов, который, по моему мнению, достиг предела стихотворного ремесла: абсолютной точности и адекватности формы и содержания».

Георгий Иванов, чья поэзия стала горестной вершиной всей эмигрантской лирики, был, судя по рассказам самого Померанцева и тому, что мне говорила в Париже И.В.Одоевцева, беспощаден к его первым поэтическим опытам. «Это имеет такое же отношение к поэзии, как НТС к освобождению России», — съязвил Иванов. (Эту фразу Кирилл Дмитриевич любил повторять в редакции «Русской мысли» по отношению к некоторым стихотворным публикациям, заполнявшим литературные страницы отнюдь не из-за их художественных достоинств.)

Убийственный ивановский сарказм и систематический «разнос» помогли Померанцеву на всю жизнь сохранить величайшую самокритичность к своим произведениям, доходившую порой до самоуничтожения.

Для понимания творческого наследия К. Померанцева необходимо также знать, что до последнего дня своей жизни он оставался убежденным адептом антропософского учения, толкующего, как известно, о цепочке земных перевоплощений человека на пути к высшему духовному совершенству, к возведению его в божественный ранг. Основателем антропософии был немецкий мистический философ Рудольф Штейнер, чими ветхими переводными томами у Померанцева были забыты все шкафы и антресоли.

Кирилл Дмитриевич был, безусловно, человеком разочарованным в горькой и пред-
решённой земной юдоли, и всё свое мужество, всю доброту и терпимость, всю скром-
ность и обаяние он черпал именно из этой «благой вести» о реинкарнации — даже и
тогда, когда уходил, по слову того же боготворимого им Георгия Иванова, «в отчаянье,
приют последний».

Его небольшую уютную квартиру на улице Эрланже, неподалёку от Булонского леса, освящал один предмет: в тёмной рамке, в поблекшем от времени паспарту — плоская, шитая серебром бархатная сумочка. Это была ташка, принадлежавшая самому Лермонтову, который называл её «перемётная сума моего таланта». Она хранилась в семье А. П. Шан-Гирея. После смерти поэта в ташке были обнаружены рассыпавшиеся в прах цветы, черновые наброски стихов и любовные письма.

На стене в столовой висела большая картина, изображавшая Христа в пустыне. Лицо Спасителя было сплошным свечением.

К. Померанцев скончался в Париже в ночь на 5 марта 1991 года, на 85-м году жизни.

Урна с его прахом замурована в колумбарии огромного кладбища Пер-Лашез. № 14201...

За стеной — урна великой гречанки Марии Каллас. Там всегда живые цветы, записки. Ниша Кирилла Дмитриевича долго оставалась безымянной: «Всё, как прежде, и всё, как всегда», в распроклятой судьбе эмигранта». Но ведь сказано в метерлинковской «Синей птице» — так, чтобы не ведали страха и угрызений взрослые дети: «Мёртвых нет».

Мне остаётся добавить, что все материалы из «Русской мысли» публикуются с согласия её покойного главного редактора И.А.Иловой-Альберти и нынешнего — Ирины Кривовой, которой я благодарен за деятельное участие в осуществлении этого проекта. Также сердечно благодарю многолетнего секретаря редакции Нину Константиновну Прихненко и директора парижской Библиотеки им.Тургенева Т.Л. Гладкову.

Александр Радашкевич

Кирилл Померанцев

СКВОЗЬ СМЕРТЬ

Не дивно ль — в солнечном закате,
В сиянии или в полумгле,

Увидеть черное Распятие
Огромной тенью на Земле.

Увидеть всю судьбу людскую,
Где каждый путь есть крестный путь,
И эту логику стальную
Очеловечить как-нибудь.

Много мне приходилось в жизни встречать интересных людей. Одних кратко, других годами, с некоторыми дружить. Но вот, когда они проходили через мою жизнь, я, понимая их значительность, даже гордясь перед самим собой знакомством с ними, чего-то в них не разглядел, чего-то не вместил. Никогда не приходило в голову записать разговор, брошенные замечания, острую реплику. Все шло так, будто мы бессмертны: успеется, всегда найдется время.

Но приходила смерть, все чаще, круг друзей редел. Умершие словно проваливались в небытие: исчезали, изымались из памяти. Конечно, в первые дни, недели, месяцы была боль утраты, щемила тоска, иногда угрызения: не договорили до конца, не спросил самого главного...

Это было в начале пятидесятых годов. Благодаря моему другу, богослову и философу Владимиру Николаевичу Ильину, я стал ходить на «пятницы» французского философа, христианского экзистенциалиста Габриэля Марселя и очень скоро стал их завсегдатаем. Ему уже было за шестьдесят, и он жил в Латинском квартале, возле Пантеона, на четвертом без лифта этаже старого добротного дома, каких уже давно не строят. Деталь эту вспоминаю лишь потому, что за год до нашего знакомства Г.Марсель сломал ногу; она у него как-то несуразно выглядела, и он с трудом передвигался, но костылей не признавал (или я их у него не видел). Не видел я и как он справлялся с лестницей. А из-за лекций, собраний и других симпозиумов проделывать эту «гимнастику» ему приходилось минимум раза три в неделю.

Габриэль Марсель был полиглотом: отлично знал двенадцать языков, но русского среди них не было. Собирались же у него воистину «все языки и народы» — немцы, англичане, индусы, японцы. И мы с Ильиным — русские. Обычно он предлагал какую-нибудь тему, и собравшиеся ее обсуждали: «Личность и индивидуальность», «Христианство и буддизм», «Бердяев и Бёме (Властен ли Бог над свободой или нет?)»... Снисходили и до «земных» тем: политики, войны, колониализма (во Франции начиналась деколонизация).

Вспоминается одна «пятница», посвященная Индии: как раз вернулась из Дели приятельница Марселя, французская писательница (фамилии уже не помню), большая поклонница этой страны, отлично знавшая ее историю и культуру, но поехавшая туда в первый раз. Ее потрясла «жесточкая нищета», которую она там встретила наряду с «позорной роскошью» (всё ее слова), в которой живут привилегированные сословия. Так, в Дели, на перекрестке, в лохмотьях и язвах с протянутой «щепкой-рукой» сидел голодный нищий, а по улице в шелках и драгоценностях на слоне и со свитой «проплавал», ни на кого не обращая внимания, магараджа. Ну, разве это не позор? Затем следовали описания «священных коров», от недоедания превратившихся в «костяные каркасы»: их оставляли голодать, но убивать не смели. Словом, «круг ада». Рассказ длился около часа.

Когда он кончился, а слушатели начали возмущаться, слова попросил один индус (он оказался профессором философии Бомбейского университета) и спокойно, совершенно не задетый услышанным, сказал приблизительно следующее: «Я подобные сцены наблюдаю почти ежедневно. Жаль, что г-жа (он назвал ее фамилию) не подошла к нищему и не спросила его — хотел бы он поменяться ролями с магараджей? Она, наверно, услышала бы: „Никогда и ни за что“. Потому что он знает, что они ролями меняются после смерти».

И дальше: «Это вы, европейцы, измеряете человеческую жизнь лишь одним ее теперешним земным звеном. Мы, индусы, — всей цепью земных воплощений и их разделяющих периодов пребывания в духовном мире».

И здесь он поразил нас своим знанием христианства, признавшись, что не понимает, почему католики отрицают перевоплощение, когда о нем черным по белому говорится в девятой главе Евангелия от Иоанна: «И проходя (Иисус) увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». И, обращаясь к нам, индус спросил: «Как можно родиться слепым за дела свои, если не предположить этих дел в предыдущем воплощении? И обратите внимание на ответ Иисуса — что слепой родился таковым не за свои грехи и не за грехи родителей, а это значит, что можно родиться слепым и за те, и за другие грехи. Иисус такую возможность признавал, она не отрицалась ни Им, ни Его учениками».

Помню, что один из присутствовавших, объясняя отрицание перевоплощения католической церковью, обосновал это тем, что иначе перевоплощение стало бы соблазном для человека: рассчитывая на будущие воплощения, он легче грешил бы в настоящем. Другой, напротив, перевоплощение защищал, видя в этой доктрине единственную возможность хоть как-то оправдать (или обосновать) существование зла, которое должно быть претворено в конечном счете в добро и тем самым оправдать и само бытие, и существование его Творца.

Ильин заметил: «В перевоплощение верит почти половина человечества, и уже одно это не позволяет отмахнуться от него простым отрицанием».

И вот здесь Габриэль Марсель бросил свою знаменитую фразу, являющуюся одной из основ его философии: «Настоящее присутствие человека начинается лишь после его смерти». Фраза меня поразила, но годами оставалась неосознанной, пока не превратилась в реальность. Что она значила? То, что со смертью человека отпадает его телесная оболочка и его душа становится ощутимей душами близких ему людей. Появляется возможность ощущать душу усопшего, то есть сущность человека, очищенной от временных, вызванных обстоятельствами, раздражений, резких и зачастую неоправданных реакций, превратных суждений и т.п. И тогда начинаешь чувствовать свою вину перед умершим: там поторопился, там был недостаточно внимателен, там просто не понял. Но если задуматься — то ведь иначе и не могло быть: при жизни душа не могла быть так близка — мешала «перегородка» тела.

Конечно, это касается не всех людей, с которыми я встречался и к которым был близок. Поэтому и писать буду лишь о тех, вспоминая которых, чувствую сквозь смерть их «настоящее присутствие».

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Впервые я увидел Георгия Викторовича Адамовича зимой 1946 года на литературном вечере в малом зале Русской консерватории в Париже, устроенном Ю.К.Терапиано, где мы, называвшиеся тогда «молодыми поэтами» (Тамара и Анатолий Величковские, А.Шиманская, Е.Щербаков и Б.Богаевский), читали свои стихи. Никак не ожидал увидеть Адамовича таким. Он почему-то представлялся мне пожилым, лет шестидесяти и непременно с белой бородкой. Слышанное мною о нем в нашем поэтическом кружке, от тогдашних моих знакомых, и впечатление от некоторых его статей — все это рисовало его строгим, капризным и даже безжалостным критиком. (Кстати, сам он считал себя литературоведом). В каком-то смысле это так и было.

О вечере уже ничего не помню, кроме того, что прочел несколько откровенно скверных стихотворений, и думаю, что Георгий Викторович, по свойственной ему деликатности, обошел их молчанием. Но знаю, что о других он что-то говорил. Затем я уже регулярно встречал его на литературных вечерах, собраниях и у общих знакомых и

быстро привык к его облику — теперь мне кажется диким, что когда-то представлял его иным.

По-настоящему же сошелся с ним года за три до его кончины в 1972 году, и благодарю Бога за то, что так поздно, потому что за последние годы жизни он стал совершенно другим человеком, мало похожим на того, которого описывали наши общие знакомые и друзья, как и большинство его братьев по перу, но, к сожалению, не «по душе».

И особенно теперь, когда я вглядываюсь в эти «наши» три года «сквозь смерть», больше десяти лет спустя, после буквально чуть ли не ежеутренних разговоров по телефону, во время которых мы обменивались приветствиями и мыслями (а раз в две недели вместе ужинали в «кантине» Консерватории, где кормили дешево и неплохо).

Это был тонкий, обаятельный и по-настоящему умный человек. Я никогда не слышал от него умышленно злобного отзыва о ком-либо. Иронические бывали, но злобных — никогда. Так, об одном милом, но малоталантливом литературоведе он шутивно говорил, что у него «вместо мозгов вата», а про одни замечательные, но пустоватые стихи — что «они подобны пене на стакане с пивом: тронешь пальцем, и ничего не останется».

Постепенно Георгий Викторович открывался мне и глубоко религиозным, хотя и не церковным человеком. Было это не только на словах, но и на деле. Лишь после его смерти близко знавшие его люди с удивлением обнаружили, что он из своих более чем скудных средств немало помогал своим друзьям: какому-то ребенку оплачивал школу, кому-то регулярно посылал деньги... Сам же жил предельно скромно: на седьмом этаже, в выходившей на черную лестницу комнате для прислуги, причем лифт доходил лишь до шестого этажа. И это после двух инфарктов. Единственная роскошь, которую он себе позволял, было ездить летом в Ниццу и обратно в купе первого класса спального вагона.

Он был заморожен образом Христа, как впоследствии Им была заморожена Симона Вейль, но она, считая себя христианкой и стараясь по-христиански жить, не могла — из-за ее рационализма (немного как и Толстой) — поверить в Его Воскресение. Адамовичу тоже пришлось бороться со своим разумом, но здесь «руку приложил» я с моим штейнерианством: христология Штейнера целиком построена на «Мистерии Голгофы», то есть на прохождении Христа через страдания, смерть и воскресение, в более приемлемом для современного сознания понимании, чем церковное. Не знаю, верил ли он в перевоплощение, но в жизнь после смерти — абсолютно. Так, месяца за два до кончины, у одних наших знакомых, Георгий Викторович сказал, что хотел бы знать о своей смерти хотя бы за сутки, — «чтобы иметь возможность к ней подготовиться». Но судьба решила иначе: он умер внезапно от третьего инфаркта в Ницце 21 февраля 1972 года, смотря телевизор.

Можно сказать, что христианство всю жизнь «преследовало» Адамовича.

С одной стороны, он знал, что из современного мира христианство уходит: «Мир отлично устроился без христианства», — как-то заметил Бергсон (хотя сам собирался перейти в католичество, но не сделал этого из-за гитлеровских преследований евреев, не желая десолидаризироваться со своим народом). С другой стороны, он не мог представить себе этого мира без христианства. Однажды он заметил: «Как можно жить, любить, писать без христианства?» Фраза эта была брошена вскользь, меня удивила, но я не реагировал, — вероятно, побоялся, что объяснения будут недостаточно убедительными и стусуют первое впечатление. Не надо думать, что в наших беседах мы касались лишь «высоких материй». Такого рода разговоры были редки. Больше говорили «за жизнь», как по утрам по телефону. Говорили много, хотя тоже не очень часто, о литературе, но не о новинках: Георгий Викторович утверждал, что «новинки», даже лучшие, его уже не интересуют. Что он предпочитает перечитывать любимых писателей, и среди них был, конечно, Толстой и его роман «Анна Каренина», который он считал лучшим в мировой литературе.

Об отношении Адамовича к Толстому можно было бы написать отдельную статью и даже книгу. Постараюсь просто передать мое впечатление. В противоположность большинству читателей и специалистов, Георгий Викторович не отделял Толстого-писателя

от Толстого-моралиста, учителя жизни. Толстой был для него единством (повторяю, я говорю об Адамовиче, каким знал его в последние годы его жизни, каким вижу его теперь, — «сквозь смерть»). Конечно и вероятно, лучше других он знал все слабости и трудности Толстого-человека. Но они вытекали из его могучей плотской природы, и всякого другого человека давно бы раздавили. Стоит только прочесть дневник Толстого, его записные книжки и письма, чтобы почувствовать его гигантскую борьбу с самим собой, со своей «низшей» природой. Если бы такой борьбы не было, никогда бы Толстой не смог оказать такого влияния на своих современников — и не только в России, но и во всем мире. Он повлиял не только на Ганди, но и на индийские государственные учреждения! Толстой был до предела искренен и правдив. Эта сторона толстовского характера и толстовских литературных произведений и покоряла Адамовича. Даже христианство Толстого по своей искренности для Адамовича было более близким к истинному христианству, чем «христианство тех, кто его отлучил от церкви».

Почему Толстой мог так убедительно писать? Конечно, благодаря своему огромному литературному таланту, но еще и потому, что он «постоянно думал о смерти» (его собственные слова). Никогда о смерти не переставал думать и Адамович: поэтому-то хотел «хоть за сутки узнать» о своей кончине.

Но упомянув о Толстом, — так уж у нас, русских, повелось, — нельзя не упомянуть о Достоевском. Отношение Георгия Викторовича к автору «Братьев Карамазовых» было совсем другим. Почти до самых последних лет жизни он считал Достоевского «писателем для юношества», и — Боже мой! — каким только нападкам за эту фразу он не подвергался! В годы нашего близкого знакомства этого уже не было — Адамович Достоевского «признал». И, опять же, его признание было ценней и глубже, чем восторженные дифирамбы, расточаемые великому писателю незадачливыми литературоведами. Помню, он мне как-то сказал: «Когда мы смотрим, что происходит с людьми в наше время, как в наше время унижен человек, мне всегда жаль, что Достоевский родился слишком рано и до этого не дожил, потому что такого чутья к человеческому страданию, к насилию над человеком, к несчастью человека, которому «уже пойти некуда», не было ни у кого и никогда».

Сравнивая же Толстого с Достоевским, он говорил, что «безусловно, метафизический взлет последнего был выше толстовского, но Толстой, как грузовой самолет, поднимал груз более тяжелый, и ему приходилось брать с собой всю жизнь, всю ее толщу». И в этом плане Адамович считал Солженицына наследником и Толстого, и Достоевского — наследником, равного которому после смерти Толстого не было, и не только в России, но и в остальном мире.

Приведя как пример разговор Костоглотова с умирающим Шулубиным («Раковый корпус»), Адамович заметил: «Так в наше время мог бы говорить Иван Карамазов с Алешей». В пример Толстого — нарастающую, «словно в греческой трагедии, катастрофу», предшествующую обеду у прокурора Макарыгина («В круге первом»), и «Матренин двор», под «которыми расписался бы и Толстой».

Сам поэт, Георгий Викторович всегда был исключительно внимателен к поэзии других. Многие его упрекают за то, что он долгое время не принимал поэзии Марины Цветаевой. Да, это было. Но уже не «при мне». Помню, в конце 60-х годов его беседа о Ходасевиче и Цветаевой, где он разбирал «Перед зеркалом» первого и «Роландов рог» второй, явно отдавая предпочтение Марине, хотя бы потому — и это, быть может, главное, — что стихотворение Ходасевича можно изложить прозой, а цветаевское — нет.

Из поэтов Серебряного века больше всех созвучен Адамовичу был Анненский, созвучен своей внутренней тревогой, которая никогда, и особенно в последние годы, не оставляла Георгия Викторовича. Он, конечно, понимал и признавал величину и значение Блока, но больше как явление, чем как поэта. Анненский же привораживал Адамовича трагичностью своей настроенности, невозможностью эту трагичность преодолеть и тем, что сумел — для чуткого слуха — ее воплотить в стихи, хотя и здесь — лишь памятуя знаменитое «мысль изреченная есть ложь». А Тютчев для Георгия Викторовича был величайшим русским поэтом.

И вот теперь, когда я, вспоминая, *переживаю* Георгия Викторовича, во мне звучат (не могу найти другого, кроме этого затасканного слова) последние строки его, по моему, лучшего стихотворения:

И может, в старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно твердил на казнь приговоренный,
И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

Есть таинственная, почти физическая связь между смертью и любовью в ее высшем проявлении. И та, и другая поднимают человека до ЧЕЛОВЕКА. И теперь, когда я вспоминаю «сквозь смерть» Георгия Викторовича, я вижу эти строки претворенными и сливающимися с его образом.

Nikolaus LENAU

BLICK IN DEN STROM

Sahst du ein Glück vorübergehn,
Das nie sich wiederfindet,
Ists gut in einen Strom zu sehn,
Wo alles wogt und schwindet.

Oh! starre nur hinein, hinein,
Du wirst es leichter missen,
Was dir, und solls dein Liebstes sein,
Vom Herzen ward gerissen.

Blick unverwandt hinab zum Fluß,
Bis deine Tränen fallen,
Und sieh durch ihren warmen Guß
Die Flut hinunterwallen.

Hinträumend wird Vergessenheit
Des Herzens Wunde schließen;
Die Seele sieht mit ihrem Leid
Sich selbst vorüberfließen.

Николаус ЛЕНАУ

УСПОКОЕНИЕ

Когда, что звали мы своим,
Навек от нас ушло —
И, как под камнем гробовым,
Нам станет тяжело,

Пойдем и бросим беглый взгляд,
Туда, по склону вод,
Куда стремглав струи спешат,
Куда поток несет.

Одна другой наперерыв
Спешат, бегут струи,
На чей-то роковой призыв,
Им слышимый вдали...

За ними тщетно мы следим —
Им не вернуться вспять...
Но чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать.

И слезы брызнули из глаз —
И видим мы сквозь слез,
Как все, волнуясь и клубясь,
Быстрее понеслось...

Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.

Переложение Фёдора Тютчева

ДИТЯ XX СЪЕЗДА

Секретный доклад Никиты Хрущева потряс кремлевский зал, страну и мир

Голос Истории звучит глуховато, неторопливо, печально, чуть комично. «Сталин груб был и невнимателен был, значить... Он такой сухой даже, если не грубый, так сухой, корявый человек». Отставной советский вождь Никита Хрущев диктует свои воспоминания. Перед ним громадный радиотелекомбайн со встроенным магнитофоном, подарок Героя Советского Союза Насера. Позади — власть над шестой частью планеты, позор изгнания. Перед глазами — товарищ Сталин, которого он сам выгнал из мавзолея. Бывший первый секретарь ЦК КПСС тайком от бывших товарищей подводит итоги прожитой жизни.

Из грязи в князи

Это была удивительная жизнь.

Рабочий паренек из села Калиновки Курской губернии, он с 12 лет вкалывал на заводах и шахтах Донбасса, о чем с удовольствием вспоминал потом на самых разнообразных трибунах. В самом деле, биография Никиты Сергеевича полностью соответствовала коммунистическим мифам. На второй год революции он уже состоял в партии большевиков. Воевал с белогвардейцами. Устанавливал советскую власть на Украине. Прошел все ступени партийной карьеры, получив одновременно какое-никакое образование в столичной Промакадемии. После сталинских чисток занимал место расстрелянных и запятанных: во главе партруководства Москвы, Украины, на постах кандидата, а с 1939 года — члена политбюро ЦК ВКП(б). Воевал, как и все наши партайгеноссен, осуществляя общее руководство над генералами, дослужился к концу войны до генерал-лейтенанта... После победы вернулся сперва на Украину, затем снова в Москву.

Как и все сталинское руководство, он запятнал себя участием в чудовищных преступлениях режима. Как почти все они, был живым воплощением ленинской мечты о кухарке, способной управлять государством. Или, говоря языком дореволюционной эпохи, выбился из грязи в князи. Малограмотный, с дикими, даже какими-то первобытными представлениями о культуре, истории, политике, окончательно замусоренными партийной пропагандой, Хрущев был классическим сталинистом. Маленький, темпераментный, агрессивный, быстро лысеющий, с визгливым голосом и путаной речью, он казался чуть ли не самым образцовым из того «сброда тонкошеих вождей», которых Мандельштам рифмовал с «полулюдьми».

Глядя на Горбачева в конце 80-х минувшего столетия, мы поражились: откуда он там взялся, в той системе, безукоризненно заточенной на отрицательный отбор? Однако безальтернативный наш Горби рос и мужал в годы хрущевской оттепели, когда обществу дозволено было задуматься о себе, своем прошлом и будущем. Никита Сергеевич воспитывался в атмосфере совершенно иной. В эпоху «Краткого курса», тотальной лжи, тотального страха, тотального произвола, тотального безмыслия. Вот откуда он взялся через три года после смерти Сталина, отчего именно он стал символом и проводником тогдашней перестройки, что за сила, схватив за шиворот, повлекла его к правде и свободе — вопрос посерьезней.

Теперь, оглядываясь назад, в немыслимые тамерлановские дали, можно, конечно, выстраивать разнообразные политологические схемы. Доводилось читать о том, будто Хрущев пришел к власти, выполняя некий общественный заказ. Мол, социум устал от репрессий, и Никита Сергеевич угадал запросы гуманизирующегося на глазах населения. Однако надо же представлять себе то общество: смертельно запуганное, выкошенное террором и войной, очень бедное, сплошь пронизанное сексотами, оно едва ли было способно внятно проартикулировать вольнолюбивые свои мечты. Разве что робко намекнуть на возможность «оттепели», как Эренбург, или вместе с

Померанцевым задуматься «об искренности в литературе». За это их били — и Эренбурга, и Померанцева.

Ближе к истине другая версия. От сталинского террора устала власть, пресловутое ближайшее окружение Сталина, которое он после XIX съезда намеревался основательно зачистить, что послужило, если верить легенде, главной причиной его скоропостижной смерти. За схожие мысли удостоился пули в тюремном подвале тов. Берия. Плодотворная идея, владевшая группой наследников сталинской империи, сводилась к тому, чтобы спокойно жить и править страной «в пределах ленинских норм», не опасаясь того, что завтра тебя выведут на открытый процесс или тихо удавят в застенке. Постсталинское руководство мечтало о том, чтобы, по словам историка М. Геллера, «остановить террор на пороге ЦК».

Как можно предполагать, в этом все они были едины — от Кагановича до Хрущева. Загадка лишь в том, отчего их коллективный выбор пал в конце концов на Никиту Сергеевича? Он казался самым безобидным и слабым из них, как впоследствии Брежнев после завершения антихрущевского дворцового переворота? Или, наоборот, был самым решительным, сыграв ключевую роль при аресте Берии? Так или иначе, Хрущев пришел поначалу вовсе не для того, чтобы в массовом порядке выпускать политзеков из лагерей, реабилитировать репрессированные народы или печатать Солженицына. Он пришел для того, чтобы слегка, значить, подремонтировав социализм, устремиться дальше в светлое будущее.

Чудо случилось потом.

Начав разгребать сталинские завалы, понемногу сперва освобождая политических узников и других безвинных, вообще разбираясь с драгоценным наследием лучшего друга детей, Хрущев как-то поневоле увлекся процессом десталинизации. Одновременно нахлынули воспоминания: как сам он десятилетиями ходил по острию ножа и, сатанея от обиды и ужаса, отплясывал гопака на сталинской даче. Легко представить, как на его месте поступили бы Берия или Молотов. Палачи по природе, они едва ли испытали бы сильные чувства, узнав о масштабах сталинских злодеяний, да и чего не знал про эти масштабы тот же Лаврентий Павлович?..

Никита Хрущев обнаружил в себе иную человеческую природу. Среди этого сброда он оказался чужаком. Среди каменозадых он был самым живым и способным к проявлению старорежимных чувств: сочувствию к чужой боли, потрясению от содеянного, раскаянию. Его внезапное «перерождение» было замечательной иллюстрацией к тому известному тезису, что куда человек жив — он не безнадёжен.

Освобождая страну, он медленно освобождался сам и, полагая, чувствовал, какой это кайф — быть освободителем.

Впрочем, все это было непросто: побег из лагеря требовал и мужества, и лукавства. Чрезвычайно кипучий по натуре, Никита Сергеевич проявил замечательные организаторские черты, сплотив вокруг себя группу молодых единомышленников среди секретарей обкомов, поддержавших его накануне XX съезда. Талантливый аппаратчик, свою контртеррористическую операцию он вместе с Анастасом Микояном провел по всем правилам хитроумного партийного искусства. Выстоял в дискуссии со сталинистами, которые пытались отговорить его и пугали непредсказуемыми последствиями для партии и страны. Кинул им кость, согласившись почти не касаться данной темы в открытом Отчетном докладе. Зато 25 февраля 1956 года, выступив со своим секретным докладом на закрытом съезде партии, сказал даже побольше того, что ему написали Суслов с Поспеловым. А затем сделал все возможное, чтобы с этим текстом ознакомились не допущенные в Кремль соотечественники, а также иностранцы, включая западных читателей.

Секретный доклад потряс кремлевский зал, страну и мир.

«Оказался наш Отец...»

Очевидцы рассказывали про обмороки, куда падали отдельные нестойкие представители братских партий. О криках и столах, сотрясавших помещение. О стопудовом молчании, воцарившемся в иные минуты.

О реакции общества написаны тысячи страниц мемуаров: это был шок, который разные люди переживали по-разному. Чувство благодарности, страх, гнев идеологических и простых лагерных вертухаев — все перемешалось тогда в нашем доме, в той России, которая, по словам Ахматовой, разделилась надвое: та, что сидела, взглянула в глаза той, что сажала. Другой поэт

и драматург, Александр Галич, втиснул эпоху в рамки политинформации, случившейся в местах не столь отдаленных:

Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не Отцом, а сукою».

Про Сталина и его эпоху докладчик рассказал далеко не все, но по тем временам — бесконечно много. Тяготы репрессий, по мнению Хрущева, испытали в основном коммунисты, однако дьявол таился в деталях. Никита Сергеевич с цифрами в руках поведал об уничтоженном «съезде победителей» — о судьбах делегатов XVII съезда партии, который чуть не в полном составе пошел под нож. О перебитом в тюрьме позвоночнике коммуниста Р. Эйхе и о массовом применении пыток в сталинских застенках. О чудовищных просчетах вождя накануне войны с Гитлером. О «деле врачей». Он не сказал ни о коллективизации, ни о голодоморе на Украине, ни об истреблении интеллигенции, ни вообще о том, что весь этот лагерный капитализм строился на костях миллионов загубленных и ни в чем не повинных советских граждан. Это была полуправда, но такая страшная, что и ее хватило на всю оставшуюся Советскому Союзу жизнь. А остальную правду досказали вернувшиеся из лагерей, которых освободила и реабилитировала партия под руководством Никиты Хрущева. Те, кто выжил, сохранил талант и не пожелал молчать, составили золотой фонд русской литературы. Шаламов. Домбровский. Солженицын. Жигулин. Заболоцкий. А вместе с ними заговорили погибшие. В легальной литературе, в самиздате, потом и в тамиздате.

Собственно, в 60-е и позже не осталось в России серьезных писателей и поэтов, кто не касался бы, подробно или хоть вскользь, главной нашей темы в XX веке — лагерной. Лагерь рифмовался со Сталиным. Тему открыл Хрущев.

Безусловно, потрясающее в целом впечатление на советских граждан усиливало тот факт, что доклад был закрытым. Чувство приобщения к тайне и к правде испытывали все — и те, кого запирали в парткоме для одинокого прочтения текста, и труженики отдельных предприятий, которым партия доверяла коллективное прослушивание полукрамольного доклада. Задолго до Солженицына ЦК КПСС и ее первый секретарь явочным порядком учредили самиздат — причем до боли родной, партийный. Одновременно внедряемый в массы и секретный настолько, что его легальная публикация в СССР запоздала на 30 с лишним лет.

Секретность таила в себе глубочайший смысл: так проявлялась эпоха и личность первого секретаря. Человек заполоненный, по сути не злой и очень бестолковый, он вряд ли до конца понимал, что совершил, но громадность совершенного ощущал кожей. Последний романтик социализма, Хрущев наверняка догадывался о том, какой удар нанес по единственно верному учению. Хотя с догматической точки зрения ничего страшного вроде не произошло: вот и советники нагасили цитат из Маркса про «культ личности», вот и Ленин в своем завещании очень к месту сообщил про нетактичность и неколлегиальность, значить, товарища Сталина. Но это все была идеология, дохлая священная мантра, которую живой человек Никита избывал в себе самым волюнтаристским образом. На встречах с интеллигенцией или в узком кругу он начинал во здравие, клеймя антисоветчиков и «пидарасов», но очень скоро его заносило в сторону, и тут притихшая аудитория слушала такие рассказы про сталинские времена, что перехватывало горло.

Два Хрущевых жили и правили в стране. Один читал страшный доклад про людоедские времена, другой его засекречивал. Один восхищался Солженицыным, другой травил Пастернака. Один освобождал страну, другой давил танками Будапешт и Новочеркасск и строил Берлинскую стену. Один сокращал армию и замороженными глазами глядел на Америку в двухнедельной поездке, другой все стремился «сунуть американцам ежа в штаны» и так преуспел в этом на Кубе, что едва не спровоцировал Третью, заключительную мировую войну. Один низвергал земного идола, другой крушил церкви. Один скучным голосом отбарабанивал сказки про вклад товарища Сталина в дело марксизма-ленинизма, другой рассказывал быль про упыря и садиста, уничтожавшего свой народ. Какая уж там нетактичность...

Двойственность эпохи и ее лидера породила самое удивительное, яркое, обаятельное поколение советских людей в минувшем веке. Тех, кого вскоре назовут «детьми XX съезда» и «шестидесятниками». Они станут первым полусвободным поколением в несвободной стране. Из

этой среды выйдут замечательные поэты и художники, первые диссиденты, последние романтики империи... Их сломают, загонят в эмиграцию, внутреннюю и внешнюю, купят, выбросят из жизни, доведут до самоубийства, оценят посмертно. В сущности, многие из них разделят судьбу своего «отца» — Никиты Хрущева. Доживших до горбачевской перестройки будет сживать со света самая отпетая сволочь из моего поколения — так называемых семидесятников...

Двойственность «детей XX съезда» выразится многообразно. Бешеное желание славы, соединенное со страстью к официальному признанию, загубит талант Евгения Евтушенко. Всеобщее признание, ограниченное красными флажками официальных запретов, загонит в раннюю смерть Владимира Высоцкого. Абсолютная безнадежность жизни в «совке» вытолкнет в Америку Иосифа Бродского. Явление и уход Хрущева, дарование свобод и откат от них в застойную эпоху станут трагедией для целой генерации шестидесятников. Когда им перекроют воздух, это в самом деле будет очень больно: наглотавшись озона, вдыхать парашные испарения зрелого социализма.

Тогда в моду войдут цитаты из тыняновского «Вазир-Мухтара» — про тяжелую смерть поколения декабристов, людей «с прыгающей походкой». Про «лица удивительной немоты», заполнившие вдруг столичные улицы. И о том, «как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех... у которых перемешалась кровь!»

Что оставалось делать людям, которым сказали полуправду и вскоре ее запретили, а самым вольнолюбивым и упрямым заткнули рот? Умереть, уехать, спиться, сделать карьеру. Оставалась ирония, пропитанная болью. Издевка вперемешку с ненавистью. Кукиш в кармане. Уход в отгороженную от государства десятью барьерами частную жизнь. Эзопов язык. Песни Окуджавы про «черного кота» и «римскую империю времени упадка». Романы Трифонова с теми недомолвками, которые умный читатель разгадывал на лету. Театр на Таганке, клявшийся именем Ленина, дабы как-нибудь все же наемкнуты на то, что Сталин был плохой.

Это было очень забавно: для Хрущева Ленин тоже был последней ставкой в борьбе со сталинизмом. Его якобы человечность в противовес «грубости» Джугашвили. Его якобы простота и доступность в качестве посмертного укора «небожителю» Сталину. Его типа мягкость, картавость, забота о товарищах, НЭП, завещание, ранний уход, а то бы все кончилось хорошо... Развенчивая рябого пахана, Никита Сергеевич не мог и не хотел отказываться от самой идеи. Задолго до Горбачева он начал безуспешно строить социализм с человеческим лицом и вместе со своим политбюро пугался и впадал в бешенство, когда общество, потрясенное секретным докладом, задавало простые вопросы: если при нашем строе оказалось возможным то, что случилось при Сталине, то чего стоил весь этот строй?

Сидя на троне, царь Никита Сергеевич был не готов отвечать на такие вопросы. Человек по имени Хрущев, менявшийся вместе со страной, понимал, что вопросы эти справедливы. Партийный вождь по имени Хрущев создавал, что вопросы эти гибельны для государства, которое он выстраивал вместе со Сталиным.

Отсюда, из ранних шестидесятых, тянулся мостик к циничным брежневским временам. Тогда, еще при Никите, закладывалось это двоемыслие: все всё знают, но официально клянутся в верности партии и вождям. Оттуда, из хрущевских лет, тянется ложь и к нашей нынешней эпохе. При всей ее неповторимости — тот же исторический откат от дарованной свободы к зажиму и дистиллированному вранью. Быть может, главная беда в том, что перестроечные вольности, как и хрущевские, были именно дарованы властью, а не завоеваны в борьбе с ней. Бог дал — бог и взял.

«Мне люди подадут...»

Если в человеческой Истории есть какой-нибудь смысл, то это — движение народов к свободе. От позорного рабства к бесчеловечному феодализму, от феодализма к беззастенчивому ограблению трудящихся, от первобытно-общинного коммунизма или фашизма — к демократии. История движется зигзагами, то срываясь в пропасть несвободы, то выкарабкиваясь из бездн. Схожими путями, усугубленными постоянным невезением, движется и российская история.

На Западе повороты к свободе называют прогрессом. У нас — чудом. В американской и европейской традиции ценность политического или религиозного лидера принято измерять на старых либеральных весах. В нашей традиции, сталкиваясь с политиком-реформатором, принято чесать репу и недоуменно вопрошать: да откуда он взялся? Подразумевая, что здесь, у нас

взяться ему было неоткуда. Когда из семьи Романовых являлся Александр II, из тесных рядов большевиков сталинской гвардии — Хрущев, а из маразматического брежневского политбюро — Горби, то удивлению не было предела.

Никита Сергеевич был, пожалуй, самым талантливым из всех реформаторов, живших и правивших в России. Ибо талант его был нутряной, от души и сердца, а яростная тяга к свободе противоречила опыту всей прожитой жизни. Подобно Горбачеву, он испытывал подлинное счастье, освобождая и реформируя страну. Подобно Горбачеву, он метался, впадал в отчаяние и растерянность, не зная, что дальше делать. Но путь, пройденный страной вместе с ним, от сталинизма к оттепели, был громадным, рекордным, неслыханным, немыслимым. Таких расстояний ни до него, ни после не преодолевал никто из российских перестройщиков.

Позже, на пенсии он поймет почти все и почти до конца. Прочитает «Доктора Живаго», искренне пожалев, что так жестоко обошелся с автором. В принципе пересмотрит свое отношение к интеллигенции. Окончательно утвердится в мысли, что грубиян Иосиф Виссарионович был по сути фашистом... Холодно и жестко оценит деятельность бездарных бывших соратников, которые еще при его жизни успеют довести страну до ручки. Но он не пожалеет о том, что в октябре 1964-го безропотно ушел в отставку, а не бросился, скажем, на Украину поднимать верные войска и бомбить цековские дачи с засевающими там трясущимися заговорщиками. Мирную смену власти он справедливо поставит себе в заслугу: при Сталине о таком никто бы и помыслить не смел. И все-таки, как позже Ельцин, он будет мучиться, обреченно наблюдая за тем, как медленно, но неуклонно уничтожаются его политические завоевания. И столь же мучительна будет ломка безвластием: привыкший повелевать, он в первые месяцы после ухода испытает почти невыносимые терзания одиночества и унижения.

На фотографиях последних опальных лет, закутанный в безразмерное пальто, он будет выглядеть насмерть обиженным ребенком. Какой там отец поколения — бедное обманутое дитя XX съезда.

Утешением здесь послужит лишь ясное осознание своей великой исторической роли. Когда его начнут тягать в ЦК, заставляя отказаться от работы над мемуарами, он бросит в лицо все-сильному тогда, а ныне намертво забытому первому заму Брежнева Кириленко: «Вы можете отобрать у меня все — пенсию, дачу, квартиру... Ничего, я себе пропитание найду. Пойду слесарить, я еще помню, как это делается. А нет, так с котомкой пойду по людям. Мне люди подадут. А вам никто и крошки не даст. С голодудохнете».

И он доведет до конца главное дело своей жизни, если не считать десталинизации СССР, которое довести до конца он так и не сумел, да и не мог: запишет на пленку свои воспоминания. Надиктует их, сидя в одиночестве или вместе с сыном Сергеем Никитичем перед магнитофоном. «Сталин груб был и невнимателен был, значить...», — скажет он. И разные другие слова. Голос Истории звучит глуховато, неторопливо, печально, чуть комично.

ДВА ЭССЕ

ГОЛУБОЕ СУКНО

Леонтий Васильевич Дубельт всю жизнь поздно ложился, рано вставал, много действовал. А на последнем отрезке стажа: 1839 — 1856, когда занимал сразу две должности — военную (начальник штаба Отдельного корпуса жандармов) и штатскую (управляющий Третьим отделением Собственной Его Величества канцелярии), — был, наверное, самый трудящийся в России человек, уступая в этом смысле разве только императору.

Понятное дело, уставал — но жаловался единственно супруге, Анне Николаевне, — и она среди хозяйственных забот в селе Рыскино Тверской губернии беспокоилась за него страшно:

«Не могу выразить тебе, Левочка, как стесняется сердце читать о твоих трудах, превосходящих твои силы. Страшно подумать, что в твои лета и все тебе не только нет покою, но все труды выше сил твоих. Что дальше, ты слабее; а что дальше, то больше тебе дела. Неужели, мой ангел, ты боишься сказать графу, что твои силы упадают и что тебе надо трудиться так, чтобы не терять здоровье. Хоть бы это сделать, чтобы не так рано вставать. Хоть бы ты мог попозже ездить с докладом к графу — неужели нельзя этого устроить?»

Пока ты был бодр и крепок, хоть и худощав, но ты выносил труды свои; а теперь силы уж не те — ты часто хвораешь, а тебя все тормозит по-прежнему, как мальчишку. Уж и то подумай, не лучше ли тебе переменить род службы и достать себе место поспокойнее?

Мне как-то делается страшно и грустно, что такая вечно *каторжная* работа, утомляя тебя беспрестанно, может сократить неоцененную жизнь твою».

Женская слабость — какое там простительная — приятная: должен кто-то жалеть и Дубельта, не то для чего же и брак. Хотя про место поспокойней он прочитает — Анне ли Николаевне не знать? — с улыбкой. Кто-кто, а она-то в курсе, ради чего он жертвует своим покоем, не говоря уже о воле. И ценит, как подвиг. А поборнивает больше для биографов из будущего века — чтобы лучше представляли себе его ненормированный рабочий день и вообще расписание:

«Мне не нравится, что тебе всякий раз делают клестир. Это средство не натуральное, и я слышала, что кто часто употребляет его, не долговечен; а ведь тебе надо жить 10 тысяч лет. Берс говорил Николеньке, что у тебя делается боль в животе от сидячей жизни. В этом я отнюдь не согласная. Какая же сидячая жизнь, когда ты всякой день съездишь к графу с Захарьевской к Красному мосту, — раз, а иногда и два раза в день; почти всякий вечер бываешь где-нибудь и проводишь время в разговорах, смеешься, следовательно, твоя кровь имеет должное обращение. Выезжать еще больше нельзя; в твои лета оно было бы утомительно. — Летом ты через день бываешь в Стрельне... а в городе очень часто ходишь пешком в канцелярию...»

Как видим, среди многообразных обязанностей Л. В. главная, наипервейшая, ежедневная была — с утра пораньше съездить к графу. К графу Бенкендорфу, пока он (1844) не умер, а с тех пор — к графу Орлову. Прибыть, невзирая на состояние атмосферы и собственного здоровья. И доложить, что нового в стране и в мире.

То есть он работал рассветной такой Шахерезадой у начальника III отделения и (тоже по совместительству) шефа жандармов. А тот, в свою очередь, — у царя, у Николая Павловича, — но лишь два раза в неделю, так что сюжеты приходилось выбирать, и тут граф (что один, что другой) тоже без Л. В. был бы как без рук.

Телевидения-то не существовало. Из отечественных средств массовой информации государь пользовался одной лишь «Северной Пчелой» — и не оттого что интересовался: какой, дескать, образ мыслей нынче предписан верноподданным? — а скорей из любопытства обывательского, как если бы это была не газета, но волшебный горшок с антенной, уловляющей запахи столичного общепита.

Ну вот. А доклады «от полис» («haute police» — высшей полиции) представляли собой независимый сериал. Типа «Вести — дежурная часть», или «Момент истины», или «Совершенно секретно». Только без видеоряда.

Благодаря Дубельту и его графам, император почти до самой смерти — загадочно скоропостижной — наслаждался чувством постоянного контакта со своей эпохой и страной. А также бесперебойным эффектом обратной связи: непорядок — сигнал — всеподданнейший доклад — высочайшая резолюция — порядок.

Леонтий Васильевич, таким образом, функционировал как выпускающий редактор — или как называется тот, кто ведает корреспондентской сетью, собирает и сортирует материал, — и одновременно как сценарист: в соавторстве с одним графом, а потом с другим оттачивал драматургию эпизодов, композицию передачи, дикторский текст, и все такое.

Он же обеспечивал интерактивность — воплощал в жизнь августейшие резолюции. Положим, не воплощал (аппарат-то на что?) — скорей, озвучивал, с особенной охотой — перед фигурантами дел персональных. Изобрел для таких случаев оригинальную, неотразимо обаятельную манеру; ею-то, собственно говоря, и прославился.

Львиная доля времени уходила, однако, на работу черновую, оперативную, противную.

Тридцать три, что ли, секретных агента в обеих столицах, в том числе одиннадцать — женского пола. Студенты, приказчики, светские дамы, проститутки, литераторы, помещики. Почти все — алчные, наглые фантазеры, ни единому слову верить нельзя. У каждого — свои собственные информаторы, обычно из прислуги, как правило — пьянь.

Плюс в каждом из восьми жандармских округов — отдельная сеть. И на каждые две-три губернии — специальный штаб-офицер, от него тоже ожидают сообщений, у него тоже источники.

Да с полдюжины шпионов за границей.

Плюс — главное! — народная самодеятельность: доносы, прошения, жалобы. Штук полтыщи в месяц.

Просят, например, о:

разборе тяжёбных дел вне порядка и правил, установленных законами;
помещении детей на казенный счет в учебные заведения;
причислении незаконных детей к законным вследствие вступления родителей их в брак между собою;
спонсорской поддержке всевозможных творческих проектов;
беспроцентной ссуде: скажем, 300 рублей на 10 лет, под собственное ручательство пресвятыя Богородицы.

Жалуются, например, на:

нарушение супружеских обязанностей;
обольщение девиц;
неповиновение детей родителям;
злоупотребление родительской властью;
неблаговидные поступки родственников по делам о наследстве;
а также помещики на крестьян, и обратно.

Доносят, например, — что:

опера «Пророк», хотя была переделана под заглавием «Giovanni di Leide», запрещена, по содержанию в высшей степени возмутительного духа; но при Дворе интригуют, чтобы эта опера была представлена;

сын командира лейб-гвардии Горского полуженского полковника *Анзорова*, воспитывавшийся в 1-м кадетском корпусе, бежал к Шамилю;

на Московской железной дороге пассажиров заставляют снимать шляпы;

маркиза *Виргиния Боцелла*, побочная дочь одного из князей Эстергази, — в тесной связи с Анатолием Николаевичем *Демидовым*;

в Россию едет перчаточник *Журдан* с преступными поручениями от заграничных злоумышленников;

певец Итальянской оперы *Формез* ужасный революционер, он в Германии и Швейцарии везде был первый на баррикадах, и есть даже гравюры, его изображение со знаменем на баррикадах;

помещик Вилькомирского уезда *Ляхницкий*, живя в несогласии с соседним помещиком графом Коссаковским, приказал поймать на своем поле крестьянскую лошадь графа Коссаковского и своими руками отрезал ей ноздри, половину языка и между ребрами кусок мяса, отчего та лошадь вскоре сдохла;

в Варшаве одна женщина родила ребенка с птичьей головою и рыбьим хвостом;

канцелярист в уголовном надворном суде *Корюханов* отрезал себе ножницами язык;

граф Дмитрий Николаевич *Шереметев* имеет преступную связь с сестрою покойной его жены, девицею Варварою Сергеевною *Шереметевою*;

отставной поручик *Неверов* в Александринском театре наговорил дерзостей статской советнице Сокольской, оскорбляющих честь ее;

к арестованному литератору *Тургеневу* допускались посетители;

Хаджи-Мурат бежал, но на другой день его поймали и убили;

купеческий сын *Блохин* в религиозном заблуждении разбил Святейший Синод самыми дерзкими и неприличными словами; совращал его рыбинский мещанин *Маслеников*;

в Министерстве внутренних дел составилась *Красный* департамент: министра окружили *Милютин*, *Мордвинов*, *Арапетов*, *Надеждин* и *Гвоздев* — все они люди чрезвычайно либерального образа мыслей;

желание публики слышать г-жу *Вьярдо* так велико, что в первое ее представление все коридоры в театре были полны в том уповании, что кто-нибудь из имеющих кресла умрет или занеможет;

во Владимирской губернии застрелилась девушка *София Иванова*, проживавшая несколько месяцев в доме помещика Дубенского под именем мальчика дворянина Васильева;

в маскераде в Дворянском собрании испанка *Лопес* подошла к французенке *Люджи*. *Люджи* сказала ей: «*Quel villain masque!*» *Лопес* за это ударила ее по щеке и обратилась в бегство. *Люджи* догнала ее и дала ей несколько толчков ногою по задку;

отставной подполковник *Антонов* шел ночью по Большой Мещанской и остановился помочиться у будки часового; Часовой требовал, чтобы он этого тут не делал; Антонов ударил часового; часовой арестовал Антонова.

Пуды, буквально пуды вздора — сплетен, слухов и клевет. И ни от одной, ни от самой грязной бумажки не отмахнешься: на Высочайшее имя, с пометой: «по Третьему отделению».

Конечно, большая часть все равно сплавлялась в полицию, — но не безвозвратно: дело-то заведено, а кто завел, тому и закрывать. Вы только представьте себе объем межведомственной переписки. Заодно и картотеку.

А весь штат Отделения — душ двадцать пять, от силы! Это считая графа и самого Л. В. Это считая писцов и перлюстратора. Это с театральной цензурой.

(Корпус — дело иное: там генералы, штаб- и обер-офицеры, унтеры, не говоря о рядовом составе; 26 только музыкантов, а лошадей строевых — тысячи; но то — войско, а то — сыск.)

Словом сказать, на весь канцелярский урожай один Л. В. был и молотилка, и веялка, и мельничный жёрнов. Притом что с плевелами управлялся единолично, а злаки сохранял и проращивал. Чтобы, значит, непосредственный начальник чувствовал себя необходимым и чтобы глава государства ни минуты не скучал; с увлечением чтобы воспитывал нацию, снабжая *Дубельто*вы сюжеты развязками.

Вот хотя бы насчет девицы *Шереметевой*: ей приказано выехать из дома графа и жить при матери; а ежели будет продолжать связь с графом — в монастырь.

Князя Сергея *Трубецкого* — за то, что увез на Кавказ жену статского советника Жадимировского, — лишить орденов, княжеского и дворянского достоинств, полгода выдержать в крепости, потом — рядовым в Петрозаводск, и только лет через сто, не раньше — героем в роман Окужавы.

За испанкою же *Лопес* государь повелел иметь строгий надзор — «ибо заграничные злодеи присылают к нам различных шпионов и всякое средство к исполнению их преступных замыслов считая позволительным».

И с коллежским советником камер-юнкером *Балабиным*, который под предлогом излечения болезни отправился за границу, а там принял католическое исповедание и вступил в орден иезуитов, — поступить с ним по всей строгости законов.

А зато крестьянина Владимирской губернии *Василия Гаврилова*, приговоренного к пятидесяти ударам плетью за слова «У нас нет государя», — простить.

И каждому приговор объяви, братец Л. В., по возможности лично и как только ты умеешь: с отменной, как бы участливой вежливостью; как бы утирая слезу несчастного невидимым миру носовым платком; уж ты-то не забудешь предложить даме воды, офицеру — сигару. Всякий должен увидеть в тебе «чиновника, который может довести глас страждущего человечества до Престола Царского и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под Высочайшую защиту Государя Императора...»

Самое смешное, что Дубельту за всю эту суету не платили ни копейки. Он получал только военное жалованье — как начштаба Корпуса (3900 серебром в год; впоследствии, впрочем, прибавили). Назначая его управлять по совместительству Отделением, царь как-то не подумал, что двойную нагрузку следовало бы подсластить. Подчиненные, прознав об этом, составили было на имя графа ходатайство: дескать, как же так? любимый руководитель, тяжкое бремя, без вознаграждения... Но Л. В. не допустил; на документе надписал: в архив! хранить вечно! пусть видят, до чего дружный был в нашем Отделении коллектив.

«Пусть преемники наши читают! Не постыжусь сказать, что, читая эту записку, я прослезился! Моя преданность, уважение и благодарность к моим сослуживцам за их усердие и честную службу еще бы увеличились, если бы это было можно, так тронул меня их благородный порыв и их ко мне внимание. Но согласиться на их желание не могу, как потому, что, имея хорошее состояние, благодаря доброй жене, мне отраднo служить государю, не обременяя казны, так и по той причине, что при вступлении в управление III Отделением, его Величество не соизволил на назначение мне по этой должности жалованья, — а воля нашего царя всегда была и будет мне священна».

Это была его излюбленная поза: рыцарь, безупречный, весь в голубом. Как-то пожаловался графу (Орлову), что иностранная пресса придумывает гадости: «что мой отец был еврей и доктор; что я был замешан в происшествии 14 декабря 1825 года... что моя справедливость падает всегда на ту сторону, где больше денег; что я даю двум сыновьям по 30 тысяч рублей содержания, а молодой артистке 50 тысяч — и все это из получаемого мною жалования 30 тысяч рублей в год».

Я хочу завести процесс издателю этого журнала и доказать ему, что отец мой был не жид, а русский дворянин и гусарский ротмистр; что в происшествии 14 декабря я не был замешан, а напротив, считал и считаю таких рыцарей сумасшедшими, и был бы не здесь, а там, где должно быть господину издателю... что у нас в канцелярии всегда защищались и защищаются только люди неимущие, с которых, если бы и хотел, то нечего взять; что сыновьям даю я не по 30, а по 3 тысячи рублей, и то не из жалованья, а из наследственных 1200 душ и т. д.

Как Ваше Сиятельство мне посоветуете?»

Граф, естественно, показал это письмо государю; тот, естественно, передал — плюнуть и растереть: «не обращать внимания на эти подлости, презирать, как он сам презирает»; ни до какого суда, разумеется, не дошло.

Но вообще-то у Николая Павловича память была превосходная; что Л. В. в молодости был масон, либерал, крикун, что в декабре 1825-го действительно привлекался, хотя и без последствий, — что немного лет назад через того же Орлова был спрошен: большим ли располагает состоянием? — и запальчиво уверял: никаким, все записано на жену, — что и спрошен-то был неспроста, а в аккурат по случаю очередной актриски (в МВД тоже знали свое дело, и петербургская полиция тоже не даром ела хлеб), — одним словом, в головном мозгу самодержца имелось на Дубельта, как и на всех прочих, досье с компроматом.

Однако Л. В. обладал такой странной духовной фигурой, что при взгляде сверху казался дураком — неподдельным, круглым (граф Орлов так и говаривал *tête-a-tête*: ну и дурак же ты, братец!) — но за которым, как за каменной стеной; а зато люди, чья участь могла от него зависеть (а чья же не могла?) — видели в нем, как Герцен, что-то волчье, что-то лисье: «...Он, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии... Много страстей боролись в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было».

Что у пом. зам. царя по режиму (так сказать, у генерального кума) бушевало в груди — разъяснилось только в начале XX столетия, когда попали в печать его дневники, плюс как бы морально-политическое завещание — «Вера без добрых дел мертвая вещь».

«Первая обязанность честного человека есть: любить выше всего свое Отечество и быть самым верным подданным и слугою своего Государя».

Сыновья мои! помните это. Меня не будет, но из лучшей жизни я буду видеть, такие ли вы русские, какими быть должны. — Не заражайтесь бессмыслием Запада — это гадкая, помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям; они ни вас, и никого к добру не приведут. — Передайте это и детям вашим — пусть и они будут чисто русскими, — и да не будет ни на вас, ни на них даже пятнышка, которое доказывало бы, что вы и они не любят России, не верны своему Государю. — Одним словом, будьте русскими, каким честный человек быть должен».

«Не лучше ли красивая молодость России дряхлой, гнилой старости Западной Европы? Она 50 лет ищет совершенства, и нашла ли его? — Тогда как мы спокойны и счастливы под управлением наших добрых Государей, которые могут иногда ошибаться, но всегда желают нам добра».

«Государь Наследник Цесаревич Александр Николаевич обручен. Виноват, эта партия мне не нравится. Принцесса Дармштадтская чрезвычайно молода, ей нет 16-ти лет. По портрету не очень хороша собою, а наш Наследник красавец. — Двор гессен-дармштадтский такой незначительный! Принцесса росла без матери, которая умерла, оставя ее ребенком. Не знаю, что-то сердце сжимается при мысли, что такой молодец, как наш Наследник, делает партию не по сердцу и себе не по плечу».

«...Про Александра Павловича говорили, что он был на троне — человек; про Николая надо сказать, что это на троне ангел — сущий ангел. Сохрани только, Господь, его подольше, для благоденствия России. — Не нравится мне, что он поехал за границу; там много этих негодных поляков, а он так мало бережет себя! Я дал графу Бенкендорфу пару заряженных пистолетов и упросил положить их тихонько в коляску Государя. Как жаль, что он не бережет себя. Мне кажется, что, принимая так мало попечения о своем здоровье и жизни, он сокращает жизнь свою — да какую драгоценную жизнь!»

«Когда же возвратится наша Цесаревна? Уж и она не хворает ли? Мне кажется, вся беда от того, что наши принцессы Великие Княжны рано замуж выходят. Мария Александровна венчалась 16-ти лет; Александра Николаевна 18-ти. Сами дети, а тут у них дети — какому же тут быть здоровью! — Крестьянки выходят замуж 16-17 лет, так какая разница в их физическом сложении! Крестьянки не носят шнуровок, едят досыта, едят много, спят еще больше, не истощены ни учением, ни принуждением. В них развивается одна физическая сила и потому развивается вполне, как в животных; но и тут, которая девка рано вышла замуж и много имела детей, в 30 лет уже старуха. — В большом свете гонятся за тонкой талией, за эфирностью и прозрачностью тела; а эти корсеты влекут за собою слабость и расстройство здоровья».

«Иностранцы — это гады, которых Россия отогревает своим солнышком, а как отогреет, то они выползут и ее же и кусают».

«Хоть убей меня, а все-таки скажу, что, кроме русской, нет честной нации на свете».

«Хотя это честно и благородно — не преследовать всех иностранцев за то, что большая часть из них каналы, но, виноват, я бы всех послал к черту, ибо по моему мнению самый лучший иностранец похож только на самого подлого и развратного русского. Просто подлецы!»

Ну что тут скажешь? Только и скажешь вместе с Достоевским:

— Леонтий Васильевич был преприятный человек.

Тут, в этих текстах, не «умственное убожество», как некоторые решили. Тут невинность политического сердца. Точно сама madame Коробочка вещает с того света. Патриотизм чистой воды.

Также не забудем, что Л. В., по обстоятельствам первой Отечественной, был выпущен из Горного корпуса четырнадцати лет от роду и с той поры ничему никогда не учился, только ездил верхом. А заступив на пост, не отлучался из Петербурга; в собственном имении побывал за двенадцать лет всего раз (провел шесть дней): не позволял себе оставить империю без присмотра.

Лично я подозреваю, что это Дубельт, а не Пушкин (посмертно вступивший с Дубельтом в родство: младший сын Л. В. женился на младшей дочери А. С., истязал ее, просто бил), — так вот, именно Дубельт, вопреки Гоголю (которому он отчасти покровительствовал), представлял собою «русского человека в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Советского без затей. Хоть сегодня в органы.

Однако ж не в главк. Интеллект — интеллектом, характер — характером, а тревожной злобы, сосредоточенной до системного бреда, в Дубельте не было (а в Николае I — была, и в каком-нибудь Липранди — была). Не верил он в существование внутреннего врага — не чуял, стало быть, опасности — отчего и вреда причинил сравнительно немного.

Во всяком случае, перед русской литературой Л. В. на Страшном суде оправдался бы легко. В самом деле:

что наружка в январе 1837 года упустила и Пушкина, и Дантеса, не предотвратила знаменитую дуэль — техническая накладка, нерадивость персонала, — да еще и неизвестно, стал бы Пушкин солнцем поэзии, не закатись вовремя; как раз Л. В. мог судить об этом лучше всех — его, по справедливости, надо считать первым в мире пушкинистом: изучил архив покойного насквозь, вплоть до черновиков, — только письма Натальи Николаевны выцарапал чистоплюй Жуковский (не уразумев нравственный высший смысл этого посмертного обыска; смысл же состоял в том, что великодушнейший в мире монарх, оказав семейству писаки столько милостей, желал хоть задним числом удостовериться, что писака был их достоин, — его величеству горько было бы разочароваться; Л. В. же послужил в этом случае не больше как линзой, наведенной на измаранную бумагу: нет ли следов какого-либо недоброго чувства — нет ли какой насмешки, способной навредить царю в будущих веках? ведь литература хоть и дура, но распространяется во времени, как под толщей торфа — огонь);

что Николая Полевого превратили из властителя чьих-то дум в несчастную пишущую рептилию — тут Л. В. почти что ни при чем, это Уваров (минпрос) его ненавидел, а Третье отделение даже заступалось; и Л. В., между прочим, лично прислал бедняге за несколько дней до его смерти — три целковых; (никому не отказывал, обладая сердцем буквально золотым: «Одна только беда, — жаловался жене, — это то, что бедные разоряют меня, — ужас, сколько выходит ежедневно. Но я думаю, что копейка, данная нищему, возвратится рублем»);

Герцена отправили ненадолго в Новгород — так, во-первых, пусть не злословит полицию, а во-вторых, допустил же потом Л. В., чтобы Герцену выдали заграничный паспорт (и не мог этого себе простить; предлагал графу выкрасть этого Герцена из Лондона; говаривал: не знаю в моих лесах такого гадкого дерева, на котором бы его повесить; но ведь не выкрал и не повесил);

а Белинского пальцем не тронул (правда, собирался — да не успел; тоже сожалел: мы бы его сгноили в крепости! — но ведь не сгноил).

А, скажем, Лермонтову даже как-то поспособствовал: из какого-то полка перевестись в другой какой-то; Лермонтов доводился Анне Николаевне седьмой водой на киселе, но — через Мордвиновых, родством с которыми она чрезвычайно дорожила; кто же знал, что неблагодарный мальчишка сочинит эту дерзость — про голубые мундиры, всевидящий глаз, всеслышащие уши.

По собственной глупости погиб, и поделом.

А Шевченко... Нашли тоже о ком говорить.

— Надо было видеть Шевченку, вообразите человека среднего роста, довольно дородного, с лицом, опухшим от пьянства, вся отвратительная его наружность самая грубая, необтесанная, речь мужицкая, в порядочном доме стыдно было бы иметь его дворником, и вот этого-то человека успели украинюфилы выказать славою, честью и украшением Малороссии!..

В сущности, одного лишь Достоевского (ну и поделльников его, этих фурыеристов с Покровской площади) — из литераторов известных одного Достоевского Л. В. погубил лично. Да и то ведь не насовсем.

Положим, в этом случае, действительно, поступился принципами. Отдавал себе отчет, что каторга и солдатчина (не говоря о расстреле) за пустую болтовню — это отчасти слишком. Сам же записал в дневнике:

«Вот и у нас заговор! — Слава Богу, что вовремя открыли — Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки. На месте Государя я бы всех этих умников туда бы и послал, к их единомышленникам; пусть бы они полюбовались; чем с ними возиться и строгостью раздражать их семейства и друзей, при том тратиться на их содержание. Всего бы лучше и проще выслать их за границу. Пусть их там пируют с такими же дураками, как они сами. Право, такое наказание выгнало бы всякую дурь и у них, и у всех, кто похож на них. А то крепость и Сибирь, — сколько ни употребляют эти средства, все никого не исправляют; только станут на этих людей смотреть, как на жертвы, станут сожалеть об них, а от сожаления до подражания недалеко. — Выслать бы их из России как людей, недостойных жить в своем Отечестве, как язву и чуму, к которой прикасаться опасно. Такие меры принесли бы чудесные плоды — впрочем, не мне судить об этом».

То-то и оно, что не ему было доверено. В этом деле — в так называемом впоследствии деле Петрашевского (у которого в гостях юные безумцы, да еще подстрекаемые подосланным шпионом,

врали напропалую, потчуют друг дружку дурацкими — коммунистическими, представьте! — идеями) — в этом деле роль Л. В. была, можно сказать, страдательная. Генерал Липранди (из МВД) раздул это дело, желая выслужиться и Л. В. подсидеть. И его министр, граф Перовский, генералу Липранди подыграл — преследуя, впрочем, цель свою. Министр внутренних дел, даром что вельможа, лелеял такие тайные проекты, по сравнению с которыми петрашевщина была просто лепет невинного дитяти: исподволь внушал государю, будто в образе правления необходимы перемены; и что Третье отделение — орган якобы лишний; заикался даже насчет крепостного права — дескать, архаизм.

И генерал Дубельт, чьи мысли по этому предмету были государю известны («Пример западных государств не доказывает ли, что свобода разоряет народы? Они все свободны и в нищете страшной, отвратительной, возмущающей человеческие чувства, — наш народ не освобожден, а у нас нет такой нищеты, как на Западе. Они живут, как скоты, на улицах, под землею, а наши в избе, и на столе каравай; — следовательно, не счастливее ли наш народ народов свободных?»), — генерал Дубельт графу Перовскому — и графу Киселеву (мингосимуществ) — да целой партии сановников и придворных — мешал.

Без сомнения, эта-то партия и подвела интригу. Чтобы, значит, блаженной памяти Николай Павлович усомнился в генерале Дубельте как в гаранте госбезопасности. Мышей, дескать, не ловит — под самым носом опасный противуправительственный заговор проглядел.

И теперь вопрос стоял так: а точно ли был заговор? И ежели бы ответ оказался утвердительным, — мундир вопил бы каждой голубой ворсинкой: в отставку! ступай, Л. В., в отставку! — видно, и впрямь устарел, коли так оплошал.

К счастью, его включили в следственную комиссию. К счастью, комиссия не нашла никакого заговора — нашла, наоборот, провокацию.

«...Отдавая полную справедливость оказанной г-ном Липранди важной заслуге — продолжительным наблюдениям за Петрашевским и прочими лицами для передачи настоящего дела в Комиссию, при самом внимательном рассмотрении сделанных им суждений, Комиссия не могла с ним согласиться по следующим причинам:

...по самом тщательном исследовании, имеют ли связь между собою лица разных сословий, которые в первоначальной записке представлены как бы членами существующих тайных обществ, Комиссия не нашла к тому ни доказательств, ни даже достоверных улик, тогда как в ее обязанности было руководствоваться положительными фактами, а не гадательными предположениями...

Организованного общества пропаганды не обнаружено, и хотя были к тому *неудачные* попытки, хотя отдельные лица желали быть пропагаторами, даже и были таковые, но ни благоразумное, прозорливое, годичное наблюдение г-на Липранди за всеми действиями Петрашевского... ни многократные допросы, известные арестованным лицам... ни четырехмесячное заключение их в казематах... ниже искреннее раскаяние многих не довели ни одного к подобному открытию...»

Липранди был посрамлен, Л. В. восторжествовал и упрочился; мальчишек же не могло спасти ничто, поскольку государь сразу же, заранее, до арестов еще, на предварительном докладе соизволил начертать: *«Дело важно, ибо ежели было одно только вранье, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо».*

Так что облегчить свою участь Достоевский и другие могли только сами — смиренными, чистосердечными признаниями. К смирению Л. В. и склонял их на допросах. Как некоего Раскольникова — некий Порфирий Петрович (из романа, которого не прочел, будучи к моменту публикации мертв):

— Эй, жизнью не брезгайте! Много ее впереди еще будет. Как не надо сбавки, как не надо! Нетерпеливый вы человек!

Достоевского Л. В. не уговорил — и просто вынужден был диагностировать недонос.

Что же касается стихов Достоевского: «На европейские события в 1854 году»

(Спасемся мы в годину наваждений,
Спасут нас крест, святая вера, трон!
У нас в душе сложился сей закон,
Как знаменья побед и избавлений!

И т. п. В смысле: каторгу отбыл — исправился — не сжалитесь ли? — еще на четыре года в батальон — жестокость ненужная!)

— то не мог же Л. В. позволить напечатать такие бездарные вирши. Пускай его послужит, пока не докажет искренность чувств по-настоящему художественным текстом.

Короче, генерал Дубельт был не какой-нибудь великий инквизитор, — а педагог, моралист, резонер.

Вслух и напоказ презирал не только евреев и поляков (это само собой) — но и сексотов и стукачей (продажны), подследственных (говорливы) и осужденных (ни капли самолюбия); вообще всех, кто перед ним трепетал (а кто же не трепетал?) — за то, что трепещут.

Распускал о себе анекдоты в этом духе. Агенты пересказывали, мемуаристы запоминали:

«... Кавалерийский генерал, бывший в особой милости Николая, потому что *отличился* 14 декабря офицером, приехал к Дубельту со следующим вопросом: «Умирающая мать, — говорил он, — написала несколько слов на прощанье сыну Ивану... тому ... несчастному... Вот письмо... Я, право, не знаю, что мне делать?» — *«Снести на почту»*, — сказал, любезно улыбаясь, Дубельт».

Сценка славная: жандарм дает урок благородства лейб-гвардейцу. Герцен, записывая, словно забывал — или вправду не знал, — что всю корреспонденцию для *несчастных* почта неукоснительно доставляла куда полагается (а вы думали — во глубину сибирских руд?) — что-бы Л. В. разобрался с нею по существу.

Да, занимался ерундой — давил людей почем зря, как букашек, — не по собственной воле, а как сапог на ноге Железного Дровосека, — но при этом ведь полагал, что исполняет священную миссию, спасает Россию.

Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире: Боже, так сказать, и Дубельте! царя храни!

Но никто не оценил. Как бы никто не знал (не хотел никто знать!) — что Л. В. был главный (сразу вслед за государем Николаем Павловичем) положительный герой своего времени, лучший (по государю) человек в стране. Одна лишь Анна Николаевна, земля ей пухом, находила верные слова:

«В разговоре моем со старостами, в вечер твоего отъезда, первое мое слово начиналось так: «А что! Каков ваш барин?» И каждого из них ответ был следующий: «Ах, матушка, кажется, таких господ, да даже и таких людей на свете нет» — ты, конечно, догадываешься, что я вполне согласна с ними... Это такое блаженство наслаждаться такою беседою, как твоя. Столько ума, даже мудрости в твоих суждениях, что весь мир забудешь, слушая тебя...»

Вздумай Л. В. показать хоть кому-нибудь такое письмо, не вздев на лицо снисходительной усмешки, — тотчас разнесли бы, что у него *mania grandiosa*.

А добрались бы до дневника: Поприщин! закричали бы, как есть Поприщин! То-то и плетут, будто его матушка была испанская не то принцесса, не то маркиза; он, должно быть, этому верит сам. Смотрите, какой тон:

«Надо стараться, чтобы в нас славили и милость беспримерную, и приветливость, и смирение ангельское, и чтобы презирать и огорчать людей было бы мукою для нашего сердца...»

Светская чернь только и делала, что преследовала его гадкими сплетнями: про воспитанниц театрального училища, про подпольный игорный дом, — и что будто бы он берет взятки. Как если бы *Его превосходительство Любил домашних птиц И брал под покровительство Хорошеньких девиц!!!* — это про него.

Да, бывало, расслаблялся за кулисами биографии. Но был одинок, был несчастлив. Жаждал любви — а никто не любил, кроме жены, — только арестованные.

Когда до них доходило, что перед ними — не безжалостный враг, а офицер и джентльмен, способный понять буквально всё, олицетворенная лояльность, — каким восторгом надежды озарялись бледные, искаженные страхом лица!

В этих мизансценах, в этих диалогах Л. В. наяву чувствовал себя вторым Николаем Первым.

Который — увы! — при всей своей проницательности, видел в генерале Дубельте всего лишь верного Личарду, а не собственного двойника, столь же добродетельного без страха и упрека. Чего же было ждать от всех других?

Когда умер Николай Павлович и ушел на повышение, в Госсовет, граф Орлов, и Л. В. предложили возглавить Отделение (неприлично было бы не предложить), — разве кто-нибудь расслышал в его ответе отзвук затаенной мечты? А ведь он сказал (поддавшись, впрочем, слабости) ясней ясного: на этом посту должен стоять человек богатый, человек с титулом!

И что же? Пожаловали графом? Не тут-то было. Еще и пошутили: ну, раз ты такой Дон-Кихот...

Так и кончились карьера и фортуна.

Остался на этажерке бюстик, и под ним — листок бумаги с текстом:

*Быть может, он не всем угоден,
Ведь это общий наш удел,
Но добр он, честен, благороден,
Вот перечень его всех дел.*

Самого Жуковского, Василия Андреевича, имейте в виду, стихи.

ИСТОРИЯ КУСТА

Странен, отчасти забавен, почти что жалок взрослый человек (не обязательно с длинной белой бородой! не обязательно в длинной белой блузе! вообще не обязательно собственной персоной Лев Толстой), задумчиво так составляя среди распаханых полей букеты из сорняков: «красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой «любишь-не любишь» со своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом» и т. д.

Смешно в 68 лет мечтать, даже — что напишете новое замечательное, — даже если вы действительно Лев Толстой.

А захотелось ужасно: сразу отчетливо представился пронзительный финал и — выведенный как бы спицей по воздуху — неизбежный к финалу путь — не то чтобы сцена за сценой, а скорей вообще прерывистая длительность, или воображаемый прозрачный объем, благоустроенный предчувствуемым ритмом.

То же и главное лицо — мучительно живое в пыльном, багрово-зеленом иероглифе внезапной подсказки: в этом бросившемся нечаянно в глаза — или брошенном? — кусте чертополоха, он же репей, бодяк, волчец, осот, он же мордвин, татарин, *мурат*.

«Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал вверх. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его».

Это случилось в имении Пирогово (35 км от Ясной Поляны), 18 июля 1896 года среди бела дня: нелепому старику с букетом явился на обочине проселочной дороги призрак. И молча крикнул ему прямо в угрюмые мысли: врешь, еще не кончено! не все кончено! И старик почувствовал — должно быть, последний раз в жизни — жаркий восторг. Такой, как если бы оставалось еще на что-то надеяться, и это что-то зависело от силы его желания, и эту-то силу в нем разжигал своим примером неистребимый ботанический инвалид. «Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля хоть как-нибудь, да отстоял ее», — думал старик, запоминая свои слова. И сказал кусту:

— Молодец! Так и надо, так и надо!

Куст был необыкновенно похож на то, что осталось в памяти от когдатошних кавказских, сорокапятiletней давности разговоров про последний бой одного знаменитого горца, Хаджи-Мурата. И — главное! — на то, как он сам, старик на пустынной дороге, Лев Толстой, понимал жизнь и за что любил.

Этот чертополох явно поджидал здесь именно его; но изображал (с явным вызовом и не актерски талантливо) почему-то двоих — Льва Толстого и Хаджи-Мурата. Того и другого сразу. Оставаясь растением. Но заключая в себе и даже как бы излучая некий волнующий смысл.

Который нельзя же не попробовать выразить письменно, раз уж вы действительно все еще Лев Толстой.

2.

И он попробовал. Взлся через три недели, написал за три дня почти без помарок, назвал «Репей». Небольшой такой рассказ.

Ровно через месяц перечитал — не понравилось. Даже править не стал.

Еще через месяц, в конце октября, опять перечитал — «не то».

Дальше — триллер (см. соответствующий трактат А. П. Сергеевко, несравненного специалиста). Коротко сказать — шесть лет. Десять редакций текста. В десятой, канонической, некоторые главы Толстой переделывал по два и по три раза, первую — одиннадцать раз. Первое предложение — пять раз, второе — трижды.

В самый последний раз физически дотронулся до рукописи 19 декабря 1904 года.

Но про себя, в уме — продолжал «Хаджи-Мурата», я полагаю, до самой смерти. За месяц до нее, 3 октября 1910 года, заснув днем, никак не мог очнуться (домашние подумали: удар; Софья Андреевна в соседней комнате молилась: «Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!») — но и в бесспамятстве какой-то текст не давал ему покоя:

«Лежа на спине, сжав пальцы правой руки так, как будто он держал ими перо, Лев Николаевич слабо стал водить рукой по одеялу. Глаза его были закрыты, брови насуслены, губы шевелились, точно он что-то пережевывал».

Вряд ли этот текст был не «Хаджи-Мурат».

3.

Спрашивается: из-за чего так мучился (хотя бывало и наслаждение)? Возился дольше, чем с «Карениной». Что не ладилось, не клеилось? Почему вдохновение так долго не ловилось после первого сеанса? Ведь еще тогда, в «Репье», все самое важное из нынешнего «Хаджи-Мурата», все незабываемое уже существовало.

Там были: куст чертополоха; последний бой Хаджи-Мурата; его отрубленная голова. Также крепость Воздвиженская, майор и спутница его жизни; последние двое — в главных чертах. Уточнить, уплотнить, округлить, и — чего еще Толстому было надо?

А надо ему было, судя по всему (точней — судя по направлению движения), не более, не менее, как душу Хаджи-Мурата, его личную бессмертную сущность. Имелись же на бумаге только наружность и приемы поведения, притом поведения в чуждой среде (а наружность — глазами врагов). Плюс краткая биография, верней — досье, составленное из отрывочных сведений, мелькнувших в прессе. Ну и заключительные часы, минуты, секунды. Мало, казалось Толстому, — мало, мало!

«Для того чтобы понять, как он умер, надо рассказать, кто он был».

Потом оказалось необходимым, кроме *как* и *кто*, расследовать и разъяснить — *отчего*.

Но не удавалось. И в конечном счете — скажу сразу — не удалось. И даже не понадобилось. Для достигнутого результата — никем ведь не превзойденного! — достаточно было сосредоточиться на *как*. Но результат, полученный таким путем — кратчайшим и поэтому сомнительным, — Толстого не устраивал.

В самом деле, отчего погиб Хаджи-Мурат? Разберем на звенья всю цепочку, как бы снизу вверх. От вызванной ранениями кровопотери? От причинивших ранения пуль? Оттого, что какой-то татарин указал преследователям (у которых были ружья, заряженные этими пулями) рисовое поле, посреди которого Хаджи-Мурат укрылся в кустах? Оттого, что весной рисовые поля бывают залиты водой, так что и на лошади проедешь только шагом?

(Какая тяжесть в этих косных фразах, где сюжет на полной скорости внезапно тормозит! «Лошади со звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они все еще не доехали до реки».)

Stand up! Как он попал на это рисовое поле? Ответ: заблудился. Но как же он мог заблудиться? Не разведаль, выходит, дорогу, не озаботился проводником? (Из тех, предположим, лазутчиков, что приходили в крепость накануне.) Опытнейший полевой командир — как же так? Выбирался-то из гор со всеми предосторожностями, — а обратно в горы рванул на авось?

Очевидные ответы: побег решен в последнюю минуту — точней, глубокой ночью, когда лазутчики давно уже ушли; Хаджи-Мурат не доверял этим лазутчикам и вообще никому, кроме своих мюридов, или, как их там, нузеров; привык полагаться на свою удачу. Не очевидные: мусульманский фатализм; подсознательное влечение к смерти.

Не очевидные каждый взвешивает сам, без помощи автора. Насчет очевидных: точно ли Хаджи-Мурат совсем не готовился к побегу? разве? а порох, пули? боеприпасы-то приобретены заранее! Причем — у солдата, тут же, в гарнизоне, так что если говорить о конспирации, то риск, что солдат, проспавшись, донесет или, наоборот, по пьяной лавочке проболтается, — тоже

был достаточно высок. А касательно веры в счастливую звезду, — я и говорю: не что иное, как собственная беспечность — неосторожность, непредусмотрительность, называйте, как хотите, — завела Хаджи-Мурата на рисовое поле. Однако же прежде, насколько мы знаем, он таких просчетов не допускал; остается одно: всему виной — страшная спешка.

Что же он узнал той ночью такое новое и страшное, не терпевшее отлагательства, принудившее порушить и всю эту затею с переменной фронта, и клятву, данную русским начальникам (сделавшись, таким образом, теперь уже дважды предателем, дважды бесчестным: и для туземцев, и для колонизаторов), и стремглав броситься восвояси, не зная броду?

Написано так: «Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджи-Мурату».

Поразительная ошибка мастера! Упустить, позабыть заготовленный сильнейший ход! А все оттого, что сам уже запутался в бесчисленных вариантах. Ведь у него была уже сцена, в которой Шамиль велит сыну Хаджи-Мурата, Юсуфу, написать отцу, что если тот не воротится, Юсуфу вырвут глаза!

Самый посредственный беллетрист, любой начинающий сообразил бы: пускай лазутчики доставят Хаджи-Мурату послание сына как раз в эту роковую ночь. И отчаянная поспешность — и холодная жестокость — следовавших действий были бы мотивированы сильнейшим аффектом.

Толстой ограничился повторением ходов — и возникает вроде как *deja vue*: кончается глава XXII (а всего двадцать пять), наступает ночь на 9 апреля 1852 года, — но ситуация та же, какой была 23 ноября 1851-го, в главе I — когда кунак и родственник рассказывал Хаджи-Мурату, «что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным».

Уже тогда семья Хаджи-Мурата была в руках у Шамиля. Уже тогда было ясно, что Шамиль вряд ли ее отпустит, а если Хаджи-Мурат не сдастся, — точно не пощадит. Тем не менее, Хаджи-Мурат не стал и пытаться освободить семью, а бежал в расположение русских войск. Бежал, потому что люди Шамиля преследовали его по пятам, и местное население им помогало, а у самого Хаджи-Мурата — только четверо вооруженных да какие-то не известные нам тайные сторонники (он уверял князя Воронцова, что — влиятельные) где-то в аулах Аварии.

Оставшись в горах, он не мог выручить семью, а перейдя к русским — мог. Либо отбить вооруженной силой (частью наняв, частью завербовав исполнителей при посредстве упомянутых друзей), либо — выкупить: русские отдадут Шамилю захваченных ими боевиков (и в придачу некоторую сумму денег) — Шамиль отдаст русским семью Хаджи-Мурата — ну а там посмотрим.

Что же изменилось к XXII главе? Только одно: выяснилось окончательно, что первый план неосуществим. (А также — но это как-то между прочим, — что Хаджи-Мурату откуда-то известно: Шамиль пригрозил ослепить его сына, «отдать по аулам» мать и жену.)

Что же делать? Сосредоточить все усилия на осуществлении другого плана? Нет, совсем наоборот: «надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью».

Но позвольте, позвольте — с какими преданными аварцами? Они же вот только что наотрез отказали в поддержке, да еще под таким беззастенчивым предлогом: бояться! Это друзья — как же надеяться увлечь за собой кого-то еще? Тем более теперь, когда в глазах своего народа Хаджи-Мурат — изменник? Если не было такого шанса в главе I, то теперь и подавно.

Стало быть, решение, которое Хаджи-Мурат обдумывал всю ночь, — не опирается на анализ каких-то новых обстоятельств. Это вообще не вывод, просто шаг — чисто импульсивный, а притом и легкомысленный: никакого следующего не предполагает, даже в случае успеха.

«Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, — Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы».

Мы-то видим: ни в этот самый Хунзах (как раз откуда он изгнан) ему дороги нет, ни русские не поверят ему во второй раз, если сейчас он обманет.

А Хаджи-Мурат ничего этого словно не понимает!

Вот над чем Толстой бился: известные ему реальные факты не раскрывали, кто был этот человек. Кроме подвигов невероятной храбрости, прочее все бессвязно. Ведь по биографии-то

не просто башибузуки, и не просто один из партизанских предводителей, но и политик, администратор. Управлял Аварией то как ставленник русских, то как наиб Шамиля, еще прежде вращался при ханском, так сказать, дворе, — все это требовало не только харизмы, но и выдержки, но и ловкости ума, но и способности к дальновидному расчету.

Поэтому легко было Толстому писать Хаджи-Мурата и в компании армейских офицеров, и в гостиную младшего Воронцова, и даже на балу у Воронцова-старшего: осанка достоинства, учтивость, невозмутимость; молчалив и подозрителен, вечно настороже; но приветлив с теми, кто к нему расположен и т. д.

А вот, к примеру, из-за чего Хаджи-Мурат рассорился с Шамилем — не вычитать было нигде, и никак не вообразить. Насилу придумалось — и не то что неправдоподобно, а как бы высунулся из текста другой какой-то человек: отнюдь не умеющий держать язык за зубами. Простодушный рубака, хвастливый восточный князек:

«Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня...»

То-то и есть. Основная проблема истории Хаджи-Мурата: вдумываясь: *отчего* в ней случилось то или другое, — теряешь из виду того, с кем случилось, — вот именно, кто он.

Не вздумай он вернуться в горы, не погибни при этом возвращении, да не прояви перед гибелью такой героизм — был бы обыкновенный предатель, без всякой истории.

В свое время, в 1851-м, молодой граф Толстой, сообщая брату кавказские новости, так и высказался, поскольку предвидеть будущее не умел: «...Второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость».

Но вторая (так сказать, возвратная) измена, совершенная к тому же с мужеством прямо нечеловеческим, — она-то и создала историю Хаджи-Мурата.

На первый взгляд, совершенно бессмысленную. Но совершенно бессмысленных историй не бывает, хотя бы потому, что они не поддаются изложению. Значит, и в этой следовало разыскать какую-то логику.

В армии, да и вообще в России, было решено, что авантюра Хаджи-Мурата была не что иное, как разведоперация: по заданию Шамиля разыграл перебежчика, высмотрел, сколько у завоевателей живой силы и техники, да где что размещено, — и давай Бог ноги. А Воронцов-старший лопухнулся, и только счастливая случайность помешала шпиону благополучно скрыться.

Логично, не правда ли?

Толстой не стал унижаться до прямых возражений, типа: что такого мог Хаджи-Мурат высмотреть, чего инсургенты не знали? мало, что ли, было у них соглядатаев в каждом населенном пункте, занятом войсками? какой смысл ради порции разведданных жертвовать авторитетом одного из главных руководителей народной войны? или Шамиль рассчитывал, что русские генералы посвятят Хаджи-Мурата в свои стратегические разработки? К тому же стратегия эта была у горцев как на ладони: рубить леса, сжигать аулы — вот и вся стратегия, но страшней ее не было ничего (не зря Николай I так ею гордился). Аборигенам, чтобы догадаться, что империя не успокоится, пока не отнимет у них всю свободу (и по ходу дела много жизней), не нужна была разведка. Об ответном наступлении речь не шла. Для подготовки же мелких вылазок хватало, повторимся, сведений, приносимых так называемыми мирными или своими в обличье мирных, — зачем посылать такого знаменитого и ценного человека, как Хаджи-Мурат?

Вот разве что, втершись в доверие, он завел бы русскую армию, как Сусанин — поляков, — куда-нибудь в долину Дагестана, где их ждали бы и перебили. Но если имелось такое намерение, зачем он не попытался его исполнить? куда спешил?

От всех этих глупостей Толстой отмахнулся. И построил поведение Хаджи-Мурата на двух опорах — на гордости с честолюбием, с одной стороны, и на любви к матери и старшему сыну — с другой. На привычке к военным победам и — за них — к власти и почету. И на постоянной внутренней связи с двумя людьми, присутствие которых ощущается как счастье.

Шамиль рубит обе опоры. Шамиль — враг.

Русские воюют с Шамилем. Врагу Шамиля они охотно помогут. Русские, значит, — союзники. Им нужны его победы, верней — одна победа: над Шамилем. Ему тоже нужны победы, и над Шамилем — особенно. Еще нужней, причем гораздо нужней — чтобы семья находилась в безопасности. Вот, значит, всё и сходится в тот самый второй план спасения своих, о котором я уже говорил.

Русские отдадут Шамилю захваченных ими боевиков (и в придачу некоторую сумму денег) — *Шамиль отдаст русским семью Хаджи-Мурата, и за это Хаджи-Мурат покорит русскому царю Кавказ, победив и прогнав Шамиля.*

Курсив здесь для того, чтобы наглядней было, какой это вздор.

Если Хаджи-Мурат действительно верит в этот план, — значит, он совсем не понимает положения.

Воронцов, европеец, понимает — и прямо говорит Хаджи-Мурату, «что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства».

Чернышев за две тысячи верст, в Петербурге, и то понимает — и советует императору сослать Хаджи-Мурата вглубь России, чтобы Шамиль не мог шантажом выманить его обратно в горы.

А Хаджи-Мурат как слепой. Или как во сне. О чем-то просит, что-то обещает, чего-то ждет, — как будто есть и у него какое-то будущее время. Так верит в свою свободу рыба, которую подсекли, но еще не тащат.

Боль в жабре чувствует, — но что крючок привязан к леске, а леска — к удилищу, а удилище — в руках у кровожадного врага, — это где-то за пределами кругозора.

Возможно ли, логично ли, чтобы взрослый (1812-го г.р.) человек, военный человек, политический человек, — был настолько наивен?

Наверное, да — потому что если это невозможно и нелогично, то история опять рассыпается; в ней не сохраняется ни малейшей искры смысла: ради чего же, в конце-то концов, Хаджи-Мурат предал свою родину?

Остаются еще, как мотивы, честолюбие и жажда мести. Ближе к финалу пересиленные привязанностью к родным.

Но чтобы утолить честолюбие и жажду мести, Хаджи-Мурат не делает ровно ничего. Только мечтает — перед сном или вместо сна. Как мальчик, начитавшийся романов, как герой «Белых ночей», как Обломов:

«Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул».

Проснувшись, Хаджи-Мурат уйдет к русским. Через пять месяцев попытается вернуться. И тут опять *deja vu*. Он опять замечается, точно с такой же протяжной ленцой:

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно», думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя».

5.

Итак, — скажет критик, — сюжет не совмещается с характером героя!

Ну и бог с ним, с критиком. И с сюжетом. И даже с характером.

Человек, изображенный Львом Толстым, почти всегда больше своего характера.

То есть всегда — если он изображен с любовью.

Потому что когда кого-нибудь любишь, то не важно, какой у него характер, а важно только, чтобы он был всегда.

Как историческое лицо Хаджи-Мурат — загадка. Как литературный герой — неисправная кукла.

Но когда он идет к фонтану под горой, держась за материнские шаровары, — когда бесшумно взлетает, словно огромная кошка, в седло, — когда, вырвав из бешмета клоч ваты, затыкает себе рану и продолжает стрелять, — читателю так же, как и автору, нестерпимо знание, что существует смерть.

С этим чувством и ради этого чувства написан «Хаджи-Мурат»: с чувством, что реальность прозрачна, бесконечна, залита нежным светом и наполнена смертными существами, которым дано понимать друг друга посредством бессмертной любви.

И что эта реальность разрушается работой огромных невидимых машин, принуждающих все живое превращаться в мертвое.

Но что у него — лично у Льва Толстого — пока не отключились мозг и голос, — есть сила спасти многое и многих.

То-то он и умер таким молодым.

Помните, кстати, что проговорил напоследок?

Громко, убежденным голосом, приподнявшись на кровати:

— Удирать, надо удирать!

Смерть раздирала его на волокна, точно он был стеблем чертополоха, — но была еще какая-то мысль:

— Истина... люблю много... все они...

Больше ничего.

БОЙСОВСКИЙ КЛУБ

Легенду о Йозефе Бойсе можно было бы разбить на три основные части. В первой говорится о падении немецкого самолёта в крымскую степь... Хотя мне приходилось слышать, что на самом деле никакого падения не было (а потом и читать, например, вот эту статью в рунете: <http://coll.spb.ru/public/49.php> — сомнение в том, что Бойс был сбит, высказано там в разделе с подзаголовком «Как поэт в России больше, чем поэт...»), как раз эта часть легенды мне кажется наиболее правдоподобной — мало ли кого сбивали в сорок третьем... Несколько недель без сознания, одеяла, жир... Почему бы и нет? В конце концов, он потом непрерывно воспроизводил их в своих работах. Можно ли это считать строгим доказательством, я не знаю, но что вообще можно считать доказательством, когда речь идёт о мифе? Разве что какие-нибудь юные следопыты отыщут место, где упал самолёт Бойса, найдут потомков тех татар, которые его выхостили, смазав салом и завернув в войлочные одеяла (несколько лет спустя возвращаясь к этому тексту, я без труда нахожу в Интернете, что, как и следовало ожидать, кто-то в самом деле предпринял такую попытку... более того, существует, оказывается, на Украине уже целое объединение под названием «Дети Бойса»).

В предисловии к одному из альбомов Бойса читаем: «Он внушил крымским татарам большую симпатию, они ему говорили: «Ду бист никс немец, ду бист татар!» В другом источнике говорится, что Бойса выходили шаманы и — нашептали ему на ухо что-то такое... что началась вторая часть легенды: «...и видел я, как становится взлётом паденье».

И вот эта вторая часть — о взлёте Йозефа Бойса — мне почему-то всегда казалась менее правдоподобной. Хотя вроде бы как раз она-то и является доказуемой... Она, как известно, гласит, что по возвращении в Фатерлянд Бойс стал заглавным художником XX-го века. Собираясь посмотреть одно из её доказательств — выставку, открывшуюся в мюнхенском Доме искусства (полностью она называлась так: «Леонардо да Винчи : Йозеф Бойс — “Codex Leicester в зеркале современности”»), я спросил у художника Алёши Климова — а как вот он к этому относится? «Независимо от того, что ты думаешь о Бойсе, не ругай его никогда при немцах, — сказал АК, — кого угодно можно ругать, кроме Гёте и Бойса. Поверь моему личному опыту...»

Так получилось, что я пошёл на выставку с этнической немкой К. и с русским писателем Борисом Хазановым, которого, в свою очередь, тоже вполне можно было бы назвать немцем. Не только потому что у него немецкий паспорт, а в Германии немцем считается каждый, кто имеет гражданство. Дело не в этом, просто БХ полу- в шутку, полувсерьёз говорил мне, что русских писателей, по крайней мере, в прошлом, можно было поделить на «французов», «англичан» и «немцев». И если в этом есть доля правды, то его самого безусловно можно было бы отнести к последним, хотя понятно, что всё это очень условно, и, скажем, духовные связи БХ с Францией и французской литературой не меньше, чем с немецкой. Я помню, что я после просмотра выставки процитировал Лёшино высказывание: Бойса, как и Гёте, нельзя ругать при немцах... К. улыбнулась и сказала, что Бойс для неё не художник, а просто очень хороший человек. Что он был светлым и славным... «Помните, каким он парнем был» — что-то похожее, только на немецком, сорвалось с её уст, после чего К. убежала по своим срочным журналистским делам, а мы с БХ пошли гулять в Английский сад. Мы уже довольно далеко ушли от Дома искусства, когда БХ спросил меня: «А что, разве может кому-нибудь прийти в голову ругать Гёте?» «Может», — с ходу ответил я, будучи попросту убеждён, что в этом мире ругают всех и вся. БХ мне не верил. «Гёте, Шмёте...» — мелькнуло у меня тогда в голове... Я вспомнил, что это бормотал Бродский, в каком-то телевизионном фильме, снятом в Венеции...

«Я есть антифашист и антифауст», — вспомнил я и сказал, что автор этих строк — Иосиф Бродский. «Унд гроссер дихтер Гёте дал описку...» БХ сразу сказал что-то не слишком лестное о Бродском, которого он тем не менее считал великим поэтом (достаточно вспомнить текст БХ, который называется «С точки зрения ворон»). Они были знакомы, я видел у БХ книгу Бродского,

где дарственная надпись кончается словами «с преклонением». Но приведенная строчка привела БХ не то чтобы в негодование... Он для начала пожелал узнать, из какого же это такого стихотворения, я, покопавшись немного в памяти, произнёс: «Два часа в резервуаре». Приехав домой, БХ нашёл в четырёхтомнике Бродского эти стихи, а ещё через день прислал мне *via email* статью, которая впоследствии стала главой в книге «Допрос с пристрастием» (ЗАХАРОВ, Москва, 2001), где она носит название «“Усыновлённость” другим языком».

Мысль БХ об английском «лингвистическом шовинизме» Бродского кажется правдоподобной, хотя тут тоже всё не так очевидно... То, что БХ принимает за «глумление», «издевательство», конечно же, просто беззлобный стёб. Впрочем, если перечитать текст БХ, видно, что он и это не исключает... Но тогда он распространяет этот ноль на всё смысловое поле стихотворения, то есть утверждает, что в стихотворении нет вообще никакого смысла. И что сам Бродский не смог бы объяснить, что всё это значит и кто имеется в виду: Фауст, Гёте, Мефистофель, все они вместе, или же сам автор (БХ более склоняется к этой версии), решивший поиграть в игру «*wenn ich ein Deutscher wäre*». («Если бы я был немцем» (нем.) — так называется совместный альбом фотографов Михайлова, Браткова и Солонского, который в своё время возмутил и немцев, и русских, и евреев. Название альбома — сознательный, надо полагать, парафраз строчки Гёте «*Wenn ich ein Vögelein wäre*» — «Если б я был птичкой».)

БХ явно колеблется между «нулевым значением» и *meiner Meinung nach* (по моему мнению (нем.)), тоже близким к нулю «издевательством над немецким языком» примерно таким же способом, как это делает Демьян Бедный в поэме о бароне Врангеле... Мне кажется, что Бродский ответил бы на это словами Есенина, то есть сказал бы, что он «не чета каким-то там Демьянам». Кроме того, это просто общее место, любой русский любит переходить на такой волапюк, передразнивая то немца, то еврея, то грузина...

С другой стороны, арифметическая метафора — ноль в конце сложных преобразований — мне почему-то напомнила (возможно, и не к месту) о том, что Пушкин в лицее, согласно легенде, решая любую задачу, всегда получал в ответе ноль... «Трудно сказать, о чём это стихотворение, длинное и витиеватое, как бывает часто у Бродского. Разгадывание похоже на решение запутанного арифметического примера: вы складываете, вычитаете, раскрываете фигурные скобки, делите, умножаете, в итоге получаете ноль.

Стихи написаны 25-летним, зрелым, если судить по другим стихам, **поэтом...** — недоумевает БХ.

Действительно, определённая бухгалтерия в стихотворении присутствует, и я не могу сказать, что её дебет и кредит всегда вызывает эстетическое наслаждение: «...поэмой больше, человеком Ницше» и всё такое... Но я не согласен, что стихотворение в целом говорит ни о чём. Оно ведь является не чем иным, как религиозной проповедью.

Есть истинно духовные задачи.
А мистика есть признак неудачи
в попытке с ними справиться. Иначе
их бин не стоит это толковать...

... Он знал, куда уходят звёзд дороги.
Но доктор Фауст ниц не знал о Боге.

...Неверье — слепота. А чаще — свинство.

И независимо от того, какое значение вкладывает во все эти слова читатель (скажем, в лингвистической философии они действительно обладают нулевым смыслом), строфы несут тем не менее ненулевую информацию. Ну хотя бы потому, что нечто сообщают о своём авторе, ведь, кажется, трудно найти у Бродского другое место, где он высказывался бы так прямо на этот счёт...

Но зачем я сейчас это вспомнил? Какое отношение имеет доктор Фауст к доктору Бойсу (к фамилии Бойса нередко прибавляли слово «доктор», имея в виду — «окультиных наук»? Секундочку, говорю я себе, не спешу ничего стирать, потому что сразу же, как бы вдогонку, приходит мысль,

что к Фаусту Бойс имеет ровно такое же отношение, как к Леонардо да Винчи. А так как я побывал на выставке «Леонардо: Бойс», то какая-то связь должна же всё-таки быть?

«— Совершенно верно, — тотчас сказал Вальтер. — Нет больше универсального образования в гетевском смысле. Но поэтому на каждую мысль найдётся сегодня противоположная мысль и на каждую тенденцию сразу же и обратная. Любое действие и противодействие находят сегодня в интеллекте хитроумнейшие причины, которыми их можно и оправдать и осудить. Не понимаю, как ты можешь брать это под защиту!

Ульрих пожал плечами.

— Надо совсем устраниваться, — тихо сказал Вальтер.

— Сойдёт и так, — отвечал его друг».

Это была цитата из «Человека без свойств» Роберта Музиля.

В пристройке к Haus der Kunst (Дому искусства), возведенной специально для выставки, стоят стеклянные стеллажи, в каждом помещена страница Codex Leicester, подсветка включается только когда подходишь к стеклу вплотную.

Чтобы страницы не уставали от света... Когда подходишь, стеллаж вспыхивает, и ты видишь зеркальный почерк Леонардо, его рисунки... Почему он писал зеркальным почерком? К. мне это объясняла тогда, надо будет её ещё раз спросить... Наверно, в целях криптографических... В данный момент мне больше нравятся мои собственные гипотезы, которые вполне банальны, но так, имея их в уме, имеешь там какой-то приятный мерцающий фон...

Нуль в уме — вот всё, что мы имеем, плюс морально устаревшая версия «Windows», манускрипт Codex Leicester, кстати говоря, является собственностью Билла Гейтса, он сам приезжал в Мюнхен на открытие выставки.

В рукописи, которую нашли сравнительно недавно (в шестидесятых годах прошлого века) в Мадриде, Леонардо задаётся вопросами и — даёт на них ответы, в которых закладываются основы механики жидкости и газа, а также делаются догадки — зачастую верные — о природных явлениях на Земле и на Луне. Но самое завораживающее в «Кодексе» — это рисунки потоков, вихрей, встречных течений, всё это очень похоже на чертежи в учебнике векторного анализа. Только в учебнике чертежи сделаны на основании знаний, полученных через несколько веков после того, как Леонардо сделал свои рисунки... Сейчас мне кажется, что сами стеллажи со страницами рукописи были в левом крыле здания, а в упомянутой пристройке была мультимедийная часть экспозиции, где фирма «Микрософт» уж не ударила в грязь лицом... Но мы не стали там задерживаться, а перешли в правое крыло, где, стало быть, симметрично «Кодексу Леонардо» разместилась вторая половина выставки — «Мадридский кодекс Йозефа Бойса» — то самое «зеркало современности», в котором «отразился Леонардо да Винчи»...

Пока мы не заблудились в этой системе зеркал, нужно или, во всяком случае, можно вспомнить, где мы находимся. Дом искусства — Haus der Kunst — был одним из самых важных зданий Третьего рейха, только тогда он назывался «Домом немецкого искусства». А для фюрера едва ли не самым важным — фюрер ведь был художник, и Haus der Deutschen Kunst был реализацией самых заветных его желаний. Он сам заложил первый камень. При этом случился небольшой казус, который некоторые истолковали как дурной знак. Молоток, которым Гитлер ударил по камню, разломился на две части... Секунду он смотрел на свою руку в замешательстве... Кто знает, что было в этот момент в душе у невольного каменщика... Так или иначе, здание было воздвигнуто, и там помимо выставок «нового немецкого искусства» прошли такие знаковые для наци мероприятия, как «Выставка дегенеративного искусства» (Entarte Kunst), бесплатная, между прочим, где желающие могли увидеть всё уродство картин Пауля Клее, Пикассо, Эрнста, Явленского, Франца Марка, в общем, посмеяться вдоволь. Удерживая всё это в памяти, может быть, не стоило бы здесь гнать волну... Но тут ведь был особый случай, дело ведь было не только в графике, у одного фигуративной, у другого абстрактной... У Леонардо это ведь были не просто рисунки... А моей специализацией в университете была механика жидкости и газа, и рисунки течений, естественно, вызывали во мне ещё и ностальгию по науке, которой я изменил даже непонятно с кем... Так что неудивительны те странные чувства, которые теснились у меня в груди, когда я после одного «Кодекса» стал смотреть на другой: на вырванные из школьной тетради вечного второгодника, и к тому же неряхи (на многих страницах были масляные пятна, может быть, всё того же жира, которым его растирали в Крыму), листки, на которых были хао-

тические ломаные карандашные зигзаги, больше всего напоминавшие игру в «а ну-ка дорисуй». Вряд ли Леонардо мог предположить, что через пятьсот лет человеческое существо будет играть с его чертежами в такие игры... Некоторые зигзаги действительно чем-то напоминали очертания только что увиденных схем Леонардо... Но эта параллель, если и была... То как бы это помягче сказать... Как говорил полковник Фомин на военной кафедре: «Связь между этими явлениями такая же, как между северным сиянием и загаром яиц барана, пасущегося в Крымских горах». Ну да, солдатский юмор, это всё, что приходит тут в голову (*)... Может быть, потому, что это место такое — кажется, что слышно, как стучат сапоги... После войны «Дом немецкого искусства» хотели взорвать, считая, очевидно, что он был построен из некоего абсолютного зла, негодного для переплавки. Но потом передумали, в Доме на какое-то время открылось казино для американских офицеров, а потом он снова стал Домом искусства, только из его названия убрали одно слово: «немецкого».

И теперь здесь висят рисунки то ли упавшего к татарам, то ли провалившегося в тартарары лётчика люфтваффе, который вернулся в Германию с благими вестями: «Каждый человек является художником!», «Мы все свободны!» — и всё в таком духе... Ей-богу, надо бы радоваться, что *ausgerechnet in diesem Haus* (как раз в этом доме) висят именно такие рисунки... И я радуюсь, как же я могу не радоваться... Но только... Тихим шёпотом: ну при чём тут Леонардо да Винчи?

Я даже было подумал: может, дело в том, что Леонардо нарисовал воздухоплавательный аппарат за четыреста лет до его появления... А Бойс потом летал на этом самом аппарате... И, совершив не очень мягкую посадку, нарисовал то, что было за четыреста тысяч лет... Вспомнил, как «...целовались залившимся лаем погони и ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей»?

Я смотрел на листок, где среди зигзагов, оставленных карандашом Бойса, можно было различить силуэт оленя... Бойс считал, что его карандашные рисунки являются самой важной и, что ли, смыслообразующей частью его творчества, потому что из них выросло потом и всё остальное — скульптуры, или просто — трёхмерные объекты, которые он делал в том числе из костей животных, копыт и когтей... Я видел их в разных музеях, не знаю, насколько они прекрасны... То, что они были только началом ужасного, тоже ведь ничего не доказывает...

Началом ужасного вот в каком смысле: на смену Бойсу не так давно пришла отвратительная карикатура. Как в дурном сне или в скверном анекдоте, по городам Германии ездит теперь человек, подчёркивающий своё внешнее сходство с Бойсом с помощью чёрной шляпы, которую он точно так же никогда не снимает с головы, и делает скульптурные группы из трупов людей. Трупы играют в шахматы, делают гимнастические упражнения... Это — пластолог Гюнтер ван Хаген, выставка называется «Миры тела». Городской совет Мюнхена не раз запрещал въезд в город этой выставке, но потом вопрос поднимался снова и снова, К. до последнего момента не верила, что их сюда пустят: «В этом городе их не будет, это уже точно», — говорила она. Но в конце кон-

(*) Через несколько лет после выставки «Леонардо: Бойс» в знаменитом музее Франкфурта «Shirn» происходит выставка «Роден: Бойс». Собственно, это и даёт мне повод достать из ящика текст «Бойсовский клуб»... В качестве посредника между Роденом и Бойсом куратор Памела Рот называет Рильке — именно его монография о Родене, содержащая множество иллюстраций, подвела Бойса к мысли о том, чтобы начать «вневременной диалог» с Роденом, результатом которого стал цикл рисунков, сделанных в период с 1947 по 1967 годы. Параллели между ними и поздними акварелями Родена (в своё время — в 1906 году — вызвавшими целую серию скандалов из-за своей «непристойности») давно уже являются для искусствоведов общим местом, но на выставке во Франкфурте работы двух художников впервые собраны вместе, и это, по мнению организаторов, должно было помочь увидеть «диалог» по-новому.

Но вот, к примеру, цитата из статьи во «Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «Даже показанные таким образом, параллели между работами Родена и Бойса только с очень большой натяжкой могут служить подтверждением тезиса о том, что новаторства Родена — фрагментарные тела, торс как автономная форма искусства, динамически подвижные поверхности скульптуры, получили в бойсовской «новой концепции пластического движения в пространстве и времени» некое дальнейшее развитие. Эти утверждения кажутся бездоказательными и выглядят скорее как интересный пример искусственности интерпретаций, — пишет Констанц Крювелл, а дальше делает жест примирения, который — точно так же, как и приведенные ею перед этим сомнения (может быть, и не столь сильные, как мои... но гораздо более *глубокие*) — имеет прямое отношение к моему воспоминанию о той, другой выставке Бойса: «Как бы то ни было, выставка безусловно впечатляющая. Хотя бы потому, что организаторам удалось собрать такое небывалое количество уникальных экспонатов».

цов их пропустили, ван Хаген выступил по местному телевидению... Вот тогда я и увидел, насколько прочно он пристроился к тени Бойса. Сначала, я думаю, он стал в затылок, а потом — шаг в сторону, шаг вперёд, шаг в сторону — и он перешёл на передний план... И теперь когда пытаешься вызвать в памяти лицо Бойса, вместо него видишь Гюнтера ван Хагена — срабатывает каждый раз, совершенно чётко, и не только у меня одного...

Среди обвинений ван Хагену было и то, что большая часть этих трупов выставлена без всякого согласия их... владельцев? Родственников? Что среди них — трупы людей, которых казнили в Китае. Вроде бы дело против него приостановлено, но то, что ван Хаген использует тень Бойса, не имея на это согласия её обладателя, с моей точки зрения, само по себе внушает подозрение... Что точно так же он может поступить и с чьим-то телом...

На него то врозь, то попеременно обрушивались священники всех церквей, потом ещё было коллективное письмо профессоров-патологоанатомов Гейдельбергского университета, в котором они отлучили пластолога от науки.

В открытом письме, опубликованном в *Süddeutsche Zeitung*, профессора писали, что цели выставки, которые называет ван Хаген, фальшивые, что на самом деле всё это не имеет ничего общего с просветительской деятельностью. Призывы ван Хагена приходить на выставку всей семьёй, брать туда маленьких детей только ещё больше разогрели гнев профессоров, примерно указавших в письме, как на самом деле выглядит просветительство в этой области. Кстати, для меня примером такого — настоящего, а не спекулянтского введения в миры тела была книга Бориса Хазанова. Впервые я прочёл её в семь лет, и я не знал тогда, что это книга БХ. Он написал её под псевдонимом «Шингарёв». Это была история медицины для маленьких детей, с картинками. Называлась книга «Необыкновенный консилиум», и при всём моём увлечении впоследствии другими книгами БХ, эта оказалась на меня самое большое *воздействие*. «Как можно не сойти с ума при мысли, что у нас есть *череп*», — написал Чоран, по-моему, уже в старости, мне же в точности эта мысль отравляла жизнь в раннем детстве, с тех пор, как я впервые увидел рисунки скелетов. «Необыкновенный консилиум» помирил меня с человеческим телом, я хорошо помню, как я читал эту книгу в поезде, как я боялся её открывать (на обложке были изображены человеческие органы), и как неожиданно у меня начало улучшаться настроение, страхи почему-то рассеялись... И можно представить себе моё удивление, когда через тридцать лет я попал в квартиру БХ и увидел у него на книжной полке «Необыкновенный консилиум» Шингарёва. А потом узнал, что Шингарёв этот и есть Борис Хазанов... Возвращаясь к «летучему голландцу» (не хочу даже думать, что было бы со мной, если бы в семь лет меня познакомил с анатомией не БХ, а ван Хаген), надо сказать, что пока что ничто не остановило эту шхуну, выставки продолжаются, на всех остановках в городе светящаяся реклама — обложка «Шпигеля», где он позирует на фоне разделанных трупов. В *Süddeutsche Zeitung* очередная статья, на сей раз о том, что Dr. Tod («доктор Смерть») хотел составить контракт с самым большим человеком на Земле. Самый большой человек на Земле (в данный момент его рост 2,5 метра) живёт в Санкт-Петербурге и продолжает расти. Это гормональная болезнь, неизлечимая, но с ней можно какое-то время бороться с помощью очень дорогих медикаментов. Ван Хаген брался платить человеку что-то вроде пожизненной ренты с условием, что тот подпишет контракт, по которому тело его после смерти станет собственностью ван Хагена. Человек не подписал контракт, несмотря на все заигрывания — пластолог летал в Питер, несколько раз увеличивал обещанные суммы. Самый большой человек попросту боялся, что, подписав контракт, умрёт при помощи этих медикаментов ещё раньше, потому как что для русского смерть, то для немца... Перфоманс?

Третья часть легенды о Йозефе Бойсе гласит, что он на самом деле не умер. Что он незаметно живёт среди нас, и его, как и Элвиса, можно случайно встретить на улице.

ВРАЩАЯ РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГЛОБУС

Исламистская опасность, ставшая самой главной для европейской культуры на протяжении особенно последнего десятилетия, заслонила от нас картину действительного мира, его многообразие, его хрупкость и вместе с тем способность к выживанию в условиях и неслыханных стихийных бедствий, и политической нестабильности, и технической отсталости, и крайней нехватки продовольствия и товаров первой необходимости. Часто повторяют тезис Хантингтона о столкновении (или войне) иудео-христианской и мусульманской цивилизаций, и привычный разноцветный глобус начинает приобретать черно-белую окраску. Так ли безнадежно положение в мире, стоит ли так волноваться по поводу бесчисленных терактов «воинов джихада» по всему миру?

Волноваться, конечно, стоит, ведь гибнут люди. Причем в большинстве своем — тоже мусульмане, что вовсе не повод для злорадства. В том же Ираке эти люди могли стать нашими единомышленниками и союзниками в деле демократического развития, которое в значительной степени снижает вероятность вооруженных конфликтов.

Как понимают мир те, кто следит за событиями за чашкой утреннего кофе, бегло просматривая газету или вполглаза следя за телевизионными новостями? Германские новости — конечно же, самые «важные». Затем — европейские или американские, потом — Ближний Восток. Вот и весь мир...

Соответственно, в России главные новости российские, в Америке — американские, в Польше — польские, и так далее. Сколько-нибудь связного представления о событиях во всем мире не дает **НИКТО** — эфир, как говорится, нерезиновый, да и газетные страницы тоже. Но — попробуем все-таки взглянуть на этот мир более широко, хотя бы с ограниченной точки зрения — исламистской и вообще военной опасности.

Вспомнился средневековый китайский роман «Путешествие на Запад», в котором в изощренной фантастической форме описывается паломничество буддийского монаха Сюань Цзана (реально существовавшего) в далекую Индию, к месту рождения Будды. Будучи по образованию востоковедом, я решил двигаться именно этим путем, а не более привычным для европейцев путём Марко Поло.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Посмотрите на обычную политическую карту мира — даже старую, в советского времени школьном атласе. Что вы знаете об этом мире? Кто сразу, без подсказки, покажет, где находится Сянган? (Подсказка — Гонконг, по всем параметрам — безусловная часть КНР, но имеющая мощные демократические традиции и остающаяся одним из важнейших финансовых центров мира). Заметьте — не КНР определяет каждое утро курсы акций и валют, а именно свободная биржа Гонконга (наряду, естественно, с токийской биржей).

Севернее — Корейский полуостров, разделенный на два государства. Южная Корея — процветающая демократическая страна, высококачественную экспортную продукцию которой ценят и в России, и в Европе, и в Америке.

Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика) — последний откровенно сталинистский режим на планете. Это одна из беднейших стран мира, где годовой доход на душу населения не превышает 500 долларов. И при этом численность армии превышает один миллион человек (при населении около 22 миллионов). На ее содержание уходит более половины и без того мизерного государственного бюджета. Впрочем, даже миллионная северокорейская

армия серьезным противником не считается — ее техническая оснащенность остается где-то на уровне 60-х годов. Опасность в другом — еще три года назад Пхеньян демонстративно вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия и громкогласно объявил, что таким оружием обладает. По мнению директора МАГАТЭ Эль-Барадеи, сейчас у Северной Кореи может быть пять-шесть ядерных зарядов.

Есть и средства доставки — северокорейцы утверждают, что их ракеты могут долететь до Соединенных Штатов.

Безусловно, коммунистические вожди в Пхеньяне понимают, что допотопные средства ПВО не спасут страну от ответного удара. Они прикрываются... Южной Кореей и даже Японией, которые неизбежно пострадают в результате ядерного удара по Северной Корее. Тем не менее, они понимают, что и без применения оружия массового поражения править на этой земле им больше не придется.

Опасность в другом — северокорейское общество, управляемое по рецептам, составленным Сталиным и его учениками в 30-е годы, уже давно находится на грани экономического краха, и от падения в пропасть голода его удерживает лишь международная помощь. Ядерные заряды, равно как и ядерные технологии, стоят дорого, и Северная Корея готова их продавать — тому, кто больше заплатит. А львиная доля выручки пойдет на модернизацию любимой вождями армии. Впрочем, и радиоактивные отходы ядерного производства, предназначенные к захоронению, тоже можно выгодно продать — это лучшая начинка для так называемой «грязной бомбы», в которой эти отходы замешиваются в обыкновенную взрывчатку. Разрушения она причинит незначительные, но большая территория окажется зараженной радиацией. Об опасности этого «ядерного оружия бедных» предупредил в январе 2006 года министр внутренних дел Германии, проницательный Вольфганг Шойбле. По его словам, вопрос лишь в том, где и когда оно будет применено.

Переговоры с Северной Кореей, попытки убедить ее отказаться от ядерной программы продолжают уже не первый год. Не раз сообщали: «Вот-вот, уже наметился прорыв». Хитрец Ким Чен Ир, «великий вождь корейского народа», каждый раз находил аргументы, чтобы уйти от окончательного ответа. Никаких сведений о продаже Северной Кореей ядерных технологий или материалов третьим странам тоже не появлялось. Но это не значит, что таких фактов не было. Разведка западных стран далеко не всесильна, а МАГАТЭ — Международное агентство по ядерной энергии ООН, которую в прессе называют *nuclear watchdog* — «ядерный сторожевой пес» — либо спит, как положено, в своей конуре, либо — уговаривает, уговаривает, уговаривает... Других-то полномочий нет и не предвидится. А проблема остается, более того, обостряется с каждой неделей.

ПОД ЗЕЛЁНЫМ И ДРУГИМИ ФЛАГАМИ

Далеко на юге — Индонезия, «архипелаг трех тысяч островов», привлекательно-экзотический мир и одновременно — самая крупная мусульманская страна мира. Она еще не сказала своего веского слова в мировой политике — вероятно, в первую очередь по той причине, что сама поражена внутренними раздорами. Как правило — религиозного характера. Еще совсем недавно, лет двадцать назад, индонезийский ислам в целом был весьма мягкой религией, допускавшей даже употребление свинины в пищу. И примерно тогда же, в области Ачех на севере Суматры, началось восстание исламских радикалов. Не первое, кстати, — и в первые годы независимости Индонезии они бунтовали, и намного раньше, в период голландского колониального правления. Ислам пришел к ним первым — с мусульманскими торговцами из Индии, вполне мирная религия, которая дала им возможность уйти от подавляющей кастовой системы, навязываемой индустскими правящими династиями суматранских империй и царств. Но северные князья, считавшие себя потомками Александра Македонского (Искандара З'уль Карнайна), решили драться за полную независимость. Восстания, одно за другим, подавлялись — радикальный ислам оставался. И лишь в этом году воинственная Армия свободы Ачех (GAM, Gerakan Aceh Merdeka) сложила оружие — по той причине, что экономика провинции была практически разрушена в результате прошлогоднего цунами. Но это вовсе не конец межрелигиозного насилия в стране, еще недавно бывшей примером религиозной терпимости. Вслед за кровавыми нападениями мусульман на Молуккских островах, населенных преимущественно христианами, последовали взрывы на Сулавеси (тоже христианском). Остров Бали, туристский рай, единственный остров, сохранивший

древнюю индуистскую религию, уже не раз подвергался атакам исламистских боевиков. Вероятность их дальнейшего повторения сохраняется, несмотря на титанические усилия местных служб безопасности. Просто в огромном потоке туристов, который вовсе не иссякает, трудно угледеть террориста с бомбой.

Впрочем, есть принципиальная разница между терактами на Бали и межобщинной враждой на Сулавеси и Молукках. В первом случае это «классический» международный исламистский терроризм, не имеющий иных целей, кроме как запугать «неверных» и заявить о себе. Едва ли кто помышляет о том, чтобы изменить религиозный и этнический характер уникального острова — такая задача ни местным, ни приезжим исламистам явно не по силам. Что же касается наступления ислама на преимущественно христианском востоке Индонезии, то здесь мы сталкиваемся с весьма тревожным явлением современного мира — радикализацией ислама, признаки которой мы находим и на Ближнем Востоке, и в нескончаемом насилии в Ираке, и в воинственных заявлениях иранского президента, и в бунте мусульманской молодежи в Европе. По сути дела, именно на востоке Индонезии начинается джихад — не тот, который выражается в самоубийственных взрывах в Израиле, Ираке или Афганистане, а уже настоящий — **покорение районов, населенных представителями других религий, и установление там власти ислама**. И пусть никого не вводит в заблуждение, что население этих районов составляет ничтожную долю от населения всей Индонезии, уже давно в подавляющем большинстве мусульманской — это только начало.

КИТАЙ — УГРОЗА ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ?

В Индонезии существует одна важная степень защиты от исламского тоталитаризма — демократический строй. Еще в недавние времена он неоднократно нарушался, сменяясь длительными периодами военной диктатуры; сути это не меняет, демократия как принцип остается и в настоящее время является основой политической жизни страны. Это именно настоящая демократия, а вовсе не «направляемая демократия» (Demokrasi terpimpin), отцом которой был первый президент Индонезии Сукарно и которая ныне принята на вооружение российской властью. И в том варианте полувековой давности, и в нынешнем российском главное содержание — тоталитаризм. Индонезия от этого ушла, Россия к этому вернулась. Китай был таким всегда, и едва ли изменится в обозримом будущем. Марксистско-коммунистическая составляющая в этой системе, по существу, ничтожна, главное содержание — «Срединная империя», занимающая центральное место в мире, в котором все остальные — «варвары». В том числе, кстати, и китайские мусульмане, живущие на северо-западе страны — уйгуры, узбеки, туркмены и другие народы среднеазиатского происхождения.

Китайцев много. Больше, чем мы можем себе представить в рамках привычных европейских ориентиров. Отсюда страхи, неизбежные страхи перед непредставимыми цифрами — «нас захлестнет волна китайцев», «пора учить китайский, скоро они будут здесь хозяевами» и тому подобное. Но есть и история, в той или иной степени отражающая особенности национального характера. Не было никогда завоевательных походов, китайская армия никогда не выходила за пределы «Срединной империи». Китайцы участвовали в победоносных походах монголов, но уже после воцарения в самом Китае монгольской династии Юань. Так или иначе, боевых соединений не было — в походах участвовали лишь китайские инженеры, обслуживавшие осадные машины.

Солідные китайские колонии есть в любой стране мира, везде — в результате легальной иммиграции. Только в России с этим явная неувязка. Даже многочисленные китайские рестораны — там намного дороже, чем любые другие. Все, как говорится, не как у людей.

Лишь в одном государстве мира — в Сингапуре — китайцы, не составлявшие большинства населения, смогли поставить на пост премьер-министра своего соотечественника, знаменитого Ли Куан Ю. Больше тридцати лет он был премьер-министром и превратил Сингапур, бывший английский форпост, в самую процветающую страну Юго-Восточной Азии. Кстати, с рождения Ли Куан Ю говорил по-английски — китайский он выучил позже, а потом еще малайский и тамильский — языки других крупных групп населения крошечной республики.

Итак, Китай никогда не проводил сколько-нибудь крупных военных действий. И даже «Великий поход» китайской Народной армии, который в конечном счете привел Мао Цзэдуна к власти,

был в стратегическом отношении нонсенсом — лишь огромный перевес людских сил сыграл роль.

Не думаю, что нам стоит бояться китайской экспансии. Гигантские армии не хлынут на соседние территории ни в ближайшие десятилетия, ни вообще в обозримом будущем. Не бойтесь этих людей — честных, трудолюбивых и дружелюбных. Нелегалы — выдворять. Мафия — подавлять. Претензии не к китайцам, а к собственным мерзавцам!

Китай уже на наших глазах превратился в одну из ведущих экономических держав мира — кто-то ставит его на шестое место, кто-то даже на четвертое. Россия где-то намного дальше — ее ВВП, даже удвоенный, как обещает Путин, лишь приблизит ее к уровню экономического развития Польши, как вы понимаете, не относящейся к числу экономических гигантов. Тем не менее, национальная концепция развития Китая содержит тезис: «Любыми способами расширять границы Народной Республики». Казалось бы, прямой призыв к территориальной экспансии. Но концепция была выработана десятилетия назад, а за это время и мир изменился, и обнаружились менее обременительные способы получения доходов. В отличие от Запада, использующего в качестве инвестиций спекулятивные портфельные вложения, Китай, испытывающий постоянную нехватку энергоносителей, рискует на прямые инвестиции — вложения в действующие или создаваемые предприятия, преимущественно в энергетической области. Только в России они превышают миллиард долларов, а сколько еще в соседних странах Юго-Восточной Азии, в странах с отдаленной энергетической перспективой — Мьянме, Венесуэле, Судане, Анголе? Понятно, что территориальная экспансия Китая в Анголу исключена. Но вот экспансия экономическая — налицо.

«Их же так много, куда же им деваться?» — нормальный, в принципе, вопрос, часто присутствует он и в российской прессе, но уже как неотразимый аргумент. Миллиардные цифры, конечно же, пугают. Но ведь есть хотя бы пример Вьетнама, превратившегося за считанные годы из самой бедной страны в нетто-экспортера риса и резко поднявшего уровень жизни в стране! Он явно выше, чем нынешний средний уровень жизни в России, и это еще один повод для размышлений. Во Вьетнаме практически сформировался средний класс (даже при номинально коммунистическом режиме) и двигает вперед всю экономику страны. В России же, номинально демократической, уровень жизни населения мало кого волнует. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих...

Есть лишь одна ультимативная причина эмиграции или — в ином выражении — вооруженной экспансии. Голод. Или его перспектива в ближайшем будущем. Ни того, ни другого в Китае не предвидится. Так что подождем с паникой.

К ЗАПАДУ ОТ КИТАЯ

Подождем и с преимущественно католическими Филиппинами — вроде бы мы их пропустили в нашем движении с Востока на Запад, а там тоже нелегкие проблемы с мусульманским меньшинством на юге, с группировкой «Абу Саййаф». Впрочем, эти проблемы легче, чем в остальном мире, и то, что они радикально не решаются, можно списать на подчеркнутую демократичность местных властей. Все-таки юг не самого населенного острова Минданао, где обосновались мусульмане — «*мор*», «мавры», — не представляет серьезной угрозы ни для Филиппин, ни для региона Юго-Восточной Азии, ни для мира в целом. За одним исключением — есть сведения, что в лагерях «Абу Саййаф», занесенной ООН в список международных террористических организаций, проходят подготовку мусульманские экстремисты из сопредельных стран.

Вернемся на континент, минуя Бирму (или Мьянму, в современной транскрипции). Загадочная страна, поглощенная собственными проблемами, военная диктатура, которая ни для кого не представляет угрозы, — разве что для себя самой.

Процветающая Малайзия с населением менее 25 миллионов являет собой живой пример межрасового и межрелигиозного спокойствия — помимо мусульман-малайцев, составляющих большинство, там живут и китайцы, и индуисты-тамилы. Никто из них не испытывает ни религиозного, ни экономического давления со стороны большинства. И центральная власть традиционно крепка, и бурное индустриальное развитие не дает возможности населению отвлекаться на проблемы, свойственные менее благополучным странам. В свое время мало кого ввели в

заблуждение высказывания бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамеда, сходные по тону с нынешними откровениями иранского президента Ахмадинежада. Малайзия явно не имеет никакого отношения к джихаду или его подготовке; вероятно, Махатхир, выступавший на форуме Организации Исламская Конференция, хотел показаться, как говорится в Европе, «более католиком, чем сам Папа Римский». Многие рассматривают Малайзию как пример межэтнической и межрелигиозной гармонии, которому должны следовать и другие страны. Но пока этот пример является уникальным.

На крайнем юге соседнего буддийского Таиланда живет мусульманское меньшинство, время от времени заявляющее о себе вооруженными выступлениями. Правда, власти довольно легко с ними справляются, и сколько-нибудь серьезной угрозы эти выступления не представляют. Далее — Бангладеш, одна из наименее упоминаемых в международной прессе стран и одна из наиболее густонаселенных в мире. Подавляющее большинство 140-миллионного населения составляют бенгальцы-мусульмане, лишь в окраинных гористых районах живут немногочисленные народности, исповедующие буддизм или племенные религии. Формально это светское государство, но исламские партии пользуются там исключительно большим влиянием. Соответственно — и атмосфера в обществе. Я был там тридцать лет назад, женщина в чадре, да еще в черном балахоне из «болони» — это можно было встретить, очень редко, на автобусных станциях где-нибудь в провинции. Сейчас — обычная картина в самой Дхакке, столице и вообще единственном крупном городе страны. Есть и исламистские партии, требующие введения шариатского правления, есть и воинствующие группировки, одна из которых не так давно устроила серию взрывов в различных населенных пунктах, без особых жертв, лишь с одной целью — привлечь к себе внимание.

Едва ли из этого следует делать выводы о радикализации ислама в Бангладеш. Для убежденного исламистского проповедника, ищущего потенциальных воинов джихада, Бангладеш, на первый взгляд, настоящее золотое дно. Увы — лишь жалкие единицы зафиксированы разведками в известных им лагерях, где готовят террористов. Недавно в соседней Индии были схвачены двое террористов с взрывчаткой, оба из Бангладеш. Задержан и их руководитель Шейх Абдур Рахман, ответственный за организацию взрывов в самой Бангладеш. Правда, в терактах в Лондоне не было замечено ни одного выходца из Бангладеш, хотя их присутствие на британской земле весьма ощутимо — и в бизнесе в том числе. Зададимся вопросом — почему в такой нищете, как в Бангладеш, не находится «адекватного» количества «воинов джихада»? Дело в том, что потенциальные кандидаты, как правило, это — выходцы из городской маргинальной среды, а подавляющее большинство населения Бангладеш занято в сельском хозяйстве, и неурожай или стихийное бедствие этого года вовсе не исключают надежд на долгожданное богатство в следующем году (на самом-то деле в крепких хозяйствах урожай риса собирают трижды в год)!

Нет, не пойдут бенгальцы-мусульмане завоевывать «ненавистную Европу», тем более, что они перед этой Европой испытывают стойкий цивилизационный пиетет. Вероятно, такой же, как индийцы и пакистанцы. Другое дело, что при переселении в Европу (в ту же Англию) они приносят с собой и свои надежды, и свои, по сути дела, племенные обычаи. Одно входит в противоречие с другим — и внутренний цивилизационный конфликт неизбежен. Кто-то может его обойти — и становится достойным членом британского, американского, германского общества. И при возвращении домой — столь же достойным, но уже в Индии, Пакистане, Бангладеш. Никто из них не становится террористом-самоубийцей. Террор — это удел слабых.

Те, кто цивилизационный конфликт преодолеть не смог и стал обитателем национального гетто — неважно, индийского ли, пакистанского или бангладешского (это условно — бангладешского гетто я даже в Лондоне не видел), — становится легкой добычей исламистских вербовщиков.

Удивительно — в Бангладеш утвердилось уважительное отношение к национальным меньшинствам, населяющим гористые районы близ Читтагонга (Chittagong Hill Tracts). Чакма, или мого, как их чаще называют бенгальцы, долго боролись за свои права и смогли их завоевать. Они буддисты, правда, с примесью древних анимистических верований; их даже побаиваются, опасаясь колдовской напасти. В своих деревнях женщины чакма ходят с открытой грудью; в бенгальских селениях или городах они, как правило, надевают блузку или даже мужскую рубашку. Просто они не хотят отличаться от других — и нормально сливаются с разноцветной толпой, заполняющей местные рынки.

Индия, которая помогла Бангладеш (бывшему Восточному Пакистану) завоевать независимость, достаточно прохладно относится к своему порождению. Ни в стратегическом, ни в экономическом отношении эта страна для гигантской Индии интереса не представляет. Эти интересы направлены совсем в другую сторону — на Запад, как ближний, так и отдаленный.

В период наивысшего подъема «азиатских тигров» — Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда — очень многие аналитики были убеждены, что центр мировой экономической жизни перемещается в сторону Юго-Восточной Азии. Теперь об этом говорят все меньше — и не потому, что экономический рост там замедлился. Это как раз благоприятный фактор, позволяющий избежать опасного «перегрева» экономик и предотвратить связанные с ним кризисы. Но ведь перемещение центра — это прежде всего перемещение капиталов, а этого как раз и не происходит. Зато заговорили о новых центрах притяжения — Китае, о котором мы уже упоминали, и Индии. Нет сомнений, что эта страна постепенно превращается в великую мировую державу, соперничая прежде всего с Китаем, который такой державой уже стал. По численности населения Индия лишь немногим уступает Китаю — 1,1 млрд. против 1,3 млрд.! Но в результате длительной и жестокой кампании по ограничению рождаемости население Китая стареет, а в Индии этого не происходит. В результате работоспособных людей в Индии в течение десятилетий будет больше, чем «иждивенцев», и это становится важным фактором экономического роста.

Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф отмечает удивительную тягу к образованию. В детских садах в бедном районе Калькутты учат английский, бенгали, математику, занимаются рисованием и музыкой и даже выполняют домашние работы! Автор удивляется: большинство американских газет заманивает читателей комиксами, британская бульварная пресса — полуобнаженными красотками, а калькуттская ежедневная газета настолько «обнагела», что публикует регулярную колонку о математических уравнениях! Что ж, ведь и шахматы были изобретены в Индии... И вовсе не случайно, что главной статьёй экспорта этой страны стала продукция не промышленная, как в Китае, а продукция интеллектуальная — Индия является крупнейшим экспортером компьютерных программных продуктов, и уже сейчас современные отрасли индустрии без них обходиться не могут. В стране с населением более миллиарда человек растут сотни тысяч будущих математиков и программистов, и это залог не только индийского, но и всемирного прогресса. Заметьте — в Бангалоре, центре индийского компьютерного бизнеса, число инженеров, занятых в информационных технологиях, больше, чем в знаменитой Силиконовой долине в Калифорнии! Более того — и в самой Силиконовой долине более 30 процентов специалистов — индийцы или дети индийцев, родившиеся уже в Соединенных Штатах.

Впрочем, не будем обольщаться — Индия вовсе не собирается становиться мировым филантропом, ведь все имеет свою цену. Уровень жизни среднего индийца вдвое ниже, чем в Китае. Амбициозные социальные программы гложут на корню в лабиринтах всеильной и фантастической по численности бюрократии. И ни одно правительство не обладает достаточными силами для радикальных реформ. Одна из причин — постоянная внешняя угроза (по крайней мере, в официальной пропаганде), это тлеющий уже более полувека конфликт с Пакистаном и его крайнее выражение — кашмирский вопрос. Можно сотни раз обвинять Англию, разделившую Британскую Индию на два государства — Индию и Пакистан — по религиозному признаку. Кашмир же населен преимущественно мусульманами, но значительная его часть все-таки относится к Индии. Вооруженные столкновения между двумя странами происходили неоднократно, были даже полномасштабные войны — до тех пор, пока сначала Индия, а потом и Пакистан не обзавелись атомной бомбой. Ни та ни другая страна не присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия. В свое время это вызвало и широкое международное осуждение, и даже экономические санкции, но потом все было забыто. Стало ясно — две страны нацелились друг на друга и ни на кого другого, повторив в локальном варианте концепцию «гарантированного взаимного уничтожения», определявшую прохладно-уважительные, исполненные скрытой ненависти отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Индия никому не угрожает своей бомбой, утверждая, что это лишь средство обороны. Пакистан утверждает то же самое, не привлекая к аргументации исламские лозунги. И при этом — Индия остается страной, где количество мусульман больше, чем в любой из стран Ближнего Востока, уступая по этому показателю лишь Индонезии и в совсем незначительной степени — Пакистану и Бангладеш. Тем не менее, мусульманское население (а оно составляет не менее 130 миллионов человек), живущее, как правило,

в крупных городах, не проявляет стремления к обособлению или радикализации. Из Индии не выходят «воины джихада». Ни одного индийца не замечено в «Аль-Каиде», ни одного индийца среди узников базы Гуантанамо. Причина — в широко распространенной демократии, религиозном, расовом и даже кастовом мире, царящем в Индии на протяжении последних десятилетий; впрочем, именно кастовая проблема является наиболее актуальной. Простые объяснения утверждают — когда племена арьев пришли на территорию Индостана, они были разделены на четыре общественных группы — варны (цвета): брахманы (священники), кшатрии (воины), вайши (торговцы) и шудры (земледельцы). Эти категории сохраняются в индуизме, чрезвычайно сложной и, я бы сказал, изощренной религии. Это — не касты, которые исчисляются многими сотнями. В каждом из многочисленных народов, населяющих Индию, есть свои касты, в той или иной степени соотносящиеся с древними варнами. Но в каждом штате есть свои особенности, влияющие даже на возможности человека той или иной касты занять тот или иной ответственный пост. Всего же каст несколько сотен, и разобраться в них не под силу даже индийским администраторам.

Индия — страна безусловно демократическая, но кастовая система откровенно антидемократична. Это еще не до конца светское, а пока в значительной степени религиозно ориентированное общество. Правда, доминирующая религия — индуизм — не претендует, в отличие от ислама, на мировое господство.

Южнее, на Шри Ланке, индуизм исповедуют лишь пришлые тамилы, организовавшие при этом исключительно эффективное движение сопротивления, не гнушающееся террористическими методами — «Тигры освобождения Тамил Илама». Они дают время от времени о себе знать, но ущерб, нанесенный их акциями, в принципе, невелик. Это — чисто национальный терроризм, базирующийся прежде всего на этническом принципе. Так это было в начале XX-го века, когда ирландский терроризм начал тряссти благополучную Англию. И кончился совсем недавно, когда главный оплот терроризма, Ирландская республиканская армия, объявила о своем разоружении. Тамилы, составляющие явное меньшинство населения, но плотно заселившие север острова с центром в Джафне, оружия не складывают. Их цель — автономия, но Шри Ланка — унитарная республика, и образование автономии противоречило бы конституции. Существует один из гипотетических сценариев: поскольку большинство тамилы на Шри Ланке являются выходцами из индийского штата Тамилнаду, Индия посылает войска для поддержки соотечественников и легко завоевывает остров, большинство которого населяют сингалы — близкие к арьям, но — буддисты. Для индуистского общества и этот сценарий был бы неприемлем, сколь бы увлекательно он ни был изображен в романах знаменитого Тома Клэнси.

Собственно, почему? В индуизме твой жизненный путь определяют сонмы богов. Каждый шаг предопределен, и конец твой известен заранее. В буддизме — ты сам кузнец своего будущего. Хочешь — стань героем. Каста твоя значения не имеет. Хочешь — стань царем. Или, если отрешься от мирских сует, — стань Буддой. Я не слышал, чтобы кто-нибудь стал.

В далеком прошлом были войны между индийскими царствами. Потом — империя Великих Моголов, мусульманских потомков Чингиз-хана. Она была разрушена уже англичанами. Религия менялась много раз — от ведической арийской до буддизма Ашоки, от эллинистических верований после завоеваний Александра Великого до умеренного ислама моголов, к которому фантастическим образом примешались местные верования. Завоевания Бабура, Акбара Великого, Аурангзеба были лишь завоеваниями территории — вовсе не «священной войной против неверных». И империя Великих Моголов до их капитуляции перед английской армией властвовала над огромной массой «неверных»- индуистов и вовсе не преследовала их за веру.

Уже совсем недавно были вспышки религиозного экстремизма среди индуистов, но они носили лишь локальный характер и поддержки в обществе не получили. Зато исламская (или, скорее, исламистская, «джихадистская» угроза) заявляет о себе в полную силу. Достаточно сказать, что за последние пятнадцать лет в Индии погибло от чисто «джихадистских» терактов больше людей, чем в любой другой стране мира. Это было дело вовсе не местных мусульман, а членов зарубежных террористических группировок. Индия, как подчеркнуто демократическое и мультикультурное общество, вызывает естественную неприязнь соседних обществ, в которых очень сильно давление радикальных мусульманских кругов, ставящих целью перестроить общественную жизнь на основах шариата. Индия прекрасно осознает опасность глобального терроризма, и на этой основе происходит ее сближение со страной, объявившей терроризму тотальную войну, — с Соединенными Штатами. Делаются заметные шаги в стратегическом и военном сотрудничестве, и хотя Индия не поддержала иракский поход Вашингтона, можно сказать, что прежней политике

«неприсоединения» постепенно приходит конец. Уж больно велики ставки в разгорающемся цивилизационном конфликте, и Индия стремится более откровенно позиционировать себя на стороне демократии и прогресса, связанного с западными ценностями.

Это вызывает нескрываемое раздражение у ближайшего соседа и вечного соперника Индии — Исламской Республики Пакистан. В объявленной войне против международного терроризма Пакистан рассматривается как важнейший союзник Америки, хотя этот тезис касается не столько Пакистана как общества, сколько Пакистана как политического режима, железной рукой управляемого генералом Первезом Мушаррафом. Сотни членов «Аль-Каиды» уже уничтожены в Пакистане, ведутся поиски (долгие и не слишком эффективные) самого Усамы бин Ладена в районе пакистано-афганской границы. Но зададимся вопросом: почему «Аль-Каида» избрала своим убежищем именно Пакистан? Далеко ли распространяется власть военных, да и самого президента? Увы, ответ будет неутешительным. Даже на юге и в центре страны, в Карачи, в Лахоре, Равалпинди, охваченных экономическим бумом (годовой экономический рост Пакистана в этом году может достичь 8 процентов), исламские фундаменталистские настроения очень сильны. На гораздо менее населенном Западе и Северо-Западе сохраняется кланово-племенная структура (у белуджей, пуштунов, других народов); там речь о фундаментализме не идет, но и власть центрального правительства чисто номинальна. Племена или воюют, или договариваются друг с другом, и данное слово считается священным. Вероятно, какое-то пограничное племя дало слово (за солидную плату, естественно) бин Ладену, и найти его в такой ситуации будет непросто.

Впрочем, «Аль-Каида» как таковая, несмотря на произносимые время от времени страшные угрозы, едва ли является в настоящее время солидной террористической организацией, способной эти угрозы осуществить — без посторонней помощи. Недавно даже в далекой Колумбии арестовали «каидовцев» с поддельными паспортами, сначала думали, что это просто наркокурьеры. Конечно же, наркоторговля дает уже давно ощутимую финансовую поддержку террористическим организациям — причем всем, вне зависимости от их религиозной или идеологической направленности.

Вернемся, однако, к Пакистану. Индия считает эту страну главным спонсором терроризма, поскольку все «героические» акции патриотов по освобождению Кашмира» носят исключительно террористический характер. Исключение составляют лишь бескровные перестрелки на заснеженных горных перевалах... Пакистан считает Кашмир главной национальной проблемой, и именно для ее решения (или как повод) было создано пакистанское ядерное оружие. К договору о не распространении и Пакистан не присоединился, и отец пакистанской бомбы Абдул Кадир Хан продал чертежи и даже целые газопылевые центрифуги для обогащения урана за рубеж — Ирану, а возможно, и Северной Корее. Сейчас арестованный Кадир Хан еще не закончил давать показания, и, возможно, нас ждут еще новые сенсации.

Пакистанское общество еще со времен раздела Британской Индии, который был сочтен мусульманами несправедливым, находится в весьма возбужденно-радикализованном состоянии. Ситуацию там едва ли можно назвать стабильной, демократические реформы не проводятся или застревают в бюрократических закоулках. Диктаторский режим Мушаррафа занят преимущественно укреплением собственной власти, что опять же не придает стране стабильности в долгосрочном плане. Только за последний год было несколько покушений на жизнь президента, и одно из них чуть не оказалось удачным. Что будет, если его все-таки убьют? В условиях диктатуры это может означать резкое изменение курса, отход от союзнических отношений с Вашингтоном, усиление агрессивного курса по отношению к Индии и превращение Пакистана в откровенно исламистско-фундаменталистское образование. Кашмирская проблема — лишь одно слабое звено такого гипотетического будущего. Десятки, если не сотни, фундаменталистских организаций по всей стране; тысячи медресе, в которых, что называется, с молодых ногтей прививают ненависть к Западу и к евреям (заодно и к индусам, без этого никак). Должен внести ясность — индусами называют последователей индуизма, одной из самых древних и разветвленных религий на Земле. Есть брахманы (как правило, в отдаленных горных районах), есть шиваиты, вишнуиты и кришнаиты, которые, в свою очередь, делятся на десятки ответвлений. Тем не менее, ни один, даже самый европеизированный, шиваит не пройдет без поклона мимо храма, посвященного Кришне. Все они — индусы. Индийцы — это и они тоже, и индийские мусульмане, и сикхи, и джайны, и достаточно многочисленные индийские христиане. Известного вам по «Графу Монте-Кристо» аббата Фариа помнят в Индии до сих пор, считают его святым, обратившим в христианство многие сотни индийцев.

Впрочем, именно индийское многообразие, гармоническая разноцветность вызывает особый вид ненависти у фундаменталистских исламских проповедников. Если даже такие враги, как христиане и евреи — все-таки «Люди Книги (то есть Библии, Торы, Китаб Инджиль — это все одна и та же Книга), то Индию населяют вообще язычники, которых Аллах повелел истреблять!

Уже более полувека курсантам пакистанских военных академий внушают, что главный враг — это Индия, и главная задача — освободить Кашмир. До сих пор не получилось, но попытки могут повториться — думаю, что, как и прежде, с нулевым результатом. Напротив, наметилось определенное сближение двух стран, появились зачатки взаимного доверия. Весьма успешным был визит генерала Мушаррафа в Дели в апреле 2005 года, и одним из важных знаков стало открытие Индией своих границ для прохода конвоев с гуманитарной помощью в районы Пакистана, пострадавшие от катастрофического землетрясения. Продолжение этого процесса в перспективе могло бы снять существующее напряжение, весь вопрос в том, готово ли пакистанское общество к этому продолжению.

Вы заметили — очень многие даже вполне осведомленные международные наблюдатели восприняли курс Буша-младшего на расширение и продвижение демократии по всему миру лишь как очередной лозунг, как подобную многим прежним попытку распространения типично американских ценностей на весь остальной мир. Дескать, кока-кола, гамбургеры и все такое — типичный и беспомощный аргумент антиглобалистов, собирающих многотысячные толпы именно против этих «ценностей». На самом же деле практически все американские кабинеты делали ставку прежде всего на диктаторские режимы, казавшиеся им достаточно прочными. Режим Пакистана изначально непрочен, и поэтому США на него давят — продвигайте, дескать, демократию. То же ведь — палка о двух концах. Что, если к власти в результате демократического процесса придут откровенные фундаменталисты и попытаются установить шариатское правление? Как-то бывший помощник Госсекретаря США Джереджиан охарактеризовал подобную ситуацию исчерпывающей формулой: «Один человек. Один голос. Один раз», то есть больше — никаких голосований, никакой демократии. Конечно же, такой крайне неблагоприятный исход тоже учитывается, но мало кто может сомневаться в ультимативной триаде американских идеологов — «чем больше демократии, тем больше стабильности, тем больше мира».

Как удивительно — Пакистан связывают с внешним миром либо дикие пустыни (Качский Ранн на юге), либо кашмирские кручи на границе с Индией, либо достаточно дикие и неуправляемые племена белуджей на западе, на границе с Ираном, либо пуштунские племена, контролирующие все перевалы севернее Пешавара, на границе с Афганистаном.

«СТРАНА, КОТОРУЮ НИКТО НИКОГДА НЕ СМОГ ЗАВОЕВАТЬ»

Так всегда говорили об Афганистане романтики, не учитывавшие реальных исторических событий. Много раз эта страна была покорена, наводнена войсками иноземных властителей, начиная с Александра Македонского, индийского царя Ашоки, Тимура и Великих Моголов и кончая советским «ограниченным контингентом», и даже труднодоступный горный район, получивший название «Кафиристан», который населяли голубоглазые рослые люди, не исповедовавшие ислам, был покорен, razoren и получил название «Нуристан» — «Страна Света». Тем не менее, Афганистан — действительно «трудный орешек». На севере — узбеки, лидер которых, генерал Дустум, обладает колоссальным влиянием, несмотря на время от времени появляющиеся обвинения в хладнокровном убийстве мирных крестьян. Кажется, сейчас Дустум стал начальником генерального штаба — может быть, и не зря. В подавлении восстаний и выступлениях недовольства он имеет огромный опыт. Южнее, вокруг Кабула — таджики, самый, по сути дела, цивилизованный народ Афганистана, говорящий на языке дари (прежнее название — фарси-кабули, то есть кабульский персидский). На этом языке существует интересная литература, на нем говорит интеллигенция и жители практически всех крупных городов. За их пределами — полудикие племена, руководствующие лишь своими племенными обычаями и говорящие на различных диалектах языка пушту. Они никогда не подчинялись центральному правительству; время от времени созывалась «лояя джирга» — совет старейшин племен — и на ней утверждался король (или, как сейчас, президент). Он, кстати, обязательно должен быть пуштунского происхождения, и нынешний президент Махмуд Карзай этому требованию удовлетворяет. Как, впрочем, и другим требованиям, отличающим государственного деятеля высокого уровня.

Экономика страны растет, и даже площади под опийным макаем радикально сокращаются — при том, что Афганистан до сих пор фигурирует в списке стран-основных поставщиков наркотиков на мировой рынок. Мы же получаем чуть ли не каждый день сообщения о вооруженных столкновениях, нападениях талибов на тот или иной объект. На самом деле главная проблема — так называемые частные армии. Каждая из них стремится прежде всего установить границы своего влияния — и на этой территории властвовать безраздельно. Талибан — это лишь одна из таких частных армий, и, по большому счету, реальной угрозы центральному правительству она не представляет. Нынешний Афганистан — почти копия того, что был во времена короля Мохаммеда Захир-Шаха; даже главой государства стал пуштун Хамид Карзаи (все короли были пуштунами, и лишь после свержения Захир-Шаха эта традиция была нарушена). Лишь времена изменились, и сегодня мы получаем полноценную информацию о регионе, о котором мы раньше узнавали из стихов Киплинга и кратких сводок об «ограниченном контингенте». Так или иначе, Афганистан если не навсегда, то надолго выведен из перечня стран, перед которыми демонстративно расшаркиваются диктаторские режимы и которых по мере возможности избегают демократические страны планеты. Нельзя еще сказать, что демократия в Афганистане победила; но и потерпеть поражение ей никто не позволит. И даже в случае поражения — Афганистан может вновь превратиться в гнездо терроризма, — но будет локализован и, соответственно, станет первой целью новой международной контртеррористической операции, по образцу уничтожения талибов; никто не может сказать сейчас, что движение «Талибан» существует и действует; есть талибы, они воюют в каких-то бандах, но самого движения, отвоевавшего Афганистан у националистов, в свою очередь разгромивших русские войска, — этого движения больше нет. Есть его идеолог — мулла Омар, он, как и его союзник-соперник — Усама бин Ладен, — издают фатвы, записываются на видеопленку, дают знать, что они все еще живы и по-прежнему опасны. Насколько — никто не знает. Во всяком случае, серьезной опасности для всеобщего мира они, думаю, уже не представляют.

Итак, «Талибан» как организация, которая могла даже править целой страной (правда, правление это было катастрофой), как мы видим, уже перестала существовать. Талибы — еще есть, еще воюют, но уже по инерции. Но племенные пуштунские эскадроны, готовые к самопожертвованию и лобовой атаке, на юге страны определяют стратегическую ситуацию, и американские или английские войска, от подобного ведения войны уже отвыкшие (разве что вспомнить времена гражданской войны?), уступают нападающим оперативное пространство (хотя, при современных средствах ведения боевых действий, понятие оперативного пространства кавалерийской войны полностью утратило свое значение). Тем временем заметные события происходят и в Кабуле. Я имею в виду назначение безусловного лидера афганских узбеков генерала Дустума на пост начальника генерального штаба. Его послужной список — удивителен. Он воевал и против советских войск, и против таджикских моджахедов Ахмад-Шаха Масуда, и против неожиданно наводнивших Афганистан отрядов талибов. И даже когда его столицу, Мазари-Шариф, талибы подчинили своей власти, Абдурашид Дустум, уйдя в подполье, не утерял ни йоты своего прежнего влияния. Конечно же, тактическую ситуацию в стране ему придется менять еще не один год, но это именно тот человек, который может это сделать. Это действительно так, что правительственные войска контролируют лишь Кабул и несколько крупных городов, да и то только в светлое время суток. Но так было и во время правления «ограниченного контингента советских войск», и так же было во время королевского режима. В Афганистане воевали всегда, это способ национального самовыражения, но воевали друг с другом, с соседними кланами, и крайне редко — с иностранными агрессорами. Но никогда не идентифицировал Афганистан себя внутри всего мира в качестве форпоста ислама. Словом, Афганистан как таковой реальной угрозы для всеобщего мира уже не представляет. Более того — демократическое развитие этой страны, хоть и сложное, и противоречивое, может стать примером и для соседних стран — Пакистана и, конечно же, Ирана.

Иран является ближайшим западным соседом Афганистана; родственные языки, родственные культуры, родственные народы — и, тем не менее, разный взгляд на жизнь. Афганцы не любят иранцев, те отвечают им взаимностью. Трудно сказать, в чем здесь причины, но, так или иначе, Иран не поддерживал ни «моджахедов», воевавших против советских войск, ни пришедших им на смену талибов. Во всяком случае — открыто. Какие-то слухи были, но подтверждения им так и не нашлось. Мы обычно забываем и еще один немаловажный фактор — движение «Талибан» возникло вовсе не в Афганистане, а в тех самых тысячах медресе, скажем: средних мусульманских школах в Пакистане, где учились выходцы из пуштунских племен, для которых до сих пор не

существует границы между Пакистаном и Афганистаном. Американцы видели в них средство борьбы с советской экспансией и, в общем-то, сделали формально правильный выбор — фанатичным талибам удалось покорить весь Афганистан и вытеснить все остальные военно-политические силы. Никакого радио, никаких телевизоров, никаких средств массовой информации и общественных развлечений. В урочное время — все на молитву, нарушителей или опоздавших — к физическому наказанию. В Кабуле запретили говорить на языке дари, предписав всем пушту — а его знали лишь единицы...

Талибы-то как раз говорили на пушту, и другого языка они не знали. В пакистанских медресе они заучивали тексты Корана, написанного на средневековом арабском. Фактически это был языковой барьер — за пределами Афганистана они не могли ни с кем общаться, разве что со своими соплеменниками в Пакистане. Поэтому и до сих пор нет талибов среди боевиков в Ираке или Палестине. Зато в самом Афганистане они устроили сотни лагерей, где искусству убийства обучались многие тысячи приезжих исламистов из самых разных стран, в том числе из Европы и Америки. И ловят их до сих пор, кто-то сидит на базе Гуантанамо и дает показания, но и там афганских талибов нет. Фанатичные мальчишки, с ходу бравшие баррикады Ахмад-Шаха Масуда, не имели другой цели и к ней не готовились. Лишь их идеологи, убедившись в собственной безопасности, превратили страну в полигон для «воинов джихада», набрали инструкторов, говорящих по-арабски, и устроили хорошо оборудованные базы для будущих воинов-самоубийц в Ираке или в Палестине. Шахиды, «жертвы во имя Аллаха», с исторических времен первых мусульманских походов, были либо воины, погибшие в момент героических деяний, либо праведники, погибшие в результате предательства со стороны собственных братьев по вере.

Самоубийство в исламе, как и в любой другой великой «религии Книги», безусловно осуждено. Кровавое самоубийство в израильском автобусе не приведет самоубийцу, назвавшегося «шахидом», в столь разрекламированный мусульманский рай; он уж точно попадет в ад, но о нем мусульманские проповедники ничего не говорили... Ангелы смерти Накир и Мункар ввергнут грешника в бездну — а дальше, как говорится, полная неизвестность, но едва ли приятная.

Далее на нашем маршруте — Иран, рвущийся на наших глазах к обладанию ядерным оружием; непонятный и противоречивый арабский мир, на самом краешке которого, как осажденная крепость, стоит крошечный Израиль; а далее, через Турцию, Европа и, наконец, Америка.

Продолжение следует

Всеволод МАЛЬЦЕВ

МОСКОВСКИЙ ТИТАНИК

Это утро в жизни Игоря Яковлевича не предвещало никаких особых изменений. За окном стояла такая же, как и всю неделю, беспросветная серая облачность, похожая на грязный, обкуренный выхлопными газами снег. Из телевизора ведущие утренних программ повторяли вчерашние новости.

И было бы даже еще более скучно и серо, если бы не... выборы.

Если просто сказать, что Игорю Яковлевичу нравились периоды подготовки и проведения выборных кампаний, значит не сказать ничего. Он их просто обожал: всякие там теледебаты, с обливаниями соком и мордобоями; прямые трансляции работы думцев со старыми деревенскими забавами — драками стенка на стенку да выдергиванием друг у друга волос, у кого что осталось; круглые столы, гласы народа, свободы слова и прочие телешоу с политическим уклоном, собирающие одних и тех же людей, кем-то когда-то куда-то выбранных.

Особенно в эти дни ему нравились, конечно, вечерние передачи, когда можно было уютно устроиться в кресле, пододвинуть к себе раскладной столик на колесиках с парой баночек пива, чипсами и вываленным на блюде пакетиком фисташек. Но самое интересное, конечно, начиналось перед самыми выборами. Каждый из кандидатов на сокровенные места, словно студент перед сессией, считал, что лучше запомнится то, на что глаз упал в последнюю минуту, и всеми правдами и неправдами старался поставить точку в дискуссии.

Все эти зрелища так будоражили Игоря Яковлевича, что во время последних шоу он позволял себе и беленькую, пропуская по одной за каждый успешный ответ своего избранника. И при этом десятая шла также хорошо, как и первая, а любые дешевые закусоны казались изысканными деликатесами.

Вот и в этот раз он ни разу не пропустил ни одну подобную передачу, хотя в каждой из них одни и те же люди говорили, в сущности, одно и то же, с небольшими «вариациями на тему».

Каково же было его удивление, когда в девятичасовом выпуске новостей, вместо того чтобы вновь повторить давно известные всем «новости», абсолютно неожиданно не только для всех зрителей, но и для себя самого, диктор скорчил удивленную мину и зачитал с невидимого монитора «важное правительственное сообщение», полученное сотрудниками программы из «весьма компетентных источников». Суть этого сообщения сводилась к следующему.

— Выборов больше не будет, принято решение, что страна не может больше позволить себе разбазаривание огромных сумм на столь частые выборные кампании. Хватит! Выбрали в прошлый раз людей. Раз выбрали — значит, доверяете. И пока они живы и здоровы, пусть сами и решают: продолжать начатое или поставить на свое место более свежие, подготовленные ими молодые кадры.

«И нечего, — завершая чтение сообщения, зачитал диктор выдержку из «типичного послания трудящихся правительству», — коней на переправе то и дело менять, а то застрянем между двумя измами навек, не выпутаемся».

Услышал такое Игорь Яковлевич и загрустил. «Последнюю, блин, радость у человека отнимают!» — начал было тихонечко высказывать он свое возмущение, одновременно

разыскивая пультом разные программы — в надежде сверить, так сказать, свои думы-помыслы с общественным мнением.

Как он и ожидал, в ящике на этот счет мнения были разные. Одни поддержали правительственный почин: «Действительно, сколько средств бухаем, а результат? Как сядут в кресла, так и меняются, итить их, далеко не лучшим образом!»

«Правильно! — поддержали другие, политика — дело тухлое. Как туда человек попал — пиши пропал. Был человек — нет человека!»

«А нужна ли нам вообще эта Дума? — засомневались третьи. — Пусть министры работают, президент, значит, общие установки дает, и нечего туда-сюда рассуждать!»

А четвертые, как всегда, неуступчивые и своенравные, со всем этим несогласные, стали призывать обсудить этот вопрос на Манежной площади. Мол, приходите, люди добрые, обсудим все, поговорим между Кремлевской стеной и Думой, чтобы, если чего надумаем, недалеко было нести свою петицию.

«Какая еще Манежная? — удивился их предложению Игорь Яковлевич. — Её же практически не существует! Там же теперь многоярусный подземный Торговый центр со стеклянными шапками-тюбетейками наверху да фонарями?» Но сомнения эти, впрочем, быстро развеялись. Само по себе это предложение ему понравилось, он поспешил на «Охотный ряд» и встал в ожидании развития событий.

А там уже всю шла работа. С балкона гостиницы «Москва» уже ничего не скажешь. Нет «Москвы», разобрали всю и увезли в неизвестном направлении. Строят мужики на площади из подвезенных на двух грузовичках досок помост. Вроде эшафота получается. Да так быстро, что через полчаса на нем уже целая очередь выстроилась из народных трибунов. Стоят, руками машут, сами себя настраивая на речи забористые, искрометные. А вокруг народ толпится. Такие же охочие до дебатов, как он; понаехали со всех сторон, стоят, ждут. Настроение у всех приподнятое. Вокруг фонари красивые, во рвах фонтанчики брызжут, скульптурки на солнце бликуют.

— И что же это такое делается? — прорвался первый из ожидающих ораторов к свежевыструганной трибуне, потрясая перед собой смятой шапкой. — Как же так? Опять без всех нас? Получается, что в нас и нужды больше не будет никогда?

Не успел он договорить свою речь, как началось нечто невообразимое. Вдруг из фонтанчиков одновременно, словно все краны сорвало, вода пошла не рассыпчатым веером, а толстыми, словно из гигантских брандспойтов, ливнеподобными струями. Они быстро заполнили вначале сами рвы, а затем, перевалив нешуточными волнами через балюстраду, и вовсе, словно из переполненной ванны, разлились по всей бывшей площади сбивающей с ног ледяной массой.

Кто-то успел громко зловеще пошутить:

— Так вот какой супераквариум нам обещали в столице!

Люди бросились со всех ног врассыпную, но довольно быстро были остановлены невидимой преградой и, настигнутые набегающей волной, отброшены назад, к центру площади. А вода все прибывала и прибывала, никуда не вытекая, словно со всех сторон к площади приставили высокие прозрачные стекла.

Игорь Яковлевич вспомнил, что этот подземный торговый центр с самого начала в народе называли «русским “Титаником”». «Прозорлив народ наш, чутье редкостное», — подумал он не без гордости, и когда вода накрыла с головой, оттолкнулся и попытался плыть в сторону Тверской, активно отбиваясь от кишащих вокруг него тел, многие из которых вопили что-то нечленораздельное и пытались ухватить его за руки и ноги. Приходилось действовать быстро и решительно, долбая кулаками по головам, разбивая носы и кроша зубы, бить, не глядя, каблуками ботинок во все твердое. Все это, правда, помогало только в первые минуты три.

Затем тяжелые прицепившиеся тела потянули его вниз. Он раскрыл под водой глаза и увидел, как на дне гигантского аквариума, словно ровная, подогнанная друг к другу галька, искрилась подсвеченная снизу брусчатка. Словно какой-то старинный затопленный город, вдали колыхались в подводных течениях и здание Манежа, и Кремлевская стена со своими башнями.

Наверху оставались те, которые еще плескались, удерживаясь на плаву вокруг всплывших досок от несостоявшейся трибуны, фыркая и тяжело перебирая обернутыми в мокрую одежду конечностями, и те, которые уже лежали на водной глади аквариума, постепенно раздуваясь и мерно дрейфуя то в одну, то в другую сторону, повинувшись переменчивому ветрилу.

Опускаясь вниз в клубке тел, он увидел бедолаг, которые зацепились одеждой за фонари и болтались на них, словно воздушные шарики, которые и рады бы улететь вверх, да не могут.

Шмякнувшись о брусчатку, людской ком, окружавший его, распался, и он сразу же воспользовался этим, чтобы продолжить свой путь пешком, идя по неустойчивым телам, буквально за минуту обложивших дно в несколько слоев. Посиневшему от переохлаждения, с красными выпученными глазами, ему удалось подойти к невидимой стене и увидеть людей. Одни шли по своим делам, не останавливаясь. Другие, как ему показалось, приезжие и иностранцы, с некоторой досадой рассматривали барахтающихся в аквариуме людишек, закрывающих им вид на Красную площадь.

Вдруг на месте главного входа в Торговый центр словно кто-то открыл, наконец, пробку, и образовалась огромная воронка, моментально начавшая без разбору всасывать в свое чрево: живых и утопленников, доски и грузовики, и даже весь образовавшийся в результате недолгого пребывания толпы на одном месте мусор. Устремляясь в этот бешеный водоворот, все это словно попадало в другое измерение, исчезая бесследно.

Затем дырка в последний раз утробно отрыгнула, справляясь с остатками, и исчезла. На её месте вновь образовался стеклянный купол входа. Площадь опустела, и только редкие лужи как-то очень отдаленно напоминали о прошедшей водной вакханалии.

Совсем низко над землей проплыло огромное красное солнце, ликвидируя лужицы и окончательно лишая дворников повседневной работы.

Стеклянные стенки исчезли, и люди, как ни в чём не бывало, ступили на бывшую Манежную площадь и растеклись по ней: кто, спускаясь в Торговый центр, а кто, прохаживаясь по верху, попивая пиво и фотографируясь.

Все стало, как прежде.

Декабрь, 2003 г.

Коротко об авторах

Михаил Аранов Прозаик и поэт. Родился в 1938 г. в Ленинграде. Там же закончил Политехнический институт. По специальности — кибернетик. В 2000 году переехал в Германию. Печатается в периодических изданиях Германии, Англии, Эстонии, России. Живёт в Ганновере.

Нина Горланова Прозаик, поэт, художник. Родилась в деревне Юг Пермской области в крестьянской семье. В 1970 г. закончила филологический факультет Пермского университета. Автор множества книг и публикаций в российских и зарубежных литературных журналах. Лауреат нескольких престижных премий, в том числе международных (первая премия на Международном конкурсе женской прозы, 1992, Специальная премия американских университетов, 1992). Произведения переведены на английский, французский, немецкий, испанский, польский языки. Замужем за писателем В.Букуром, с которым часто пишет в соавторстве. Живёт в Перми.

Алишер Киямов Поэт, переводчик. Родился и вырос в Ленинграде. Окончив Литературный институт им. А.М. Горького, жил и работал в Таджикистане. После того, как в республике началась гражданская война, вернулся в Санкт-Петербург. Автор четырех поэтических книг. Переводил с таджикского Омара Хайяма, Бозора Собира, Искандара Хатлони, с украинского Василя Герасимюка, с немецкого Мадлен Флик. Живет в Германии (г. Руссельсхайм).

Кирилл Ковальджи Поэт, прозаик, переводчик, критик, публицист. Родился в 1930 г. в бессарабском селе Ташлык (теперь Одесская обл., Украина). В 1954 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публикуется как поэт с 1947 г. Автор множества книг поэзии и прозы. Произведения переводились на молдавский, румынский, болгарский, польский языки. Награждён медалями СССР, Румынии, Молдавии. Лауреат литературной премии «Венец». Живёт в Москве.

Евгений Кочанов Публицист-международник. Родился в 1943 году. Выпускник Института восточных языков при МГУ им. Ломоносова. С 1968 года — сотрудник международного отдела Всесоюзного радио, с 1976 по 1993 г. — корреспондент Советского (впоследствии Российского) телевидения и радио в странах Южной и Юго-Восточной Азии, печатался в московской и зарубежной периодике. С 2000 года живет в Германии (г. Бонн), регулярно печатается в русскоязычной периодике. Член Международного союза журналистов.

Инна Лесовая Писательница, художница. Родилась и живёт в Киеве. Закончила факультет графики Московского полиграфического института. Автор около двадцати романов и повестей, широко печатается в периодике США, Израиля, России, Украины, Германии. Живописные работы были представлены на многих персональных и коллективных выставках, в том числе международных.

Самуил Лурье Прозаик, эссеист, литературовед, критик. Родился в 1942 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Почти всю жизнь проработал в отделе прозы журнала «Нева». Автор нескольких книг и множества журнальных публикаций. Лауреат нескольких престижных литературных премий (в том числе — имени П.А. Вяземского, 1997). Действительный член Академии русской современной словесности (Москва). Живёт в Санкт-Петербурге.

Всеволод Мальцев Прозаик, публицист, критик. По образованию историк (закончил истфак и аспирантуру МГУ, с учеными степенями и званиями). Автор книги «Парализованная кукла: повести и рассказы». Публиковался в Великобритании, Германии, Греции, Израиле, России, США. Живёт в Берлине.

Лариса Миллер Поэт, прозаик, эссеист. Родилась в 1940 г. в Москве. Окончила в 1962 г. Московский институт иностранных языков. Автор девяти книг стихов и прозы, а также множества журнальных и газетных публикаций. Стихи переводились на английский, голландский, норвежский и шведский языки. Лауреат литературной премии «Русского переплёта». Живёт в Москве.

Александр Мильштейн Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1963 г. в Харькове. В 1985 г. окончил механико-математический факультет Харьковского государственного университета. В 1995 г. переехал в Германию. Автор книги прозы и многих публикаций в литературных журналах России, Украины, Германии, Израиля, а также в сетевых изданиях. Живёт в Мюнхене.

Илья Мильштейн Журналист, политолог. Родился в Москве в 1960 г. Выпускник факультета журналистики МГУ. Работал в журналах «Огонек», «Новое время». В Германии с 1997 г. Лауреат премии журнала «Огонек» за лучший материал года. Живет в Мюнхене.

Елена Ободовская Прозаик, журналист. Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. В 1996 году переехала в Германию. Пишет прозу и печатается по-русски и по-немецки. Работает ведущим редактором самой крупной русскоязычной немецкой газеты «Русская Германия». Живёт в Берлине.

Владимир Порудоминский Прозаик, литературовед, критик. Родился в 1928 году в Москве. В 1950 году закончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Автор множества книг, главным образом биографических, выходивших в серии «ЖЗЛ», книг для детей и юношества, а также целого ряда историко-литературных и литературно-критических статей. В 1994 году переехал в Германию. Живёт в Кёльне.

Александр Радашкевич Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1950 г. в Оренбурге, детство провёл в Уфе. В 1978 г. эмигрировал, жил сначала в США, где работал в библиотеке Йельского университета, затем перебрался во Францию, работал в редакции «Русской мысли», в 1991—97 гг. был личным секретарём великого князя Владимира Кирилловича, затем его семьи. С конца 70-х гг. широко печатался в эмигрантской периодике, с конца 80-х — в русской. Живёт в Париже.

Алина Талыбова Поэт, переводчик, журналист. Принадлежит к поколению тридцатилетних поэтов. Родилась и живёт в Баку. По специальности — педагог английского языка. Стихи печатались в России, Азербайджане, США. Как журналист выступает на страницах республиканских и российских газет со статьями на социальные и культурные темы. Стипендиат Международного литературного фонда (2004).

Борис Хазанов Родился в 1928 г. в Ленинграде. Прозаик, эссеист, переводчик. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

Генрих Шмеркин Бывший харьковчанин. Родился в 1947 году. Образование высшее техническое. Работал проектировщиком, музыкантом. Был участником литературной студии, которую вёл Борис Чичибабин. Первые публикации в конце 60-х — в «Литературной газете». Автор нескольких книг юмористических стихов и рассказов. Неоднократно публиковался в России и за рубежом. Живет в Германии (г. Кобленц).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 12.05.2006

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 952 973 0 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии.

Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

АНОНС

Читайте в седьмом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Юрия Малецкого (Аугсбург)
Владимира Жукова (Москва)
Юрия Кудлача (Ганновер)

Стихи

Марка Харитоновы (Москва)
Александра Кабанова (Киев)
Сергея Шелкового (Харьков)

Публицистику и эссеистику

Майи Туровской (Мюнхен)
Михаила Кураева (Санкт-Петербург)
Марио Корти (Артеня)
Евгения Кочанова (Бонн)

и другие интересные материалы

